



НЕВА 11

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Стихи • 3

Михаил ПЕТРОВ

Из захолустья (Козлов и Степанов. О себе. Степанов.
Крестьянский сын. Опять у Степанова.
Васильев, Тверяк и другие. К Козлову в Кувшиново). *Рассказы* • 9

Валерий СКОБЛО

Стихи • 27

Сергей ДИГОЛ

Ключ без права. *Рассказ из цикла «Пантелеймонова трилогия»* • 31

Владислав ПЕНЬКОВ

Стихи • 56

Светлана ВОЛКОВА

Потёмкинский колокол. *Рассказ* • 61

Галина ТАЛАНОВА

Стихи • 71

Андрей ЕГРАШОВ

Меня звали Дюхон... *Повесть* • 74

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

Прости меня, Италия! *Диптих* • 99

ИЗ АРХИВА

Выписки из дневников Александра Константиновича Гладкова.
1962 год. *Подготовка публикации, комментарии Михаила Михеева* • 114

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий ПОЛЯКОВ

Драмы прозаика • 130

Константин ФРУМКИН

Личность властителя • 147

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Владислав БАЧИНИН

«Бесы»-2014. Теология катастроф • 155

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

Попутчик • 169

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

Ковчег поэзии • 179

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Год культуры. Марк Амусин. Набоков и ЛБИ. **Правда художественная и историческая.** Лев Бердников. Два мира в одном Шапиро. **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Св. Франциск Ассизский и русские символисты. **Дом Зингера.** Публикация Елены Зиновьевой • 207–254

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена
Электронную распечатку рукописей присылать
на потовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются*

Главный редактор

Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ

(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ

(зам. главного редактора)

Мargarита РАЙЦИНА

(контент-редактор)

Ольга МАЛЫШКИНА

(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ

(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА

(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райцной, Л. Жуковой**

Глеб ГОРБОВСКИЙ

* * *

Сегодня я — не на вине
клянусь: вино давно прокисло.
Друзей, явившихся ко мне,
я угощаю здоровым смыслом.

Вот вы, утративший в пути
улыбку, зрение, походку,
не знаете, куда идти,
и принесли в кармане водку.

А вы, читающий взахлеб
свои рифмованные звуки,
зачем наморщили свой лоб —
как бы в смертельный час разлуки?

А ты, бессильная понять,
куда попала, — скалишь зубки,
желая в сердце боль унять,
идешь на некие уступки...

А я, поправ чужую грусть,
чужие фокусы — не боли,
уйду в себя — и не вернусь...
А вы — ищите ветра в поле!

* * *

Неприкаянно-причинно
на страницы и в кино
вылезает матерщина,
словно газ, покинув дно.

И как будто — всё в порядке,
ибо знают те слова
даже малые ребятки,
в мир шагнувшие едва.

И как будто всё — как было,
только в воздухе страны

Глеб Яковлевич Горбовский родился в Ленинграде в 1931 году. Русский поэт, прозаик. Член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ (1984) и Государственной премии Союзного государства Беларусь–Россия (2011). Член Русского ПЕН-центра (1996).

стало больше смака, пыла,
ядовитой белены.

И житуха неплохая:
иностранное едим!
Просто... не благоухаем,
матереем и смердим.

* * *

Не на моих устах печать:
я говорлив! Но — безопасен.
Я предпочел бы помолчать —
в лесу как в храме: лес прекрасен...

Сегодня в нем — ни ветерка,
ни птицы, взвинченной на ветке.
Молитва каждого листка
слышна... И вряд ли — безответна.

Не стукнет капелька дождя,
не рухнет дерево гнилое...
И осень, в кроткий лес входя,
как бы молчит пред аналоем...

Лишь паучок связует нить
да белка шастает бесшумно.
Еще не холодно... И жить
все так же хочется безумно!

ЮБИЛЕЙНОЕ

Лидии Гладкой

Между бытностью и вечностью
не свернувшая с тропы
фантастическая женщина
героической судьбы!
Та тропа — точнее, лезвие —
не по коврику вела...
Осенняя поэзией,
сколько ты перемогла!
То страда дальневосточная,
то ледовая Сибирь...
Вот они — судьбы источники
и природы щедрой ширь.
Пусть в душе — мотивы зрелые,
не окончена страда...
Пусть в ней ночи наши белые
не померкнут никогда!

28 июня 2014

* * *

Гладит вербу ветер вялый,
плачет птичка: хочет пить!
...Оказалось — жизни мало,
чтоб Россию разлюбить.

Эти страшенькие избы,
этот заспанный народ,
этой речи славянизмы:
«тризна», «бездна», «уд», «урод».

Необузданный комарик,
новорожденный цветок —
тот ударит, этот дарит,
а в итоге — жизнь, восторг!

Не москит, а муравьишка,
не колибри — воробей...
И душевные излишки:
хочешь — пой, не хочешь — пей!

* * *

Душа ещё не вянет
и не спешит на дно —
послушно лямку тянет
с другими заодно.

Из душевной комнатенки,
ослушник и должник,
уйду блуждать в потемки,
приняв за воротник.

Ташусь в ущельях улиц,
рассветных жду лучей,
чтоб жители проснулись,
чтоб не́ был я — ничей.

Ведь сердцевина сути —
не в кайфе жить в пути,
а в возвращенье к людям:
чтоб вновь — в себя уйти.

* * *

Здравствуй, Бобик бездомный! Присядь, не скули,
ароматной отведай колбаски.
Мы с тобой, «кабыздох», — пассажиры Земли,
нам жратвы не хватает и ласки.

Мы скользим по орбите — и всяк:
и червяк, крокодил или рыжий комарик, —
пожует, поклюет — и доволен, чувак,
приласкает кишку — и кемарит...

И летит наш ковчег на неведомый брег,
и свершают в нем твари делишки...
И, выходит, мы с Бобиком — братья навек,
да и все остальные — братишки!

* * *

Что-то сдвинуло воздух ночной,
потеснило его наслоенья,
словно кто-то прошел стороной,
без эмоций и сердцебиенья...

Было даже не слышно шагов,
даже запахов — не осталось...
Свежий воздух коснулся висков,
а с души испарилась усталость!

И смотрел я ушедшему вслед,
и шептал благодарное слово...
И пылал, разрастался рассвет, —
и хотелось безумствовать снова!

ПОЛЕНО

Ты шел, волнуясь и любя,
и вот ты одолел дорогу...
И дела нету до тебя
ни человечеству, ни Богу.

Ты на крыльце сидишь в росе,
в слезах: предательство, измена!
И перешагивают все
тебя, как мертвое полено.

Полено — якобы мертво:
оно лежит, не шелохнется...
Но в грешных буднях об него
нет-нет да кто-нибудь споткнется!

* * *

Фиолетовой фиалки
с бугорка — кричащий глаз.
Грязный кузов катафалка
да пяток озябших нас...

И кресты, кресты да камень,
серый камень да кресты.
А над нами, дураками,
где-то там, в пространстве — Ты!

В небе тусклом и стоячем,
кто там сладкий воздух пьет?
Пригляделся — птичка плачет,
а прислушался — поет!

* * *

Давно автобусом не ездил
сквозь зной полей и лес густой.
В другую местность. В мягком кресле.
В машине, буднично-пустой.
Почти пустой: меня помимо —
три тетки, с виду — «челноки»,
трещавшие неумоимо,
как предзакатные сверчки.
...Но вот в лесной глуши, заметьте,
вошел в автобус гражданин
и... заиграл на инструменте —
ненашенском! Кавказа сын.
На чем играл — не видно было:
играл, от всех отворотясь...
Но столько боли, страсти, пыла
мой мозг не помнил отродясь!
Потом он вылез: за оврагом
сошел, исчез... И мнилось мне:
он не играл, не пел, а плакал
по невозвратной стороне.

СТИХИ О СТИХАХ

Запретная тема —
в стихах говорить о стихе.
Родимая, где мы?
В словесной увязли трухе.

Все зыбко и мглисто,
и наши редуют полки.
Теснят модернисты
прозрачную ясность строки.

Чем фраза игривей,
чем гуще звучащая муть,
тем меньше в порыве —
дыханья! Тем призрачней суть.

Не лица, а ряшки,
вот с рожками некто возник...
А в нашей упряжке,
похоже, сдает коренник.

Хрипят пристяжные...
Где, где верстовые столбы?
Лишь волки степные
глядят из метельной судьбы.

Всё глухо и немо.
В смятении стих-чародей...
Родимая, где мы?
И нет ли из дома вестей?

* * *

Шрамы, ссадины на теле,
а в глазах... все та же высь!
Подойди к моей постели,
как к могиле, — и склонись.

Ты склонись, подобно вербе,
майской свежестью обдай...
Не сгорели крылья, верь мне!
Надо мной не причитай.

Ну, а смерть — под зад коленом!
Я помят, но я — живой.
От меня несет не тленом —
зверобоем, трын-травой!

А когда, сгорев в горниле,
почернеют мои дни,
мне на холмик надмогильный
светлой водочки плесни!

Михаил ПЕТРОВ

Из ЗАХОЛУСТЬЯ

Рассказы

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..

Сергей Есенин

Козлов и Степанов

С Володей Степановым я познакомился в газете «Смена» у Юрия Яковлева в начале 1970-х. Знакомство шапочное: ни обстоятельств, ни даже его облика не помню. Зашел он в редакцию с Юрием Козловым, районным газетчиком из Кувшинова, метившим в писатели. Многие тогда метили из газеты в писатели, и Калинин рассматривали как трамплин перед Москвой. Но Козлов был москвич, а переехал в Кувшиново и уже этим вызывал у нас интерес.

Юного Степанова, пришедшего к нему в районку после десятилетки, старый Козлов натаскивал. Завел в «Смену» с нами познакомиться. Яркий человек, он в людях превыше всего ценил естественность. Любого остановит, с любым заговорит. Заядлый рыбак и охотник, был отмечен харизмой верного товарища, даже желторотый Степанов называл его фамильярно Андреичем. Яковлев, бывало, изворчится: «Андреича нашел, фраерок, салага». Втянутых в свою орбиту Козлов не отпускал. Привадил сменовцев ездить к нему: Яковлева — на рыбалку, Исакова, а позднее Ивана Мельничука — на охоту. Дружил с молодым тогда Юрием Никишовым, наставлял юного поэта Колю Рака. Попал в сферу притяжения и я. Узнав о моей библиомании, Юра стал возить мне всякие старинные книжки из тех, что на Кувшиновском ЦБК превращали в картон, оберточную бумагу и школьные тетради. Храню их по сию пору: «Службник» без титульного листа, судя по бумаге, XVIII века, «Музыкальный календарь на 1911 год», «Политический словарь» 1927 года, где Октябрьская революция названа еще переворотом; Сталину там посвящено девятнадцать строк, а «вождю революции Троцкому» три колонки. Он подарил мне дивной резьбы «Тайную вечерю» на кипарисовой дощечке, срезанную с переплета старинной богослужебной книги. Я вставил «Вечерю» в рамочку и тоже храню.

Спросишь, бывало: «С какой книги срезал, Юр?» Темнил: «О, книга очень старая, церковнославянского я не знаю. Нам ведь со всех сторон макулатуру везут. То Лида что-нибудь выхватит, то я найду. Ты приезжай, пороешься».

Я порывался ехать, но, как всегда, опоздал, а когда приехал, уже и макулатура пошла другая: учебники, журналы, политиздат, газеты.

Козлов правил первые газетные опусы Степанова, учил ценить не слова, а жизнь. Ученик оказался способным. После армии рванул в Астрахань на рыбный промысел, оттуда в Туапсе матросом-спасателем на пляж, чтобы заодно и в теплом море поплескаться. Козлов, следя за его кульбитами, довольно похохатывал, захо-

Михаил Григорьевич Петров родился в 1938 году. Окончил Литературный институт им. Максима Горького в 1978 году. Писатель, лауреат премий им. Н. Островского, ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР в 1982 году, Союза писателей РСФСР в 1989 году. С 1991-го по 2002 год — редактор и издатель литературно-художественного и историко-публицистического журнала «Русская провинция». В 1996 году коллектив журнала «Русская провинция» стал лауреатом литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Живет в Твери.

НЕВА 11'2014

дя в «Смену», хитро шурился. Заводил нас с Яком байками о пользе для писателя свободной рыбацкой жизни в Астрахани:

— Ниче, ниче, пусть сперва людей поглядит, себя покажет, ушицы похлебает из общего котла... Сидите, сидите тут, бирюки хреновы, кроме чиновников, никого не видите... Точите лясы... Ага... Идя навстречу пожеланиям трудящихся... Он еще вам покажет!..

Отец Степанова — рабочий на железной дороге, мать — работница районной типографии. Там и заманил русскую простоту печатный станок Гутенберга.

— Ой, да че он покажет из курортного местечка под Туапсе? Как ты сказал? Кажачья Щель?! Во, во! В щель и попадет, и пропадет в той щели.

— Заткните фонтан, студенты. Жизнь бесценную на слова изводите. Ага...

Яковлева в сорок лет обязали учиться в вечернем Университете марксизма-ленинизма, меня Володя Смирнов затащил в Литинститут на заочное отделение. Козлов, когда-то проваливший в Литинститут экзамены, имел наглость прикалываться.

— А ты-то, ты-то, козел, сам перестарок хуже нашего! Кого в пример ставишь!

— Посмотрите, посмотрите! Не вам, охломонам, чета!

В «Смене» вскоре началась смена пород. Молодежь с университетскими дипломами, идущая за нами, кипела от амбиций, новый ее редактор Валентин Соколов рвался в ЦК, использовал молодых как трамплин для прыжка наверх, мучил всех комсомольскими починами. Талантливая молодежь, обслуживая конвейер починов, вскоре впала в депрессию. Все, что они видели в командировках, о чем хотели бы написать, газете было не нужно... Соколов гасил депрессию проверенными средствами: корпоративчиками на природе, веселыми ужинами в редакции. Старики поголовно писали в стол, мечтая о книгах. Бойкая прежде «Смена» загнивала... А после ухода Соколова в ЦК комсомола вообще осталась без опытного редактора. В 1977-м выпивать начинали уже сразу после обеда. Приезжал с гастролей певец и поэт Василий Макашов, приносил бутылку коньяка, и начинался концерт. И все бы ничего, но вечеринки заканчивались трагедиями. Покончил с собой недавний сменовец Олег Загоруйко, погиб, возвращаясь с вечеринки в Долматове, Ваня Мельничук, попал в скверную историю Потоцкий. Потом Гриша Дмитроченков выпал из окна общежития. О других драмах умолчу. Газета не давала возможности проявить свои способности, напечатать что-то большее, серьезное, чем позволяли жанры агитпропа.

На этом фоне поступки Степанова зажигали. В Туапсе на пляже матрос-спасатель влюбился в москвичку, а к зиме и женился на ней. Мало того, по осени он еще и в Литинститут поступил, в семинар М. П. Лобанова. И привез Лобанова к Козлову на глухаря, устроил смычку двух фронтовиков. А Лобанов еще и описал охоту в книге!

Теперь к нам забегал не двадцатитрехлетний салажонок, входил молодой москвич: модное долгополое серое пальто, моднучая, шаром, мохнатая шапка из енота, в руке дипломат. Оттуда он небрежно доставал очередную рукопись, за ней бутылку «столичной», выкладывал «колбаску-сырок, порезанные наискосок» из Елисеевского гастронома. Называлось это «Фирма веников не вяжет». Угостив нас, мчался к родителям, оставляя причастившихся к московскому шику провинциалов в большой задумчивости. Яковлев, проводив Степанова, долго промокал после селедки хлебным мякишем полные губы, брезгливо нюхал толстые короткие пальцы, ходил по кабинету, нарочито бодрился. Он работал над литзаписью партизана Заболотного для «Московского рабочего», но хотел большего, говорил:

— Далеко пойдет!.. Во как Москву берут, Михряй! А ты все учишься!..

Если при этом бывал Козлов, Яка поддерживала молодежь: «Да, Андреич, хорошего ученичка ты воспитал, ничего не скажешь!.. Ха-ха!..»

Козлов бросался на его защиту:

— Аккуратней, ребята, без сплетен и зависти! Вы мне его в альфонсика превратите. У парня настоящая любовь-морковь. Запомните: Москву берут только сильные!

Как он был прав! С 1972 года, когда в сборник «Мы — пионеры Верхневолжья» у меня взяли статейку «Эмаусские „фермеры“», я не издал ничего. Студент Литинститута, я не раз таскал в «Московский рабочий» очерки, рассказы. Возвращая их мне, Борисов разводил руками, смущением давая понять, что где-то, наверху, в Москве, меня «режут».

И потому разорвавшейся бомбой для сменовцев стал выход в 1980 году первой книги Степанова «На своей земле». «Современник» открыл ей новую серию «Русское поле». С ней «салага» стал участником Пятого совещания молодых писателей Москвы. Имя его назвали среди открытий совещания, рассказ «Ватрушка с черникой» напечатали в «Неделе». Рассказы, лирические новеллы появлялись то в «Правде», то в «Сельской жизни», то в «Литературной России». А потом и в журналах. Сначала в «Юном натуралисте», а там и в «Неве», «Молодой гвардии», «Юности»...

В конце мая, когда отцветала черемуха и по левым шумным, порожистым валдайским речушкам начинался клев хариуса, Козлов созывал нас на рыбалку. Мы готовились заранее, запасались припасами, удочками. Выезжали в пятницу вечером, после подписания в свет газеты. Чаще всего ездили на попутках.

Однажды приехали в Кувшиново во втором часу ночи. В пятиэтажке Козлова на улице 8 Марта горело всего одно окно на первом этаже, как оказалось, на его кухне. Ваня Мельничук бросил в стекло камушек. Козлов, чтобы не беспокоить жену и сына, подал через окно снасти и рюкзак, сам тоже вылез в окно и повел нас пешком на Повесть. Чай решили заварить на костре, на месте, из листьев смородины и мяты.

Не забыть той ночи, как шумела порожистая Повесть. Дойдя до места, мы развели костерок и повалились на спины смотреть ночное небо. Среди мерцающих, невидимых в городе звезд вдруг затеплились живые, рукотворные: высоко в небе плыли самолеты, спутники, падали метеориты. Когда небо засветлело, Козлов расставил всех по местам. Началась рыбалка. Хариус буквально рвал лески. А закончилось все царской ухой...

О себе

Перед защитой диплома в Литинституте, не выдержав газетной поденщины, я ушел работать завлитом в ТЮЗ. Яковлев здорово переживал мой уход, но считал, что в сорок пять учиться ему уже поздно. Забежишь в «Смену», он обязательно вспомнит Степанова:

— Надо как вознесся! Еще пару таких книжек, и Пьянова переплюнет!..

Но и в ТЮЗе мне не поработалось. Там тоже разрывались между жизнью и официальной версией жизни. Смотрящий за репертуаром Ю. П. Гордеев из Комитета по культуре жестоко не пушал всякую «фронду». Я оказался между молотом Комитета по культуре и наковальной театра. Во всех театральных неудачах по старинной театральной привычке обвиняли завлита. Не сойдясь с Гордеевым и Хлестовым из-за репертуара на новый сезон, я уволился. Назад в «Смену» не совался: перестарок, в «Калининской правде» мою кандидатуру рассматривали на редколлегии. И отказали. Особенно ярым противником почему-то оказался милейший, интеллигентнейший, всегда ласково меня приветствующий Семен Моисеевич Флигельман.

— Миша, ты еще молодой, попиши нам внештатным с полгода, а мы посмотрим.

— Семен Моисеевич, да мне уже сорок два, а чтобы узнать, как я пишу, полистайте подшивку «Смены». Мне семью кормить нужно.

Семен Моисеевич редактору Павлу Иванову:

— И все-таки пусть напишет...

Писать за штатом, без зарплаты я отказался, оскорбился даже.

Всезнающий Саша Душенков объяснил мне «позицию» редколлегии:

— Там твоим Пальчиковым сыты. Опять устроил скандал, уезжает в Москву. К тому же ты тоже беспартийный. Заметь, ты и в «Смене» всегда был «и. о.».

Отчаяние овладело. Мысль заметалась мотыльком между двух пыльных стекол: «Чужой город, чужие люди, зачем ты здесь, пасынок?.. Вот так побьешься о стекла еще пяток лет — и все. Ни сюда не пустят, ни отсюда домой уже не вылетит. Так и протоскуешь по родной стороне. Сметут тебя осенью венником с обтерханными крыльями в совок и выкинут в помойное ведро!..»

Летом художник Владимир Буров предложил мне поехать с ним разнорабочим «на халтуру». Он делал памятник фронтовикам Бологовского совхоза-техникума. Я мешал для памятника раствор в бетономешалке, заливал площадку. Заработали немного, больше пропили и проели. Осенью я собрал свои очерки и развез их по московским журналам. Экземпляр оставил в издательстве «Молодая гвардия» Галине Костровой, написал заявку на книгу. Решил: с газетой завязываю! Будь что будет!.. Родные и знакомые отнеслись к этому решению с тревогой. Поддержал один Алексей Семенович Чубисов, служивший в Калининской епархии отцом-архитектором. Он предложил работу подсобника на реставрации, познакомил с иконописцами. Говорил проникновенно и ласково:

— Миша, голубь мой ненаглядный, друг любезный! Не возьмут они нас, подавятся! Будь с нами! Знаешь, как я тебя люблю?! Я и Смирнова Володьку люблю, даром что он коммунист и в Москве! И он к нам в церковь придет. Вот помотришь, придет! Он на пути к этому! Чемоданова в себе преодолет и придет! Дай я тебя расцелую!..

Я сдался. Осень и зиму с бригадой из трех человек отмывал химикатами фрески Белой Троицы, но и здесь меня постигла неудача. Когда настал час расчета, «друг любезный» не сошелся с иконописцем в сумме отката и расторг договор. Наша работа оказалась неоплаченной. Новые реставраторы, взявшиеся за подряд, также отказались платить, так как подрядчик не внес ее в смету. Надышавшись химикатов, я наградил себя язвой, ходил бледный, голодный. А потом наша бригада получила квитанции из райфо с требованием оплатить подоходный налог на зарплату, за которые мы только расписывались, подрядчик передавал их иконописцу. История вышла за стены епархиального управления. Молодой коммунист Саша Душенков, ответственный секретарь «Смены», впоследствии принявший сан священника, постукивая по ладони строкомером, говорил мне с язвой в голосе:

— Гляди, Михал Петров, дойдет слух до Москвы, не видать тебе книг и гонораров.

Но в 1981-м жизнь вдруг улыбнулась мне: сразу два журнала — «Смена» и «Наш современник» — напечатали мои очерки. Их заметила критика, а издательство «Молодая гвардия» заключило договор о намерении издать книгу. Видно, Господь заметил меня в храме и пожалел за терпение. Я взял напрокат печатную машинку и в три месяца отстукал рукопись. Ее одобрили, поставили в план 1982 года. «Дали» аванс. Кострова шепнула, что могут издать и в 1981-м. Но велела молчать. Безработный, безденежный, помня остерег Душенкова, я молчал как рыба. Прошел 1981-й, наступил 1982-й. За очерки «По клюкву-ягоду» и «Иван Иванович» я стал лауреатом года журналов «Смена» и «Наш современник». Но книга не выходила. Вылетела и из плана 1982-го. Мало того, у книги поменяли редактора. Татьяна Кос-

тина, многозначительно дыша в трубку, велела дописать к книге авторское послесловие, «дать позитивный настрой и привязать к Продовольственной программе КПСС, принятой на майском Пленуме». Я дописал, но подписать его отказался. «Можешь книгой поплатиться, — не очень строго предупредила она. — Ладно, тиснем без подписи, вроде как от издательства...»

Что делать, где работать, я так и не определился: в церковь ходу не было, в газету без партбилета меня не брали. Валерий Кириллов вдруг предложил место руководителя литобъединения при газете «Смена»: два заседания и газетная полоса молодых «Истоки» в месяц за сорок рублей. «А Гевелинг?» — «Гевелинг уйдет к Борисову консультантом. Так что подождать надо». Деньги невеликие, но при случае мог отмазаться: работаю. Я согласился ждать места. О книге старался не вспоминать, да в Калинин мало кто и знал о ней.

Но в сентябре 1982 года дело сдвинулось с мертвой точки. Виктор Куликов, встретив меня на бульваре Радищева, вдруг спрашивает полным значения голосом:

— Слушай, Миш, это ты книгу написал?

— Какую?

— «Иван Иванович», что ли? Тут в «Комсомолке» сообщение о присуждении ей премии имени Н. Островского. Звонили из обкома комсомола, спрашивали, ты или не ты?

Зашли в редакцию, он развернул газету, ткнул пальцем в заголовок «Вдохновение и поиск молодых». Читаю и глазам не верю: наградить М. Г. Петрова премией ЦК ВЛКСМ и правления СП СССР им. Н. Островского за книгу очерков «Иван Иванович». И в скобках: по рукописи. Здесь же отзыв о книге В. Кожевникова.

— Твоя? А книга-то где? Почему по рукописи?

Между прочим, на его вопрос я не мог ответить даже через год, когда книга вышла, не могу и сейчас. То были тайны мадридского двора.

Скажете, подумаешь, книгу задержали! Ну не в 1982-м, в 1983 году вышла. Вышла ведь! Из-за чего сыр-бор? Сейчас вон издательских планов нет, а гонораров не платят даже в газетах. Писатель сам ищет спонсоров, рассчитывается с издательством, сам оплачивает типографские расходы, нередко сам и читает, потому что отзывов на книгу нет. Так что: «и эти правы». Вопреки прогнозам моего товарища, нас взяли и не подавились. Сегодня власть нуждается в карманной прессе, где она сама рассказывает о своих починах и анализирует их, а предприниматель видит в печатном станке всего лишь орудие броской, забористой рекламы. Потребитель ведь не задумывается, что все его рекламные проспекты на дорогой глянцево-бумажной бумаге, яркие пакеты и коробки, в которые упакован товар, все эти наклейки на бутылках — обман зрения, фикция, наживка, на которую он, доверчивый, клюет. Оплачивая товар, который он выбрал, он оплачивает и цветную печать, и бумагу, и картон, и фантики, и золотые розы на коробках конфет. И стоят они ему гораздо дороже, чем стоила книга, за которой он стоял в застойные времена в очереди. Сегодня половина полиграфии работает на рекламу! Я подсчитал как-то, что за неделю выбрасываю в мусорный бак прекрасно иллюстрированную детскую книжку. Кто не верит, может пересчитать.

Вспоминать писательские грезы 1980-х на фоне всего этого как-то не очень и хочется. Но объективности ради придется. Тогда в Калинин не было даже своего издательства, калининцы издавались в «Московском рабочем», издательство выделяло им в год семь позиций. Так это и называлось: «Семь позиций». Писательская организация как раз и состояла из семи человек, но для художественной литературы выделялось две позиции, поэтому ждать издания полагалось по четыре-пять лет, так как издавалась еще и классика. А ведь в Твери в 1920-е годы издавалось несколько кооперативных журналов, выходил даже детский журнал «Зернышки»!

В те годы спас меня от голодной смерти редактор журнала «Наш современник» Сергей Васильевич Викулов. Узнав о моих бедах, он зачислил меня редактором отдела публицистики журнала по трудовому соглашению. Я стал еженедельно ездить из Твери в Москву в «Наш современник». Редактировал очерки, статьи, отвечал на письма, писал рецензии.

Но из этой тоски и вечной зависимости от Москвы родилась моя тоска по провинциальному журналу «Русская провинция». И когда в 1991-м журнал появился, из всех калининских писателей я предложил в редколлегию журнала Юрия Козлова. От мучеников тверской литературы. Ему исполнилось тогда шестьдесят пять. Мог ли я поступить иначе?

Степанов

В 1990-е годы я зачастил в Москву, так как добрых полтиража журнала уходило через Москву. Степанов в те годы выпускал популярную газету «Пульт Тушина», и наши пути довольно часто пересекались на Комсомольском проспекте, 13.

Двадцать лет московской жизни не сделали его москвичом. В Москве да под бутылочку дружеская беседа за столом льется до поры, пока не ахнешь, что последняя электричка ушла или уходит. Ахнешь и готов рот себе зажать, потому что москвичи тут же начнут торопливо прощаться. Ночевал я в Москве у Володи Куницына, у Володи Смирнова, у Юры Леонова, у Миши Вострышева, у Юры Пахомова, но чаще все-таки на вокзалах, в вагонах, на отстое стоящих, в вестибюлях гостиниц, кабинетах правления СП. Никого не осуждаю и прошу прощения за то, что бездомность моя заставила кого-то пережить неловкую минуту. Но потому и вспоминаешь на старости лет всех испытывших к тебе жалость с благодарностью.

И вот упустишь минуту, когда еще можешь догнать электричку на метро или прошмыгнуть в правление, где по договоренности тоже можно было иногда заночевать на диванчике, а Степанов заметит твое волнение и скажет:

— Да не смотри ты на часы, у меня ночуешь. Отдельной комнаты нет, а на раскладушку положу.

Если еще работало метро, случалось, звонил ему по телефону-автомату с вокзала ночью и всегда находил приют. Нас многое с ним связывало. Душой Володя продолжал жить в родной деревне, повторял, что душа его «заблудилась между городом и деревней».

Он тогда открыл для себя Ивана Васильева, земляка из поселка Спиrosso, известного в 1930-е годы крестьянского поэта и прозаика, и начинал открывать его своим землякам. Имя его вычеркнули из советской литературы, книги изъяли из библиотек. Володю поразило тогда, что Васильев учился в той же железнодорожной школе, что и он. В пору хрущевской «оттепели» две из них «Крушение» и «В гору под гору» увидели свет. Книгу стихов и поэм «На родине», повести «Третья сила» и «Бубны-kozyри» пришлось искать в архивах, фондах и издавать уже ему, земляку расстрелянного писателя. Удалось издать и ее при финансовой поддержке Межпоселенческого культурно-досугового центра Спиrossoвского района и предпринимателя Е. А. Никитина. А с 2008 года в районной библиотеке ежегодно проводит Васильевские чтения, имя писателя прочно утвердилось в «Календаре памятных дат» областной библиотеки имени Горького.

В то время Володя писал статью «Казненные беркуты» о новокрестьянских поэтах, которые свили гнездо в родной деревне Васильева Новое Лукино. Он нашел вдову писателя Глафиру Васильевну, его сестру Наталью, ездил к ним в подмосковную Удельную, записал вдову на магнитофон, ночью мы слушали ее рассказы о лагерной жизни в «жестоких казахских степях». Во мне те рассказы будили двоякие

чувства. Я служил в Кокчетаве в армии, строил железную дорогу на целину, да и детство мое прошло в степях Западной Сибири. Рассказы Глафиры Васильевны невольно воскрешали покинутую родину. Для меня жестокие ветра, бураны, заметающие села и города, шевелящийся снежный хаос за стеной были голосом родины. Умом я понимал, что жизнь зэка вне дома — жизнь подневольная, но ничего не мог поделаться с собой: с нежностью представлял снега выше крыши, степные бураны, низкое степное небо. Таким же низким и тяжелым мне казалось небо Европы. Наше сибирское небо грезилось высоким и легким, зазывающим ввысь.

Степанова моя тоска настораживала:

— Я-ясно, — тянул он, покуривая в темноте. — В родной Москве я словно иностранец...

— Не я сказал, заметь! Да и ты в Москве не прижился. Представляешь, какая туча несбывшихся желаний и волнений висит над столицей?

— Но я могу смотаться домой в любой день, а ты не можешь.

— При чем тут «можешь не можешь»? Я говорю в принципе.

Втайне-то я завидовал Володе. Соскучившись по дому, он мог в любой момент махнуть на Тверцу и Тигму электричкой. Моя родина была далеко...

Запущенное кем-то слово, что Козлов о своих рукописях никогда сам не хлопотал и о его-де рукописях случайно узнавал тот или иной столичный редактор и сам предлагал ему издаться, не более как заведомо ложный миф. Смею заверить, московские редакторы сами, по своей инициативе, провинциалов издаваться не приглашали, было кого в Москве издать. Всегда кто-то эту рукопись привозил, кто-то о ней рассказал, кто-то похлопотал. Таким человеком в жизни писавшего в стол Козлова стал Степанов. Как всякий русский человек, не мог он пережить свой успех в одиночку. После выхода первой книги в «Современнике» повез на показ рукопись Козлова «Есть угол на земле...». И покатило. И за первую его книгу «Добрая ягода калина» хлопотали в издательстве «Детская литература» и Бадеев, и Исаков, и все тот же Степанов. А то, что Козлов, сложившийся профессиональный писатель, впервые издался в пятьдесят пять лет, стыдная правда провинциальной действительности, такая же стыдная, как и та, что сегодня за деньги можно напечататься в любом столичном журнале и в любом издательстве напечатать любую графоманскую рукопись в кожаном переплете. Стучался Козлов и в Калининское отделение «Московского рабочего», да в свое время не открыли, слишком много было алчущих славы и денег. Искал он и в Москве, да не нашел...

Крестьянский сын

Сегодня Степанов живет природным миром: лес, река, поле, огород. Его деды и прадеды крестьянствовали здесь же. Он нашел дедову гербовую бумагу на владение этой землей. И с горечью: «Одна бумага осталась!» Правда, родители его, живя в крестьянском доме, «опролетарились», но крестьянский уклад — огород, корову, покосы, русскую печь — они не оставили, крестьянские навыки передали вместе с домом сыну. Став москвичом, сотрудником столичных газет и изданий, он родине не изменил, а выйдя на пенсию, вот уже четыре года продолжает владеть «наследственной берлогой». Живет на два дома: зимой — в Москве, летом — на родине, дома. Здесь у него огород, дрова, кролики, на низке болтаются и источают пряный аромат сушеные подлещики, а в подполе — картошка, соленья, варенья...

В магазин он ходит только за хлебом, спичками, солью и сахаром, иногда за водкой. С него хоть пиши мужика, который двух генералов прокормил. Или знаменитого Микулу Селяниновича, ибо умеет делать все, что умел настоящий русский мужик. И рыбы наловит, нажарит и закоптит. И грибов насолит, и пива на-

варит... Вот только с годами охотиться бросил: жалость к живому пробила, совесть заела.

Дома ему не сидится.

— Так!.. У меня в пруду подъемка, едем, проверим. Можем карасишек на обед зажарить.

Или:

— Вчера двух подъязков поймал, сейчас в огороде разведем костер. Закоптим.

Едем к пруду. Там надевает гидрокостюм, находит свою подъемку. В подъемке живым, веселым серебром плещется десяток карасишек. «А нам и хватит! Я сейчас в ванну у бани их запущу, а завтра пожарим!..»

Ванна около бани стоит особых слов. Там у него стратегический запас насадок для щук. Перед ночной рыбалкой на Тверце зачерпнет десяток-другой мелких карасишек, вот тебе и насадка! Только однажды заметил Володя, стали пропадать из ванны караси. Да не только мелочь пузатая. Запустит свеженьких из пруда, наутро глядит — опять доски раздвинуты, самых крупных нет. Погрешил даже на соседа: неужто он? Решил последить. И поймал воришек! Оказалось, бродячие коты воруют. Раздвигают довольно тяжелые доски, и лапой — цап! И в кусты на трапезу. Пришлось камнями сверху доски утяжелить.

Весной, по дороге в наследственную берлогу, завез он мне два тома Брагина, якобы в подарок от него. Брагин, бывший первый секретарь Бежецкого райкома КПСС, в 1980-е возглавлял в Калининском районе парторганизацию. Перестройка вынесла его в Москву, вознесла в дни торжества чиновничьей революции аж до Ельцина. Сегодня считает себя знаковой фигурой переустройства России, большим государственным деятелем. Вошел в ассоциацию тверских землячеств в Москве, пишет толстые книги, килограммов по пять, потолще Библии будут, тысяча страниц, не меньше. Цветные иллюстрации. В них автор рассказывает о своем славном пути от школьного порога до руководителя ЦТ.

Видя мои терзания (уж очень тяжелые, все равно что два ведра картошки), а я после операции, Володя убалтывает меня:

— Да бери, бери, злые языки говорят, пишет третий том под названием «Брагин на броневике хочет остановить Ельцина от расстрела Белого дома»... Слушай, я тут получил Большую золотую медаль Российской академии литературной экспертизы «За заслуги перед русской литературой»...

— Поздравляю, Володя. Тяжелая?

— Вот язва, хватит тебе! Я хочу, чтоб ты вручил ее мне на День поселка в Спирове. Ты же член Высшего совета Союза писателей?..

— Страна должна знать своих героев? Володь, проснись ты от московского наркола, чай, на родину приехал! Ты же не Брагин! Какое отношение я к этому совету имею?

— Ты не прав. Москвичи не приедут, не вручат. А ты можешь! Я зря за тебя голосовал? — и уже серьезно: — Это всем нам надо. Люди забывают, что есть такая профессия: писатель. Нас вычеркнули из жизни, для общественного сознания все равно что расстреляли. Уже и о смертях друзей узнаем годы спустя, сам же писал. О чем угодно говорят: о разводах голливудских звезд, мордобоях Панина, о беременности Галкина...

Прав, прав: обывателя уже приучили к ящику, как к наркотику. По вечерам душа его зачарованно плывет к голубой проруби, как аквариумная рыбка к кормушке, через которую бросают ей на кормление далеко не «халяльную» «духовную пищу»: трупы, морги, стрельбу, насилие, секс, бездарную рекламу, приправляя все это жареными фактами из пустой жизни «звезд». Литературу, писателя вытеснили на обочину интересов.

Я согласился. Ладно, приеду. Только позвони заранее, скажи когда.

Опять у Степанова

И еще одно гнетет тайной гнетью. Изредка к Володе наезжает из Москвы единственный наследник, сын Арсений. Поможет в скопившихся тяжких делах, и домой. В наследство вступать не желает. То ли час еще не пробил, то ли вправду затмил молодые русские очи культ товара. Это и точит сердце, заставляет жить по принципу: «На мой век хватит, а после меня хоть трава не расти...» Вот только для кого тогда святые тени русских беркутов воскрешал? Словом, и здесь отцы и дети, Вольга и Микула. Вот оставит он свою сошку кленовую, а уж повывернуть ее из земли да повывернуть будет некому...

Мы пошли в огород, к коптилке — железному ящику с решеткой. Рядом дрова, ветки ольхи с листвой. Наломав их, Володя укладывает на решетку с подлещиками и щучкой. И рыбку выложит не на решета, а на подстилку из ольховых веток и листьев. Разгорится костер под ящиком, раскалится дно, начнут тлеть ветки и листья ольхи, выделяя горячий пахучий дым. Следи только, чтоб не подгорели, регулируй пламя костра.

Если в магазине не будет водки, он и здесь не пропадет. Затворит браги, и обязательно на сахаре, может и на яблочном соке. Потом выгонит крепчайший кальвадос под названием яблочница. Выпьешь ее, да и подумаешь: давно бы пора русской ликеро-водочной промышленности выставить против заморских кальвадосов, виски и сливянок русскую фруктовую самогонку-яблочницу. Ух, и хороша! А под грибки-то! А чиста! Ни голова утром не болит, ни похмелья не бывает. Встаешь бодр, как синее небо.

Он и по грибам мастак. Грибов заготовит, засушит, насолит, в банки закрутит. На всю зиму ягод наварит, яблочко засушит. В подполе огурчики, помидорчики, капуста, картошка, свекла, моркошка. На обед всегда мясное или рыбное. Несколько лет держал кроликов, но в прошлом году нанесло на кроликов таинственную эпидемию, прикончившую промысел во всей округе. Грешат спировцы на проделки мясной мафии. Володя с кроликами распрощался, но завел овец, потом коз: козла и двух козочек.

Козел сивый, большерогий. Взгляд у него смурной, наглый, с поволокой. Глаз пьяного сатира. Того и жди, саданет тебя рожцами под зад, а когда повернешься к нему, нагло удивится: «Ты че, мужик? Да не я это. Была нужда с тобой связываться...» Зато козочки — прелесть: беленькие, прыгучие, как лани, по зеленой травке попрыгивают. Ту, что попроще, постеснительнее, Володя зовет Кроткой, она и вправду деликатна, кротка, а ту, по которой козел бьется рогами о забор, — Шнырой. Козел пока без имени.

Двор у Степанова не знает метлы, граблей. Как распилит весной дрова, сложил в высоченную поленницу, так и оставил все щепки и опилки во дворе, считает, что со временем все перегниет, земля будет. Зато в саду, огороде у него полный порядок, на грядках все прет и вверх, и вниз. Яблоки с добрый мужицкий кулак. Огурцы, помидоры, лук, чеснок хоть на выставку. А такой сочной петрушки, сельдерея, зелени, как у него, на рынке не сыщешь. Степанов скромничает: «Это все благодаря родителям: держали корову, овец, кроликов, весь навоз валили на огород. Земля тут хорошая».

— Баню тоже отец строил, лет тридцать ей уже, пол, правда, подгнил, а так еще хороша. — Он распахивает дверь, приглашая войти за ним. — Осторожней только, на эту половицу не наступи, переломилась посредине, менять надо, да все некогда.

Боже ты мой, как мне это знакомо! Я рассказываю про своего осташковского

приятеля Радомира. У него весь пол на веранде заставлен старыми ведрами, кастрюлями и банками, чтобы войти в дом, нужно, как горнолыжнику, закладывать между ними виражи. Дня два осваиваешь. Я как-то преобольно ударился о чугунок, взялся расчищать трассу.

— Ты что?! — остановил он меня. — Я специально расставил! Если ночью кто-то заберется, да даже и днем, когда сплю, по пути обязательно зацепит ведро или тазик. Знаешь, как загремит?! Он с испугу переступит и на эту доску попадет. Тут уж трам-тарам начнется. Я же профессиональный минер. А минер при закладке мины прежде всего психологию учитывает. Старайся на нее не наступать! И на эту тоже, она не прибитая. Она на случай, если войдут через чердак. Обязательно на нее опорной ногой попадут, я долго ее настраивал. А ступив на нее, обязательно упадут на руки, вон в тот тазик с водой. Хорошо бы несмываемой краски достать, чтобы потом две недели от всех дома прятался, синий, как баклажан... Не знаешь, где опера такую краску достают?..

В тот же день я наступил у него в гараже на доску-подставу. Шагнул с веранды в гараж и полетел куда-то вниз, в темноте руки исцарапал, колено ушиб. Когда Радик прибежал на мой вскрик, мне показалось даже, что он не сдержал в голосе любопытства профессионала, возможно, подсознательно испытал на мне крутость западни. Когда же я вытащил из ладони занозы, а он обработал зеленой ссадину на коленке, то чистосердечно признался: «Миш, а ведь я хотел сверху старый мотор от „Жигулей“ подвесить, чтоб вору по горбушке врезал... Хорошо, не повесил... По голове бы попал...»

Степанова мой рассказ повеселил.

Тогда же, за столом, сговорились мы поехать в Кувшиново. На неделе позвонила ему Лида, вдова Андреича, пригласила в библиотеку помянуть Юру Козлова.

Васильев, Тверяк и другие

Не подумайте, что Степанов только рыбачит да огородничает. Владимир Степанов — автор десяти книг прозы и поэзии. Но особенно хороши, на мой взгляд, две его последние книги — «Тверскими дорогами (Хождение по родному краю)» с предисловием Владимира Крупина и «Родина моя, прекрасный мой народ». Книги о земляках Степанова, о соотичах, о родителях, о родных местах, обе написаны живой кровью. Последняя книга «Родина моя, прекрасный мой народ» выдержала уже три издания, Степанов ее дописывает, доиздает, допечатывает, благо директор типографии Евгений Шатин живет с ним на одной улице. Первое издание вышло аж в 1991 году в Москве в издательстве «Пульс», имело всего 120 страниц, но, на счастье, была отпечатана тысяча лишних обложек, которые Володя, по-крестьянски запасливый, сложил под свою кровать со словами: «Авось пригодятся». И пригодились! Второго издания эта обложка ждала под кроватью двадцать два года. И дождалась! А третье вышло в 2014-м, Степанов добавил туда еще два очерка. Книга растет, наливается подобно наливному яблоку, сдается мне, будет и четвертое издание, недавно я читал еще два очерка, которые Володя намерен включить в книгу. Обложки же хватит еще на пару тиражей!

А в далекие 1990-е, когда все бросились издавать себя, родимых, Степанов стал искать на издание своего земляка-спировца Ивана Васильева. Он познакомил с его творчеством читателей журнала «Русская провинция», издал в Спирове три его книги, организовал ежегодные Васильевские чтения. Он принял участие и в судьбе Леонида Смородина, самобытного публициста и прозаика, прижившегося в 1990-е годы в деревне Городок под Спировом. Поддерживал и навещал его в болезнях, а после смерти вместе с краеведами занялся наследием писателя. Он, не жалея вре-

мени и сил на добрые дела, на товарищества и дружества, не робея, входит в самые высокие кабинеты, ищет и обретает, просит и добивается... В Спирове он фигура. Прошлым летом провел уже VII Васильевские чтения. Я участвовал в трех, вижу, сколь полезны дискуссии о книгах новокрестьянских писателей: Васильева, Тверяка, Макарова. Для участников это уроки «малой» истории. Они сравнивают причины, приведшие к смуте 1920-х и 1990-х годов, пытаются понять, почему следствия смуты одинаковы, почему народ наступает на одни и те же грабли, результаты которой безработица, отток населения в крупные города, торжество криминала? Особенно жаркие споры пришлось на только что изданную Степановым повесть Иван Васильева «Бубны-kozyри». Показалось, что герои ее — наши современники, только одеты в другие одежды да партийную принадлежность поменяли...

В годы ее издания повести Васильев, Макаров и Алексей Тверяк были в зените славы. Тверяк тоже крестьянского рода, родился на Селигере, в сорока верстах от Ниловой пустыни. Участник Гражданской войны. К 1929 году он известный писатель, за ним уже два романа. Книги «Ситец», «Леший», «На отшибе», «Чудаки», «Передел», «Пролетарий» приносят ему имя. Критик А. Ревякин, открывая «Антологию крестьянской литературы», напишет: «Наиболее глубоко личная драма развернута в „Тихом Доне“ М. Шолохова, „Брусках“ Ф. Панферова, „Стальных ребрах“ И. Макарова и „Двух судьбах“ А. Тверяка». Прочтя «Две судьбы» Тверяка, я в свое время высказал мнение, что прототипом шолоховского Титка Бородина мог стать его Кирька Ждаркин: герой Гражданской войны, свернувший на путь наживы. Нахожу и сегодня это мнение верным. В середине 20-х годов вместе с Вересаевым, Фединым и Пастернаком Тверяк входил в число сотрудников журнала «Звезда», ему глубоко симпатизировал известный критик, главный редактор издательства «Круг» Воронский.

Седьмой номер «Земли Советской» (1929) опубликовал снимки и материалы с I Всероссийского съезда крестьянских писателей. На групповом фото А. М. Горький, слева от него — молодой, полный творческих сил Иван Васильев. Но уже тогда среди писателей наметится раскол. В поэме «Кровь» Васильев задел не только «зачахнувшего от „Хроник“ Пастернака» и завянувшего в «Дороге» Тихонова, но и своих товарищей, новокрестьянских писателей, в частности Алексея Тверяка. Это о нем обидные слова:

И про искусство мыслей нет,
В житейском вязнет голова-то:
Купить себе велосипед,
Послать ли батьке сепаратор?
А если я борьбы хочу?..

Участники чтений заспорили о причине выпада Васильева против товарища и «друга Воронского». Обида, что тот не встал на защиту новой повести Васильева? Позавидовал подарку Тверяка своему батьке? Сложность в том, что в 1937-м оба станут «врагами народа», обоих расстреляют «за участие в контрреволюционном заговоре против И. В. Сталина»... Васильев хочет борьбы, но какой? С кем? С литературной средой?

Вспомнили статью Володи Степанова «По ком плачет береза» о расправе над крестьянскими писателями И. Макаровым, П. Васильевым, М. Карповым, И. Васильевым. В 1930-е годы спиловская деревенька Новое Лукино, где родился Иван Васильев и где жили его родители, на какое-то время стала идейным центром сопротивления всеобщей коллективизации страны. Макаров писал здесь антикол-

хозный роман «Голубые поля», обдумывал стратегию и тактику борьбы с последствиями «головокружений от успехов». Сюда наезжали Карпов, Васильев, здесь вынашивалась стратегия сопротивления.

Не следует думать, что сопротивление это выдумали чекисты на Лубянке. А вот сегодня кому-то выгодно выставлять крестьянских писателей белыми и пушистыми овечками, блеющим стадом. По мнению Макарова, физическое уничтожение Сталина Павлом Васильевым могло бы заставить партию сдать позиции в отношении крестьянства. Он говорил на допросах, что в СССР под эгидой строительства социализма неприкрыто эксплуатируют русского крестьянина, город жирует за счет обнищания и гибели мужика, выдавливая его в города и на стройки. Это они противились политике истребления чисто русского единоличного экономического уклада хозяйства.

Ввязался в спор и я: не единоличного! У Васильева и Тверяка были разные взгляды на будущее страны. Особенно по итогам нэпа. Нэп заставил вспомнить, что в России с начала XX века бурно развивалась кооперация. В Бежецком уезде Тверской губернии к 1910 году существовало 506 кооперативных молочных заводов! За шесть лет уезд увеличил производство масла в три раза, а сыра и сметаны — и более того, вдвое поголовье скота. Сорокапроцентной жирности сметану возили в Петербург в бочках. Местное животноводство оснащалось местной наукой. Бежецкий зоотехник Н. И. Щетинин в 1912 году издал двухтомный труд «Молочный промысел в Бежецком уезде». Грубо говоря, Тверяк стоял за «правый» уклон, бухаринский, Васильев — за «левый», эсеровский. Отсюда ироническая альтернатива: себе ли велосипед, батьке ли сепаратор?

Но и это не все. В основе кооперации лежали два незыблемых принципа, взятых Н. И. Верещагиным из устава швейцарских артелей, процветающих, кстати, и по сей день. Артелям запрещалось брать в переработку покупное молоко. Принималось молоко только своих коров, добытое своим трудом. Перекупщика отсекали от молочного бизнеса раз и навсегда. Из экономики исключались ростовщик, спекулянт, любитель пожить за счет другого. Ведь перекупщик имел возможность брать с каждого пуда купленного молока до рубля прибыли. Крестьянин этой прибыли лишался бы, нищал, не имел возможности распоряжаться прибылью. Вот откуда в самых глухих селах Северной России и Сибири импортные сепараторы фирмы «Альфа-Лаваль». Крестьянин покупал сельхозмашины, молочные фляги, цедилки и прессы, семена, породистый скот, приглашал на артельные сыроварни мастеров-сыроделов. Отсюда и размах кооперации. В 1913 году молочная кооперация принесла в казну России больше, чем золотодобыча. Русское масло покупала Европа, везла его в Новую Зеландию, Австралию. Теоретиком кооперативного движения в России был еще один наш земляк — Владимир Поссе из села Кемцы, марксист и соратник Ленина на ранней стадии рабочего движения в России. На II съезде РСДРП они разделились. Поссе инструментом преобразования России считал не насилие и террор, а трудовую кооперацию, самоорганизацию рабочих, их автономность от партийного влияния. После революции идеи Поссе, как и его имя, замалчивают. Ленин вспомнит о кооперации, когда припечат, создавая нэп, но опирался почему-то не на труды русских ученых Чайнова и Кондратьева, а на Оуэна. Нэп остановит Гражданскую войну и голод. Но своего оппонента, которого в пух и прах разнес на II съезде, Ленин в этой связи не вспомнит. Сепаратор у Васильева был символом возврата русской деревни к кооперации, к независимости крестьянского хозяйства от чиновника, возвращавшегося в деревню вместе с колхозом. Крестьянская литература переживала это как трагедию и потому была разгромлена до основания...

Великие реформаторы Чубайс, Греф и Дворкович, приезжая в Давос, и сегодня

с удовольствием пьют молоко от швейцарских кооперативных коров, закусывают швейцарским сыром, но свою кооперацию развивать не хотят. Зачем, если их доходы от приватизации государства Российского позволяют кушать швейцарский? Допускаю даже, что в Кремль проведен молокопровод из Швейцарии. Ирония в том, что отец Тверяка еще не мог купить сепаратор, не хватало средств, сепаратор обещает ему сын-горожанин. Деревня 1929 года не решалась на хозяйственную самостоятельность, а в 1930 году уже ее потеряла. Не проснулся к ней интерес и сегодня, более того, реформаторы убили его, то, что Чайанов называл «загадом», устранили человека труда из реальной экономики.

Нет, недаром поэт вспомнил сепаратор. Недаром и отцу Тверяка обещан велосипед. Новой нэпманской буржуазии, которой симпатизировал в своих повестях Тверяк, было выгодно разорение крестьянских хозяйств. За счет крестьянина как раз и хотела поднять экономику страны новая оппозиция.

После смерти Ленина новая оппозиция будет разгромлена. Идеи Кондратьева и Чайанова, принесшие России славу пионера кооперации, забыты. Поэты Пастернак и Тихонов благополучно переживут все катаклизмы, а крестьянские писатели, жаждавшие борьбы и процветания России, в их числе и Иван Васильев со своим оппонентом Алексеем Тверяком, будут расстреляны. А в 1990-е годы Ельцин, Гайдар, Чубайс и пр. (тоже большевики) перепрячут идею кооперации, коллективного владения землей и собственностью в ящик Пандоры для будущего разгрома России... Две трети доходов Чубайса, главного распределителя собственности страны, потом главного «рубильника», а потом главного нанотехнолога державы, составил в декларациях о доходах за 2010 год тверской куш. Спекулянт не сеял и не пахал, а наварил на перепродаже скупленных тверских земель 140 миллионов рублей! Вот только от этих трудов ни сыра, ни молока, ни масла на столе россиян не прибавилось. А вот нищих и безработных в полку обездоленных прибыло. Страну свернули на самый бесперспективный и тяжкий путь развития: путь дикого эгоистического капитализма. Понятно, почему в чести вновь окажутся «Хроники» Пастернака, а не труды крестьянских писателей, экономисты Гайдар и Чубайс, а не Кондратьев и Чайанов...

Полемика наша закончилась скандалом. Слово вдруг взяла женщина с гневным и властным лицом. Голосом, привыкшим отдавать приказы, сказала:

— Я думала, здесь собираются, чтобы говорить о литературе и краеведении, а здесь говорят о политике. Что вы в ней понимаете? Какое государство строить и какую экономическую модель выбирать для народа, решать не краеведам и писателям. Без вас разберутся, куда страну вести, на это есть руководство с полномочиями, вам туда соваться не нужно. Рассуждайте, о чем знаете, и не лезьте, куда вас не просят.

Воцарилось молчание. Чувствовалось, что такой отповеди не ожидал никто. Женщина нервно собрала бумажки со стола и с раздувающимся от гнева лицом демонстративно покинула зал, крепко прихлопнув за собой дверь.

— Кто это? — шепотом спросил я Степанова.

— Не обращай внимания. Бывший председатель колхоза «Мир». Колхоз, мягко говоря, опустила, теперь, уйдя на пенсию, бесится, свою лояльность к власти высказывает.

После чтений Степанов познакомил меня с внучатыми племянницами Васильева Галиной Алексеевной Гуля и Натальей Целиковой. Летом они живут в Цирибушеве, родовом гнезде Шестаковых. Род Шестаковых здесь тоже известный. Васильевы выдали замуж старшую сестру Ивана Елену за Василия Шестакова. Шестаковы вырастили восьмерых детей, всех вывели в люди. Но война унесла из четверых сыновей троих: Михаила, Петра и Алексея. Сергей Васильевич закончил

войну в Румынии. Учился, работал в аппарате ЦК КПСС, защитил докторскую диссертацию как историк, стал профессором МГУ... Наталья тоже из их рода. Теперь сестры живут в Москве, украшают славный крестьянский род Ивана Васильева.

А Степанов все эти годы не только писал, но и занимался просветительством. Его задача — не растерять те искры пламени, который несли новокрестьянские поэты и прозаики Сергей Есенин, Сергей Клычков, Иван Васильев, Михаил Карпов, Иван Макаров, Павел Васильев и многие другие, боровшиеся за русскую кооперацию, за хозяйственную самостоятельность крестьянства. Но бесценный русский опыт был развеян по миру вместе с уникальным опытом коллективизации...

В том году был страшный урожай яблок. И у Степанова, и у соседей, и в деревенских заброшенных садах. Месяца два Володя с упорством крестьянина работал на яблоки. Вozил из деревень мешками. Гнал сок, сушил, кормил яблоками коз. Накупив перчаток в хозмаге, затворял в бутылках вино. Бутылки стояли на кухне в ряд, словно голосовали за кооперацию и конкретную экономику. Эх, хорошо бы Зюганову в каком-нибудь предвыборном плакате это использовать, отбою бы от электората не было!..

Вечером мы выпили русского кальвадоса. Володин сосед ругал новых кремлевских мечтателей: раньше на Спиловском стекольном заводе, описанном еще Иваном Васильевым в повести «Бубны-kozyри», делали отличные двадцатилитровые бутылки, теперь и четверть днем с огнем не найти. Бережливая матушка Степанова оставила ему в наследство две бутылки, как чувствовала, что сыну в трудное время жить придется. В тот вечер презентовал он нам новую технологию сушки яблок «с хрустиком». всерьез задумывается, чтобы запатентовать ее. После того как мы закусили ими, я, наверное, из зависти обнародовать ее рассоветовал:

— Володя, я придумал, как резать яблоки на сушку одинаковыми дольками. Ведро нарежаю за двадцать пять минут. Получаются такие пирамидки, я с ними чай пью. Тоже думал запатентовать и даже в Интернет выложить, чтобы все так резали. Потом на трезвую голову передумал. Да и сын отсоветовал. Знаешь почему? Да пошли они! Купят технологию за двадцать копеек, а загребут за нее миллионы. Не жили хорошо, и не надо! Но тебе покажу.

— А мне зачем? Привези мешочек, мне и хватит.

На том и порешили.

Этой осенью для удобства работы и чтоб кухню не пачкать он вынес во двор соковыжималку, но переработать все яблоки не помогло и это. Ох, и досталось всем! Сотни тонн яблок закапываем в землю, а они ввозят из Европы с консервантами. Это разве предприниматели?! Спекулянты! Раньше хоть детское пюре делали из яблок, компоты, гнилушку. Народ-победитель стал народом-потребителем. Сталина до сих пор либералы гнобят за то, что на яблони колхозникам налог ввел. А сами что сделали? От всего освободили. Кальвадос, знаешь, сколько в магазине стоит? Как коньяк. Потому что из Испании. Да его сотни тонн можно только в Спиловском районе гнать.

Степанов — язычник, верит в славянские божества. Считает, что и родители его не стали атеистами, **были язычниками**. А язычник тоже верующий, апостол Павел язычников даже в пример фарисеям-христианам ставил!

Полнее всего он чувствует себя дома, когда вспомнит о древнем погосте под вековыми соснами на берегу Тверцы, в Бабьем. Там покоится прах его матери, отца, бабушки и деда. И прадеда Степана, давшему имя его русскому роду. Верит, что когда придет срок вернуться в эту землю, они и спросят его, как он прожил свою жизнь.

Я ни крестам, ни церквам не молюсь,
Когда на родину весною приезжаю,
То дедовым могилам поклоняюсь
И вспоминаю тех, кого совсем не знал я.

— Володя, а справедливо, что деды и прадеды твои были православными христианами, лежат в Бабьем под крестами, что их крестили во младенчестве и отпевали по смерти, а ты вернулся к тем, кого они называли погаными.

Насчет поганых я, конечно, загнул, просто решил проверить, что за символ веры у Степанова. Вижу, он дернулся на поганых, я пошел на попятную:

— Нет, я утрирую, конечно, я не борец с язычеством. Но считаю, что язычество — это вроде начальной школы христианской веры, ведь Христос пришел к язычникам, родился от смертной женщины, явился в образе человека. Тогда получается, что ты по отношению к своим дедам второгодник, ты не пошел учиться дальше дедов. Они среднюю школу закончили, будучи православными, а ты назад в первый класс сел, да на заднюю парту.

— Повторение — мать учения. А если деды мои ошиблись? Может, им буддизм принять нужно было, а князь Владимир их к христианству склонил. Нельзя вчерашнего безбожника, который церкви закрывал и иконы сжигал, одним махом с помощью свечи, которую ему в храме батюшка поп сунул в руку, стать настоящим христианином. Я не Ельцин, чтобы вчера Ипатьевский дом разрушить, а сегодня лоб трехпалой рукой крестить. Знаю я этих новоявленных христиан как облупленных. Понакупят иконок, некоторые даже посты соблюдают, скоромного не едят, но больше для плоти, чтобы не ожиреть от хорошей жизни. А в душе гордыня, самолюбие зверское, эгоизм страшный: с соседями судятся, с родными ссорятся, о ближних сплетничают и злобствуют. Судят тебя за твоей спиной. Есть у меня в Москве знакомые. Спросишь у молодых: «Где отец?» — «В гараж ушел, машину ремонтирует». — «А мать?» — «В храме, на службе». Как ни придешь к ним, лампадка у икон горит, а в квартире телевизор на полную мощь гремит, всю эту дичь смотрят, друг с другом собачатся.

— Хоть что-то сдерживает, наверное, и их?

— Не знаю. По мне честнее березке поклоняться, полю, земле, реке. Одно скажу: у атеистов такого бардака в лесу не было, как у православных. Те хоть какие-то правила блюди: поел на привале — сожги бумагу, пережги в костер банки, закопай в землю, а бутылки заberi и отдай бомжу. Почему церковь молчит об этом? Да, у меня во дворе сорно, но в лесу я бутылку не выброшу, о камни не разобью. Язычник я. Природа для меня — святое.

К Козлову в Кувшиново

Субботняя электричка. Еду к Степанову, от него на его «ниве» едем в Кувшиново. Вдова Юры Козлова Лида пригласила отметить 85-летие Юрия Андреевича.

Народ сегодня неудобный, ершистый. То ли солнце такое, то ли кислорода не хватает, то ли погода меняется, но в воздухе разлиты нервяк, раздражение. До скандала не хватает искры. В вагоне свободные места заняты сумками, пакетами, дачными мелочами, на вошедших пассажиров ноль внимания. Нахожу почти свободное купе, но дачники расселись так, что даже третьему нет места. Толстяк везет на дачу старый стул, поставил его спинкой к проходу, на стул усадил собачонку, которая глядит на него, испытывая приступы любви к хозяину, порываясь перепрыгнуть к нему на колени. Его собеседник сидит по диагонали. Прошу подвинуться. Ворча в ответ, мне уступают на пол-ягодицы. Сажусь. Пассажиры в напряжении

еще и потому, что многие без билетов, с беспокойством поглядывают на дверь, ждут контроля, держат в кулаках мелочь. Боже, сколько же нищего, считающего копейки люда! Даже не верится, что двадцать лет назад общественный транспорт был без кондуктора, расплачивались за проезд мы сами...

Я тоже заяц: Степанов научил. Как-то возвращались мы с ним из Бологого с краеведческой конференции, я пошел в кассу, а он мне:

— Зачем тебе билет? В вагоне контролеры обилетят!

Я возразил, мол, сиди и вздрагивай, жди контроля. Степанов рассмеялся.

— А че их ждать? Подойдет, отдай положенное и дуй дальше. Не подойдет, ежай так. Ты ветеран? Готовь пятнадцать рублей. Я приготовил тридцать.

— Как-то неудобно, старик.

— Чего?! Ты же не по своей прихоти ехал за двести кэмэ. Готовил выступление, люди нас слушали. Думаешь, Путин с Медведевым на свои ездят? А чем ты хуже? Раньше нам поездку оплачивали общество «Знание», книголюбы, писательское бюро, на худой конец принимающая сторона. А сейчас у вас даже своего угла нет. Что там в вашем помещении? Магазин «Роскошь» открыли? «Рив гош»? Так что не дергайся. Пусть им стыдно будет, что писателя до нищеты довели. Гонораров уже ни газета, ни журнал, ни издательство не платят. А все наши сбережения до 1991 года оказались в кошельках у Чубайса, Грефа и ловких руководителей Литфонда.

Сажусь рядом с солидным седовласым мужчиной. Бросив испытующий взгляд на меня, он наклоняется к своему собеседнику и продолжает:

— А ветеранов-москвичей Якунин возит на электричках бесплатно. Как же элита! Вроде дворянского сословия. Вот ты попробуй задержаться в Москве дольше суток, и проезд из Москвы тебе придется оплатить полностью. Чуешь, как задумано? Не фиг тебе в Москве делать, болтаться там под ногами и мешать москвичам жить в свое удовольствие.

— Не говори! Брат у моей — москвич. Как приедет в гости, всю дорогу мелет, как им трудно живется в Москве, какие там продукты дорогие и все такое. Вранье! Мы к ним за дешевыми продуктами ездим, а не наоборот. Я моей говорю, пусть назад возвращается, если там тяжело. Фига с два! Назад их колом не выгонишь. А деньги у москвича откуда? От сибирской нефти, от ямальского газа, от якутских алмазов, от нашего леса. Москвич и воду нашу пьет, считай, бесплатно. А нос дерет.

— Ну, давай! — подает свою пухлую ладонь седовласый и, заложив под мышку безропотную собачонку, трогается к выходу.

Вагон пустеет, скоро я остаюсь в купе один, скольжу по пластмассовому сиденью к окну. Вагон новый, но спинки сидений уже расписаны разноцветными фломастерами.

Едва отъехали, двери с треском расходятся, и в вагон вламывается толпа подростков. Иногда я езжу по утрам на электричке в город, и тогда вижу целые отары этого молодняка, которых, как овец, гонят из вагона в вагон контролеры. Жалкое зрелище видеть безденежную, в глубине души униженную молодежь, которая не имеет денег на билет. В 1960-е страна с такими поднимала целину, строила БАМ, осваивала нефтяные и газовые месторождения, возводила новые города. Эти оказались никому не нужными, лишними, у них даже мелочи нет на билет, бегают по вагонам, как овечки, жалкие и униженные... А кто я? Такой же лишний. Снова во мне заговаривает укоризненный голос: «А ведь это ты сам позволил затолкать себя в электричку вместе с подростками и ждать контроля. Все, что собирал на старость, сгорело, осело в карманах „элиты“, живешь теперь на десять тысяч в месяц, прячешься от контролеров... Хотя что значит — позволил? Десять лет я неустанно работаю, написал шесть книг, десятки статей, рассказов, повестей и рад, если за какую-то из них заплатят копейку, а в основном работаю даром... Все это в

достаточной мере востребовано: печатаюсь в лучших литературных журналах, на сайтах, в электронных газетах. За эти годы удалось издать три книги тиражом в двести–пятьсот экземпляров, остальные в компьютере. И что? Еду в электричке с подростками, в общем-то, не по шкурному, своему, а опять же по общественному делу...»

Степанов ждал меня на пустынном перроне при полном параде. Стоял как окрик для глаз: ослепительно-белый костюм из льняной ткани, соломенная шляпа-сомбреро, новенькие, из толстой желтой кожи сандалии. В таком прикиде видел его, пожалуй, только раз, на День поселка, когда довелось прикалывать к его пиджаку Большую золотую медаль. А медаль та предательски выскользнула из моих рук и при полном стечении спировчан пала на дощатый пол сцены, звеня и подпрыгивая. Тем и прогремели. Толпа, вывалив из электрички, почтительно обтекала его с двух сторон, как статую. Мы обнялись. Я вспомнил, что Юра Козлов тоже любил приодеться в торжественных случаях, даже наодеколониться, в будни же ходил в затрапезе.

— Помнишь у него белые лаковые туфли?

— Еще бы! Он обувал их только на выход, лет десять носил.

Когда шли по переходу, показал мне красное кирпичное здание железнодорожной школы, которую окончил и он, и Иван Васильев. Предлагал глянуть на царские апартаменты на вокзале, но я отказался. Перенесли осмотр на вечер: с запада напирали тучи, а дорога дальняя и километров пятьдесят по трассе.

— Цветы бы нужно купить, Володя.

— Купим по дороге, есть тут цветочный киоск, главное — не опоздать.

Сели в его «ниву», заваленную корзинками, засоренную кормом для коз и кроликов. Неисправим! Ведь в гости же едет! Поехали.

— Он же не в Москве родился?

— Под Москвой, но на Рязанщине, бронзовый он, что любил подчеркивать. Москвичом стал в год своего рождения.

Прошлись по Юриной биографии: в 1943-м его призвали в армию, с января 1944-го по май 1945-го воевал на Украинских фронтах, в Краснознаменной Дунайской флотилии. Освобождал от фашистов Румынию, Венгрию и Австрию.

— Вообще его году «повезло». После войны ведь всех салаг оставили дослуживать. Козлова в Дунайской флотилии, откуда демобилизовался только в 1950-м. Потом Московский уголовный розыск. Ходил с геологами по Эвенкии, тянул лямку на рыболовных судах в Астрахани. В Брянской области лесным объездчиком и инспектором рыбохраны... Отсюда и названия первых книг: «Добрая ягода калина», «Коростели в сыром лугу»... А от войны остались «Новобранцы» и медали «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда».

— Меня с ним Юра Яковлев познакомил. От него тоже много ждали, а оставил после себя одну лишь литзапись старика Заболотного. Кстати, он и первый рассказ Козлова в «Смене» напечатал, «Гармонь», по-моему, назывался.

— Помню, помню, хороший рассказ. Древний дед и мальчишка, старый и малый, вечная тема. Он его лет десять писал.

— Знаешь, а мне кажется, что Козлов пересидел в эпизоде и за рамки его в прозе так и не вышел. Зацепила его «художественность»: деталь, язык, метафора. Не соединились его яркие эпизоды и персонажи, язык в повесть, роман, даже в классический рассказ с мощным сюжетом, идеей.

— А историческое повествование? Там есть картины.

— И там все в эпизоде остается, ни персонажи характерами не становятся, ни события сюжетом. У многих персонажей даже имен нет. Вот посадский из «Сму-

ты», тот, что поит мужиков, этакий польский агент влияния, помнишь? Рассказывает барыгам про ангела, который приходит к нему во сне и говорит, что Москве будет совсем плохо, если она с поляками не помирится, перед Польшей не покается. А ежели, мол, начнет Москва поляков слушаться, примет их власть, заживет она сыто-весело, Европе на зависть. Надо лишь Смоленск им отдать да на престол польского королевича посадить. Персонаж исчезает из повести, как и сам эпизод не идет дальше иллюстрации к известным историческим событиям. Нет поддержки событий личностью, характером. Недаром и жанр назван «истлевшей рукописью, найденной у собирателя старины». По жанру повесть похожа на исторический документ, только вымышленный. Он сам чувствовал фрагментарность, неслиянность событий с характерами. Читать его интересно, но как иллюстрацию к описанным историками событиям с аллюзией на современных политиков. Но когда событие замыкается в эпизоде и не требует соединения с другим, все у него получается, цветы расцветают дивные, в «Гороховских былях-небылях», «Балладе о вешем сне», охотничьих и рыбацких рассказах.

Цветы купили и не опоздали. Вот и знакомый дом, окна на первом этаже. На углу дома мемориальная доска о том, что в этом доме жил известный русский писатель Юрий Андреевич Козлов...

Дверь открыла Лида. Постарела, худенькая, но востроглазая. И дома все так же, как при Юре. Застыло тут время: его книги, его стол. На полке четыре его книжки: «Добрая ягода калина», «Коростели в сыром лугу», «Новобранцы» и «Есть угол на земле». Юры только нет. Ах вы, писательские вдовы!.. Пятая книга, «Смуга», стоит отдельно. Вышла в Твери благодаря усилиям Владимира Исакова и литературоведа Юрия Никишова толстенным томом уже без него.

У нас минут сорок времени, Лида, торопясь, наливает чай, ставит на стол бутерброды: просит перекусить, время уже обеденное.

Мы едем в районную библиотеку. Там уже все в сборе, как всегда, в читальном зале много женщин. Да вот жаль, что начавшийся дождь обнаружил худую крышу над библиотекой. Библиотекари в спешке расставляют тазы по коридору и книгохранилищу, под аккомпанемент тяжелых дождевых капель конференция продолжается. Радостно, что Козлова помнят, любят, хранят в душе добрую память о нем... Все помнят о нем как о живом человеке, рассказывают, будто он сидит среди нас в зале.

После конференции едем с Лидой на кладбище. Там говорим о том, что хорошо бы издать его неизданные рассказы и повести. Хорошо бы. А как? Договариваемся подключить к этому Юрия Михайловича Никишова, Борисова, написать письмо в администрацию...

С тем и уезжаем в Спирово. Снова Торжок, Митино, Выдропужск, Спирово.

— Ну что, заезжаем за казенкой или своей обойдемся? — спрашивает Володя, проезжая мимо гастронома.

— Конечно, своей.

Дома у Володи готов обед в честь Юрия Андреевича: копченый судак, щука, два подлещика, хрустальной чистоты яблочная самогонка, козье молоко, жареные грибы. Садимся, наливаем по первой, пьем, не чокаясь, за своего товарища.

— Ты напиши о нем, обязательно напиши, — говорит Степанов, прощаясь со мной на перроне. — У тебя получится.

— А ты?

— Все, Михайла, ты как хочешь, а я закапываю перо в землю...

Не верю я ему. Тоже мне, русский индеец нашелся!..

Валерий СКОБЛО

. * * *

Я, наверное, даже и человек неглупый,
Но и большого ума, как говорится, мне Бог не дал.
Редко Он мне говорил: подумай, а чаще: пощупай.
Много всякого в жизни, в общем-то, я повидал.

И осязал, и слышал... многое я запомнил.
Не скажу, что обдумал... помыслить такое — грех.
А в утешение порой вот что нашептывал Он мне:
«Не расстраивайся — ума не хватает на всех.

Зато ты запомнил ворсинки ковра на стенке
Возле кровати с сеткой... шариками такими на ней,
Царапину со следами йода на левой коленке —
А это совсем не помнят те, кто тебя умней.

А если ты спросишь: зачем это все?.. зачем мне?
То Я нипочем не отвечу... подумай об этом сам...»
На свете, видимо, нет человека меня никчемней —
Не нахожу ответа... Не вижу дороги в Храм.

. * * *

Андреев думал: взгляда Князя Тьмы
Не выдержит никто, напрасно ропщем.
Кто этот Князь!.. — кто я и кто все мы?
Другой масштаб... Мы беззащитны, в общем.

Забыл сказать: Андреев — Даниил.
Но это вам и так вполне понятно.
А Князя, кстати, кто остановил?..
На карте этой тьмы и света пятна.

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Ирландия, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публикации последних пяти лет в журналах и еженедельниках «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литературная газета», «Нева», «Новое русское слово», «Слово\Word», «Урал», «Юность» и многих других (порталы «Журнальный зал», «ЛитБук», «Мегалит», «Русское поле», «Читальный зал» и др.). Премия им. Анны Ахматовой за 2012 год. Живет в Санкт-Петербурге.

Я «Розу мира», прямо скажем, чту
Не за прозрений люрексные нити,
А за наивность... даже простоту,
Которой вся пронизана... простите.

Но прост и плотник был, в глаза ему
Взглянувший и не дрогнувший от взгляда.
Мне мало, что понятно самому
В сюжете... Большой ясности не надо.

* * *

Я бы позвал тебя в даль эту самую... светлую,
Но, понимаешь, я сам собираюсь совсем не туда.
Я строю планы на темную близь... и с собой не советую,
Ибо оттуда обратно сюда не идут поезда.

Так что, уж если тебе не понравится, глупая,
Переиначить нельзя вариант — ну, никак... нипочем.
Тенью с другими тенями кружить будешь, плача... аукая.
Не открывается дверь никаким разволшебным ключом.

Нет, не удержишь меня, окликая по имени,
Этой дороге короткой я полностью нужен и весь.
Стоит ли кланчить: возьми меня, милый... возьми меня...
В этом краю мне не нужен никто... Как и здесь.

ОБЪЯЛИ МЕНЯ ВОДЫ ДО ДУШИ МОЕЙ...

Ты знаешь, мне кажется иногда,
Что жизнь — абсурдна, конечно, да —
Но не совсем абсурдна.
Всей очевидности вопреки,
Вижу порой за изгибом реки
Большое морское судно.

Барк пятимачтовый или фрегат...
Теперь ты и сам убедился, брат:
Сознание мое непрочно.
Об этих парусниках в стихах
Только ленивый и не вздыхал...
Да — крыша съезжает точно.

...Типа — парусник «Крузенштерн».
Давно нам подняться пора с колен,
И пусть ищут ветра в поле.
Нет — политика здесь ни при чем,
Ею я точно не увлечен —
Я о воде и воле.

Я о другом говорю совсем,
Есть много важных и нужных тем,
Кроме «тайной» свободы.
Что мне Пушкин и что мне Блок?
Намертво вязнет в зубах урок —
Душу объяли воды.

...Я был бы там распоследний матрос,
Не капитан — ну, какой с меня спрос?
Не по Сеньке корона.
Темы морские тем хороши —
От них облегчение для души.
Я очень плохой Иона.

Я верю в парус косой и прямой,
Гафельный, рейковый, шпринтовой...
Приму еще что на веру?
А жизнь абсурдна... пряма... крива...
Увижу далекие острова...
Абсурдна она... Но в меру.

* * *

Нет, невозможно оторваться от прошлого,
Его не отправишь на вечный покой,
И — от настоящего, из него проросшего,
Горького, точно полыни настой.

Ну, а грядущее несуществующее
Разъедает реальность, как едкий йод.
Смотришь — и вот оно рядом — будущее,
Оно не спрашивает, а настает.

* * *

...Он с вечера крепко уснул
И проснулся в другой стране...
А. Блок. Жизнь моего приятеля

Это не специфика сна, а особенность этой страны.
Где ни мы сами, ни наши сны никому не нужны.

И, бывает, — проснешься: и — мать твою!.. — переворот.
А уже безразлично, и думаешь, что же ты за урод?

Которому все... до этого... скажем мягко: до фонаря.
Выпьешь кофе спокойно — не пропасть же продукту зря.

Поскольку чутье подскажет: сейчас придут за тобой.
Огнем и водой кончается, а вовсе не медной трубой.

Тут явится участковый, пьяный с прошлых своих именин,
Хотя ты ни сном ни духом... уж лучше б за дело, блин!

С ним представитель органов, участливый понятой —
В количестве два... А до фени... ты почти что уже святой.

Все перероят, заразы... А какой у тебя динамит?
У них по базе пометка, что вражеский ты наймит.

Тут ничего не скажешь... Вот ты и сидишь... и молчишь.
Как, помните, перед Буржуином сидел и молчал Мальчиш.

Поскольку улик маловато, покатишь на юго-восток,
А не заснул бы с вечера, остался бы тут, браток.

Прощайте, стихи-стишочки... А может, как знать? — пока...
И за тобой потянутся сонные облака.

* * *

Ветром... волною... туманом... да, чем-то такого рода —
Вот кем хотелось стать мне после... после ухода.

Или ручьем бегущим, поющим по собственным нотам.
Я не прошу — звездою: не заслужил... чего там.

Стать бы скалой, пропастью... нет, все-таки лучше скалою,
Мирным огнем костровым... пеплом, углем, золою.

...Сосулькой, свисающей с крыши сразу после мороза.
Даже ливнем мгновенным, хлынувшим вне прогноза.

Это ведь тоже неплохо — давать свою воду рекам...
Только не человеком... только не человеком.

Сергей ДИГОЛ

КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА

Рассказ из цикла

«Пантелеймонова трилогия»

Угасание литературного дара напомнило эволюцию его гастрономических пристрастий. Он всегда был фанатом перченого и десертов, обожал харчо в университетской столовой и непроизвольно глотал слюну, когда вспоминал о трубочках с заварным кремом. Тех самых, из детства, длиной с телефонную трубку, сказочно хрустевших под зубами, осыпавшимися крупными крошками и снегом из сахарной пудры. Все это было в прошлом. Он разлюбил маринованные огурцы и маслины, теперь они казались до пошлости пересоленными. Мутило его и от приторного сметанника, а в чае без сахара он теперь различал целые миры и не мог взять в толк, почему столько лет лишал себя такого удовольствия.

Ничего божественного не находил он теперь и словесных пряностях, сыпавшихся ему в голову откуда-то сверху, оседавших в памяти и щедро отпечатывавшихся на бумаге с каждой новой строкой. Погружение в рай обернулось огненным колесованием души, и теперь, садясь за новый рассказ, он чувствовал, как кто-то внутри него безжалостно подбрасывает раскаленные угли.

Новый рассказ Серджиу Викола начинался с опостылевшего кишиневского вида за окном. Ровно в десять утра писатель уже сидел за столом, за которым после обеда старший ребенок делал уроки. За окном открывался невеселый вид. Девятиэтажка, в которой проживали кишиневские знаменитости, члены правительства, депутаты парламента, крупные бизнесмены и пара артистов, из чувства стабильности, которое дает могущественный сосед, с позапрошлого лета напоминала лишь о хронической зыбкости всего сущего.

Первыми появились люди с бензопилами. Действовали они быстро и шумно и за день управились с двумя десятками ореховых деревьев, многие годы создававших иллюзию единения «блатной» девятиэтажки с домом, на первом этаже которого мучительно думал над первой строкой писатель Викола. Между домами образовался пустырь, так и не успевший зарости травой. Скоро он превратился в оживленную и неблагоустроенную проезжую часть. Вдавливая в землю одинокие желтые одуванчики, по пустырю сновали самосвалы с песком, груженные мешками с цементом, кирпичами и арматурой. Машины осторожно объезжали пни, низкие, почти у земли, так и не выкорчеванные, но все еще напоминающие о временах, когда по осени здесь бродили пенсионерки с пакетами. Они шелестели грязной желтизной под ногами и тыкали своими палками именно в те места, где под листьями прятались упавшие с деревьев орехи.

Сергей Вячеславович Дигол родился в 1976 году. Живет в Кишиневе, по образованию историк, по профессии рекламист. Автор романов «Практикант», «Утро звездочета», «Подлинные имена бесконечно малых величин», повестей «Старость шакала», «Посвящается Пэт». Его произведения отмечены лонг-листами литературных премий «Национальный бестселлер», «Русская премия», «Премия И. П. Белкина». «Ключ без права» — заключительный рассказ трилогии о похождениях Пантелеймона Берку, изворотливого современника и земляка автора.

НЕВА 11'2014

То лето было безнадежно испорчено, а ведь он сделал все, что мог. Выпроводил обоих детей, вначале к бабушкам в провинцию, а затем, уже вместе с женой — на две недели в Одессу. Заранее составил план романа и не мог не нарадоваться, что один лишь сюжет занимает почти тридцать страниц. Перечитал три романа Мураками и «Модель для сборки». Впервые открыл, хотя и убеждал себя, что перечитывает, Сарاماгу, Фитцджеральда и Фолкнера, удивляясь каждой новой странице, предвкушая пикантность рецепта, который его бесспорный талант способен сварганить из таких разных ингредиентов. То и дело открывал книжный шкаф, останавливая взгляд на третьей полке сверху, той самой, где примостились ценнейшие экземпляры семейного литературного тезауруса. Четыре номера журнала «Окна Магадана» с рассказами Серджиу Викола.

Когда три года назад напечатали первый из них, вместо дома напротив сквозь оконное стекло он увидел яркий свет и дальнюю дорогу. Дорога вела в Москву, где его ждали творческие вечера и презентации в книжном магазине «Библиоглобус». Он заранее краснел, видя, как его приглашают на сцену в «Президент-отеле» для вручения литературной премии. Мечты равнялись планам, это подтверждало и письмо главного редактора «Окон» Екатерины Румянцевой.

Сравнив его прозу с откровением, возникающим при обнаружении дорогого джакузи внутри дворового сортира, она, строго говоря, проболталась. Призналась, что публикация столь даровитого дебютанта — шанс не столько для автора, сколько для журнала. «Может, с “Нью-Йоркером” мы и не сравнимся, но хотя бы не лишат госфинансирования», — писала Румянцева, но Викола уже было не остановить. Он написал еще три рассказа, все они были опубликованы в магаданском журнале, и, представляя себя в Москве, в которой он к своим тридцати семи так и не побывал, Серджиу видел себя входящим в книжный магазин «Библиоглобус» на Мясницкой, в котором он знал каждый уголок и мог за минуту найти нужную книгу на вполне определенной полке. Конечно же, только мысленно, ведь и магазин он видел лишь в своем воображении, правда, изучив его во всех подробностях благодаря фотографиям и видеороликам из Интернета.

Вот он входит в «Библиоглобус» через, похоже, двойные двери. Дальше Серджиу — сама бдительность и торопливость. Втянув голову в плечи, он быстро идет по магазину, обходя выкладки с бестселлерами, новыми романами Сорокина и Быкова, прямиком в отдел зарубежной прозы. Вот и конечная цель, третий стеллаж справа, вторая полка снизу. «Два брата» Бена Элтона, второй, после «Слепой веры», роман англичанина, который Серджиу собирается прочесть. Впрочем, не это сейчас главное. Куда важнее другое, вернее — другая. Женщина с сорокинской «Теллурией» в руках. Книгу она не выронила, но взгляда от Викола оторвать не в силах. Он чувствует это, спиной видит ее взгляд, но себе не изменяет. Подхватив книгу Элтона, он почти бегом несется через весь магазин к кассе, пронесится мимо ошарашенной женщины — возможно, она даже почувствовала запах его дезодоранта. Она все-таки роняет Сорокина, поддавшись головокружению от бархатного аромата его «Нивеи» и события, в которое невозможно поверить: только что перед ее глазами дважды промелькнул сам Викола, знаменитый писатель, с третьей попытки наконец-то получивший премию «Русский букер».

Он уже видел, как новый роман, первый, если быть точным, его роман меняет решительно все. Становится для «Окон Магадана» тем же, чем был «Иван Денисович» для «Нового мира». Возвращает русскую литературу во времена «Доктора Живаго», и это, по меньшей мере, возводит автора в ранг первых трех русскоязычных писателей, и отныне «большая двойка» навсегда становится «большой тройкой». Позволяет жене Викола завязать с карьерой тренера по фитнесу, а им обоим — обеспечить будущее, по меньшей мере, трем поколениям прямых наследников.

Серджиу уже предвкушал рождение новой литературной легенды, прямо там, за столом его сына. Увы, то лето запомнилось лишь гулом самосвалов за окном и дизельным смрадом, проникавшим даже сквозь наглухо закрытые ставни пластиковых окон. Все три месяца в доме напротив кипела большая стройка. Вначале к дому напротив пристроили стену, перпендикуляром и высотой в три этажа. Стена примыкала к балконам и оказалась частью будущей гигантской лоджии, сравнимой по квадратуре с площадью всей квартиры Викола.

К сентябрю все стало ясно. Три семейства из дома напротив, частично объединив свои бюджеты, пристроили к многоэтажке три лоджии, огородив свои владения двухметровым частokoлом из стальных прутьев. К началу осени на новых верандах уже были расставлены столики и удобные даже на вид кресла, пили шампанское и с гордостью водили хорошо одетых гостей. Роман же оброс лишь первой главой, на которой и умер.

Ошибка крылась в самом замысле. Он слишком много взял на себя, придумав роман о тайном обществе жен миллионеров, убивающих своих мужей. Гудел под окном кран, мешался бетон, жужжал мат строителей, а к девятиэтажному дому в нарушение всех проектных норм пристраивались три дополнительных комнаты. Женщины были слишком расчетливы, чересчур коварны, они опутали сетями лжи и предательства всю Молдавию. Молдавию, в которой воняло соляжкой, на столе и на экране ноутбука оседала строительная пыль, в стране, где Викола не давали сосредоточиться и где заговор женщин нуворишей был не более уместен, чем заседание Генеральной Ассамблеи ООН в центре Гренландии. Однажды, повертев головой перед зеркалом, Серджиу понял, что за лето его виски стали совсем седыми.

Неоконченный, а по большому счету неначатый роман стал дурным знаком. После того лета Викола не писал почти год. Потом, вдохновленный письмом Румянцевой, попросившей рассказ в свежий номер, и ошарашенный тем, что его текстом, как признавалась главред, предполагалось «залатать дыру», он все же сел за работу. Вышло сразу три рассказа. Ни один из них в «Окна» не взяли, не удостоив Викола даже формальным ответом.

За стол сына он не садился еще девять месяцев, по прошествии которых понял, что время потрачено не зря. Серджиу чувствовал, что беременен, пусть и не замыслом, но уже намерением, признавая, что в его ситуации и этого немало. Однажды с ним уже такое было, однажды он уже нарушил данный себе обет. Не писать продолжения к своему первому рассказу, который — вот на это ему действительно намекали — почему-то считался лучшим из всего, что им было написано. Вторая часть вышла куда многословней, писал он без удовольствия и, пожалуй, даже мучая себя и все же сумел закончить рассказ своим фирменным сюжетным трюком. Намеком на трагичный финал, приятным плевком в ожидания читателей.

Неспешно, но вполне уверенно набрасывая содержание третьей части, он уже знал, какой фразой начнет рассказ. Серджиу усмехнулся: банально до вульгарщины, но почему бы не принять такое решение за тонкую иронию? И даже вполне по теме. По крайней мере, никто не скажет, что начало столь же неуместно, как заговор миллионерш в Кишиневе. За исключением нескольких центральных улиц, с вечера до утра в городе если не ноги в темноте переломаешь, то на гопоту уж точно нарвешься. Хоть глаз выколи — определенно, к реалистичности фразы можно было не придираться.

Еще раз в задумчивости взглянув в окно, Викола решительно подался вперед и напечатал первое предложение:

«Тьма накрыла ненавидимый депутатом город».

* * *

Тьма накрыла ненавидимый депутатом город.

Он ненавидел Кишинев даже здесь, на заднем сиденье служебной «шкоды». Машина везла его домой, и чем больше они отдалялись от центра, чем реже освещались дома и улицы и плотнее становилась ночь за окном, тем уютнее было депутату.

Сколько себя помнил, Пантелеймон Берку всегда ненавидел Кишинев. С самого детства, с того дня, когда из родных Мындрешт родители приехали с ним за туфлями для отца, а потеряли ребенка. Родители исчезли из вида у входа в главпочтамт, откуда отец собирался отправить открытку двоюродному брату в Калараше, подтверждающую, что семья Берку в полном составе выбралась в столицу. Плакать маленький Пантелеймон не стал, он был не в состоянии издать и звука. Зато, посмотрев по сторонам, он понял, что спасен. Он сразу же узнал здание через дорогу, с часами над входом, и, не подозревая, что в этом доме располагается городская совет, перебежал дорогу, шарахнувшись в сторону от длинного и страшного сигнала автобуса.

Ошибки не было. Он стоял под тем самым домом, который видел в фильме «Человек идет за солнцем». Фильм был ужасно скучным, и второклассник Пантелеймон, промучившись в сельском клубе до окончания сеанса, потом сгонял злость на тряпичном мяче, отводя душу на однокласснике-вратаре за украденные полтора часа летних каникул. Дурацкое кино про пацана, не нашедшего в солнечный летний день ничего лучше, чем катить по городу самодельное колесо.

И все же из клуба Пантелеймон вышел в некотором замешательстве. В это невозможно было поверить, но это была правда: одним из встреченных мальчишкой по пути взрослых был сам старик Хоттабыч. Правда, он был без своей магической бороды и почему-то торговал лотерейными билетами, но главное — он стоял прямо тут, в центре Кишинева, у окна, над которым вертелся глобус и рекламировали билеты на самолет. «Все вертится, и ты вертисься», — вспомнил Пантелеймон слова Хоттабыча и понял, что должен сделать. И хотя у него, как и у Хоттабыча в фильме про кишиневского мальчугана, не было бороды, Пантелеймон уже не сомневался: стоит ему трижды покрутиться вокруг своей оси, и произойдет чудо. Он почувствует в правой ладошке тепло маминой руки, в левой — мозолистые отцовские пальцы и больше никогда-никогда не расстанется с родителями. Зажмурившись, Пантелеймон начал вертеться справа налево. Один, два...

На цифре три он ударился носом о что-то большое и открыл глаза. Перед ним стоял милиционер. Настоящий милиционер в белой рубашке и в милицейской фуражке.

— Мальчик, ты чей? — спросил служитель правопорядка.

Это было слишком, и Пантелеймон не сдержался.

— Я потеееееряяяяяяяяя! — заорал он, орошая щеки слезами.

Такое могло привидеться лишь в ночном кошмаре. В центре чужого города Пантелеймона вел за руку милиционер. Само собой в тюрьму — куда еще может вести милиционер. Так заканчивалась жизнь, короткая жизнь глупого мальчика. Ему предстояло сгнить в тюрьме, и, подумав об этом, Пантелеймон еще громче разревелся и не сразу услышал за спиной крик матери.

Все это время родители лихорадочно сновали у входа в главпочтамт, и если бы Пантелеймон не затеял игру с закрытыми глазами, он наверняка бы увидел их до того, как его самого обнаружил милиционер. Тяжелый подзатыльник от отца — вот что окончательно превратило его страх перед Кишиновом в ненависть к этому городу. Ненависть, наливавшуюся соком немой ярости каждый раз, когда Пантелеймон, уже повзрослев, с неохотой возвращался сюда, чувствуя себя в сравнении с городскими жителями туповатой, застывшей на перекрестке лошадей.

Пока он робел перед огромными витринами магазина, кишиневцы уже сметали выброшенный по случаю дефицит. В центральном парке, постояв у стенда со свежей газетой, он расправлял плечи, вдохновленный известием о рекордном урожае. На него смотрели как на идиота, особенно если рядом с трудовыми успехами в газете рапортовалось о выполнении советскими солдатами интернационального долга в Республике Афганистан. Даже его собственная дочь Виорика, которую он с женой Серафимой пару раз в год брал с собой в Кишинев — угостить мороженым и покатать на каруселях, — даже Виорика в своем ситцевом платье не по размеру робела перед городскими ребятами. В вельветовых курточках, в босоножках с серебряными пряжками, они пронеслись мимо на велосипедах, не обращая на деревенскую девочку никакого внимания.

Даже когда Берку покидал Молдавию — сам он думал, что навсегда, — этот город плюнул ему в спину. Растоптал последние надежды прямо в аэропорту, за считанные минуты до начала посадки. Кишинев лишил его всех накоплений, натравив на Пантелеймона гонцов смерти, наглых и вороватых таможенников, которые своего не упустили. Деньги, который Берку припрятал в семейном фотоальбоме, таможенники конфисковали, причем строго неофициально, расовав пачки долларов, евро и леев по собственным карманам. В Испании, перед женой и дочерью, Пантелеймон собирался предстать графом Монте-Кристо, а прилетел постаревшим оборванцем.

Теперь, присовокупив к депутатскому мандату статус неприкосновенности, Пантелеймон Берку мстил городу за все. За порожденные памятью страхи, за шрамы на сердце, за стыд и чувство неполноценности.

Например, не выпускал случая плюнуть в том месте, где перед входом в парламент при Советах располагалась мраморная скамья с сидящими на ней Марксом и Энгельсом. Скамейка с бесовскими немцами перед бывшим ЦК партии давно сгнила на безвестной свалке, но ненависть не отпускала, и Берку, направляясь на работу, всегда останавливался, чтобы исполнить ритуальный плевок.

Но самым своим удачным проектом Пантелеймон Берку считал дом, который он построил в кишиневском районе Рышкановка. В месте, где строительство было невозможно по определению, посреди лесопарка и полсотни метров от рышкановского пруда. Работу пришлось проделать немалую. Вырубить тридцать шесть деревьев, из которых шестнадцать — для расчистки места под дорогу, связывающую строящийся дом с городской трассой. Кроме того, пришлось обрезать провода высоковольтных линий, связывавших Рышкановку с районом Чеканы. Провода провисали над тем самым местом, где Берку планировал возвести летнюю беседку. На третий день после начала строительства, когда электричество на Чеканах пусть и частично, но было восстановлено, Пантелеймон был вызван к Корнелиу Бабадаку.

Формально Бабадак был председателем фракции либерал-социалистической партии в парламенте, но к депутату Берку, регулярно обеспечивавшему партию средствами и нужными связями, он относился с осторожностью и даже не свойственной ему учтивостью. И все же ситуация с вырубленными за ночь деревьями, оставшимся без света огромном районе и выросшим за час строительным забором выходила за рамки даже особого отношения лидера фракции к ее рядовому члену.

— Что за х... там у тебя? — поинтересовался Бабадак, заметно волнуясь. — Мало на нас, что ли, говна вешают?

— Вы о чем, шеф? — ликуя в душе, изобразил недоумение Берку.

Бабадак переехал в Кишинев на десять лет раньше Пантелеймона, и Берку было приятно осознавать, что он заставил поволноваться пусть не коренного, но вполне уже оседлого жителя ненавидимого города.

— Да как же, твою мать? — вскипел лидер фракции. — А озеро на Рышкановке? А спиленные сосны? А обесточенный район?

— А, это, — разочарованно бросил Берку. — Я думал, что-то случилось.

— Ни х... себе, — выпучил глаза Бабадак. — Весь город стоит на ушах, мэра в прокуратуру вызывают, а он и сказать что не знает. В прессу уже просочилось имя виновника. Догадываешься чье?

— Ну и? — продолжал валять дурака Пантелеймон.

Бабадак вздохнул. Всего неделю назад Берку свел его с директором фирмы, занимающейся поставкой и обеспечением учреждений терминалами моментальной оплаты. С этой встречи Корнелиу Бабадак вынес взятку в двадцать тысяч евро и четкое понимание того, что терминалы — будущее молдавской платежной системы. Дело было за малым — пролоббировать постановление, узаконивающее исключительное право нужной компании на установку и обслуживание терминалов в школах и больницах страны. Двадцать тысяч Бабадак еще не потратил и теперь не знал, как бы поделikatней указать Пантелеймону на то, что с домом тот явно перегнул палку.

— Ты же знаешь, что о нас говорят, — как можно более вкрадчиво начал лидер либерал-социалистов. — Что наш человек в должности главы Комитета по образованию — неуч и просто сволочь. Что в Минсельхозе наши люди развели окорочковую мафию, что травим народ бразильскими тушками сорокалетней давности.

— Шеф, но это же все правда, — сказал Пантелеймон.

— Правда, — согласился председатель фракции. — Вот я и говорю. Если бы сейчас оказалось, что вся эта история с вырубкой деревьев туфта, что твое имя просто пытаются опорочить, это было бы идеальным выходом, понимаешь?

— Да, но это тоже правда, — напомнил Берку.

— И это тоже х..., — констатировал Бабадак. — Самое время опровергнуть.

— Да как опровергнешь? — рассмеялся Пантелеймон, но шефу было не до смеха.

— Сдай назад, — сказал он. — Участок-то еще не приватизирован?

— Ну, если по понятиям, то это — незаконный захват государственных земель, — признался Берку.

— Вот и я об этом. Давай, пока не поздно, запишем беспредел на кого-то другого. Найдем человечка, сунем ему денежку, пусть, типа, от его имени подаются бумаги на все эти согласования, авторизации, приватизации. Типа, ты вообще рядом не стоял. А сами выступим с заявлением. Я лично выступлю. Так, мол, и так, попытки связать незаконный захват с именем депутата от фракции либерал-социалистов является грубой и циничной попыткой очернить его честное имя и подорвать доверие к партии в преддверии очередного избирательного цикла. Ну, ты понял.

— Это-то я понял, — кивнул Берку. — А как быть с участком?

— Придется забить, куда ж теперь. Пусть стоит, все равно вони меньше не станет. Хотя место, конечно, охрнительное. Там одна земля, если все оформить, знаешь, сколько будет стоить? — прозревал Бабадак.

— Вот и я о том, — переглянулся с шефом Пантелеймон.

Спустя год после того разговора у всех двенадцати членов фракции либерал-социалистов были в собственности участки земли в лесопарковых зонах в разных районах Кишинева. Разумеется, записанные на совершенно посторонних людей. Семеро депутатов избавились от земли — само собой, за достойную компенсацию — сразу после легализации прав собственности. Еще четверо, включая Корнелиу Бабадака, не торопились, ожидая нового роста цены на и без того баснословную стоимость участков. Не продал землю один лишь Пантелеймон. На участке он построил трехэтажный особняк с отдельной постройкой для бани и еще одной — для гаража на три автомобиля.

И, кстати, из собственных средств оплатил частичный перенос высоковольтных линий.

* * *

— Ты обещал, это принесет нам деньги, — напомнила Гелена Викал.
— Я говорил о славе, — парировал Серджиу.
— Ты говорил о славе и деньгах, — уточнила она.
— Да, но я ведь пока толком и не прославился, — натянуто улыбнулся он.
— Знаешь, — она уперлась руками в боки, — по-моему, ты попросту убиваешь время.

— Писатели, — приосанился он, — время не убивают. Они складывают его в старую картонную коробку, которая в один прекрасный день превращается в волшебную шкатулку. Из которой, кстати, в дальнейшем сыплются сплошные чудеса, одаривая волшебством всех близких писателя.

— Делай со своим временем, что хочешь, — сказала Гелена. — Одна только просьба: не складывай в эту свою коробку мое время. Оно рождает одни и те же чудеса — морщины на моем лице.

Серджиу Викал хмыкнул.

— Да ты писательница, — сказал он. — По крайней мере, в душе.

— Не уверена, — ответила супруга. — Впрочем, может быть. Ты же знаешь, я никогда не читала твоих текстов.

Она всегда так говорила, когда хотела его побольнее ударить. Так ему, по меньшей мере, казалось. Впрочем, это не меняло главного: супруга и в самом деле не читала его рассказов. Ни одного, даже из тех четырех, что опубликовали в «Окнах Магадана».

Серджиу давно понял, что им никогда не сойтись на почве его увлечения. Жена разрывалась между двумя работами, в обед меняя фитнес-центры, расположенные в разных концах Кишинева. Пилатес и аэробика позволяли ей содержать семью и к сорока годам выглядеть на двадцать пять. Трижды в неделю по вечерам Серджиу сам забирал дочь из садика: Гелена возвращалась домой не раньше девяти, подрабатывая частными занятиями с человеком, который мог позволить себе не ходить в фитнес-центры. Он купил себе фитнес-центр целиком: зарезервировал под него огромный подвал в собственном доме, нашипговав помещение новейшими кеттлеровскими тренажерами. В такие вечера Серджиу пытался сыграть ревность, но жена возвращалась настолько измученной и раздраженной, что вопрос измены отпадал сам собой.

Тогда он менял тактику и, расстелив по просьбе зевающей жены постель, включал на кухне ноутбук, извещая засыпающую в кресле супругу о том, что перед тем, как лечь, он еще попишет часок-другой. Минут через десять, когда Гелена уже видела сны, он мимо детской комнаты осторожно пробирался в ванную. Из душа выходил и вовсе на цыпочках, завернутый полотенце на голое тело. Полотенце он бросал на кресло, останавливаясь у изголовья кровати со спящей супругой. Немного постояв, уходил на кухню, так и не одевшись. Садился за ноутбук, открывал файл с рассказом, в котором из планировавшихся пятнадцати страниц успел написать лишь первые два абзаца.

План был такой. Поработать еще часок — время, прикидывал он, достаточное, чтобы написать треть рассказа. Потом — к супруге под одеяло. Главное, не спешить: Гелена терпеть не могла ранних домогательств, ей надо было поспать час-полтора. Приходилось держать паузу, вот только рассказ, увы, не шел.

Серджиу зевал, выключал ноутбук и, уже покрываясь гусиной кожей и чувствуя себя незащищенным из-за наготы, плелся в комнату к супруге. Неслышно заползал под отдельное одеяло и ложился на спину — испытать перед сном, пожалуй, самые приятные минуты за прошедшие сутки. Это было особое время, когда карты сами собой

ложились вверх тузами. Он смотрел рассказ как киноленту, сюжет разматывался клубком, выныривавшим из темного лабиринта, и Серджиу даже различал слова и целые предложения, которые легко складывались в абзацы. Первым желанием было вскочить и бегом ринуться на кухню, врубить ноутбук и записывать, пока слова в голове не испарились, подобно невидимым чернилам. Но Викал не шевелился. Он знал, что наутро ничего не вспомнит, и точно знал, что будет дальше. Ему пришлют новый заказ, очередную халтуру по переписыванию очередного сайта, попутно предложив в лучшем случае сто евро за всю работу. Торговаться он не станет, но и работу будет делать мучительно, тянуть неделями, придется отвечать на напоминания. Поначалу любопытствующие, потом настойчивые и даже раздраженные напоминания заказчика насчет оговоренных сроков. Он будет раздражаться, срывать на жене и на детях, пока одним вечером, разругавшись с Геленой, не засядет за ноутбук и будет печатать каждый вечер до трех часов ночи в течение трех дней.

Обычно этого хватало, чтобы написать большой рассказ.

* * *

— Рассказы? — воскликнул Пантелеймон. — Да это же целые доносы!

Он оглянулся. В своем рабочем кабинете депутат Берку был один. Он стоял у стола и не мог поверить в то, что все происходящее — не пьяный бред. Увы, ноутбук на столе работал, и его экран предательски светился, облучая депутата информацией, убивающей сразу и наповал почище любого Чернобыля.

— Что за доброжелатель такой? — прошептал Пантелеймон, снова садясь в кресло, с которого он, как ошпаренный, вскочил с минуту назад.

Между тем подписавшемуся доброжелателем незнакомцу было явно неведомо чувство жалости, и прежде всего к своему адресату. Нет, все более-менее логичные формальности, связанные с письмом обычного человека в адрес высокопоставленного народного избранника, были соблюдены. Электронное письмо начиналось с верноподданической надежды на то, что только такой истинный патриот страны, такой, как депутат Пантелеймон Берку, может понять рядового патриота, в которые, разумеется, записался так и не назвавший себя автор письма. Сразу за этим следовала совсем малопонятная белиберда, читая которую Берку недоуменно нахмурил брови и теперь уже жалел, что вовремя не отправил письмо в мусорную корзину в углу монитора. Литературный процесс в Молдавии, как информировал депутата анонимный автор письма, находится в стадии глубокой стагнации, и если государство в ближайшее время не вмешается, о развитии молдавской литературы придется надолго забыть. Был предложен и целый перечень конкретных мер, в числе которых Пантелеймону запомнились фестиваль этнической лирики и кружок независимых литераторов Молдавии, заседания которого предлагалось еженедельно проводить за счет Министерства культуры в одном из ресторанов Кишинева. Больше Берку ничего не запомнил — настолько выветривалась память после ознакомления со второй частью послания, в котором автор впервые назвал конкретное имя.

— Серджиу Викал, — прочел вслух Пантелеймон, чувствуя, что это имя, как клеймо, навсегда отпечаталось в его памяти. — И откуда он только взялся?

Взялся он из Интернета, по крайней мере, ссылками на рассказы Викола пестрило сообщение анонимного доброжелателя. Четыре рассказа в журнале «Окна Магадана», название которого напугало Пантелеймона, но, конечно, не так, как два рассказа с сайта проза.ру, читая которые Берку тер глаза, расстегивал и застегивал пуговицу на вороте, дрожащей рукой подносил ко рту стакан с водой, шептал проклятия и задыхался, как пенсионер после стометровки.

— Ублюдок! — стукнул он кулаком по столу, мысленно соглашаясь с хотя и более

расплывчатыми, но, безусловно, верными характеристиками, данными Викола автором письма.

А тот, ни много не мало, называл Викола посредственным проходимцем и псевдолитературным выскочкой. И главное, добавлял доброжелатель, этот так называемый писатель своими, с позволения сказать, произведениями фактически ведет подрывную работу против молдавской государственности и отдельных ее официальных представителей.

— Даже не поспоришь, — с горечью пробормотал Берку, расстраиваясь в том числе из-за недоступной ему самому точности формулировок.

Начать свою подрывную деятельность против Молдавии Серджиу Викал решил с депутата либерал-социалиста Пантелеймона Берку. Рассказ излагал подробности жизни Пантелеймона, о которых сам он предпочитал забыть и которые уж точно нельзя было найти в его официальной биографии. Все, что было связано с его отъездом в Испанию восемь лет назад, каждое его действие, даже те, свидетелем которых был он сам, и, что самое ужасное, даже его мысли, все это теперь хранилось на сайте и — о, ужас, — могло быть прочитано кем угодно.

— Этого просто не может быть, — все еще не верил Пантелеймон, понимая, что никакие связи со спецслужбами, даже прямой доступ к базам данных ФБР, ЦРУ и ФСБ не способны были обеспечить этого чертова Викола всем тем, что он теперь выдавал за достижения своего литературного таланта.

Получалось, теперь у Пантелеймона есть враг. Он знал его по имени, и его совсем не утешало то, что этот враг, по видимости, даже не догадывается, что Берку знает о его существовании. А впрочем, для него это, похоже, такой пустяк. Это даже нельзя было сравнить со слежкой. Пантелеймону казалось, что из его рук, ног, из спины и макушки выросли невидимые нити, которыми кто-то очень ловкий управляет им самим, как марионеткой. Он даже забыл про неизвестного автора, от которого узнал о Виколе — наверняка какой-нибудь завистливый графоман, таланта которого хватает лишь на то, чтобы бухать и плакаться собутыльникам на заговор против гения. Черт с ним и с его неизвестной фамилией, и то и другое канут в вечную неизвестность. А вот жизнь Берку, вся его просвеченная, как рентгеном, жизнь, может стать предметом скандалов, сплетен, насмешек и даже уголовных преследований.

Даже на собственную тень Пантелеймон теперь оглядывался с опаской. Ему казалось, что повсюду за ним наблюдают внимательные глаза. Через объективы фотоаппаратов и камер слежения, через черные очки темных личностей, через проклятый внутренний взор литературного таланта, открывающего вид на все подробности прошлого, настоящего и даже будущего. Кошмар наяву, который теперь всегда был с ним.

На заседаниях парламента, в выступлениях докладчиков и в репликах депутатов он слышал относящиеся к нему лично намеки — в отдельных фразах, а то и просто в подозрительных интонациях. Ему пожимали руку и улыбались в лицо, а он чувствовал холод в ладонях и видел насмешливые взгляды. Он больше не мог так жить и, хочешь не хочешь, вспомнил о генерале Бланару.

В первый раз их пути пересеклись несколько лет назад, когда Пантелеймон Берку, к своим пятидесяти четырем лишь начинавший путь в большой молдавской политике, решил при первой же возможности припомнить обиду таможенникам из аэропорта. К тому времени он уже был знаком с генералом Службы информации и безопасности Бланару и понял, что лучшего союзника ему не найти. Вернуть украденное Берку не надеялся да и не собирался. Его согревала другая мысль: что, оказавшись в западне, таможенники больше всего будут мучиться от двух неизвестных: кто их подставил и что теперь с ними будет.

С Бланару пришлось поделиться частью откровения. Добыв фотографии всех кадровых сотрудников таможни кишиневского аэропорта, Пантелеймон отобрал девять нужных и бросил их на стол перед генералом.

— Коррупционный отряд в полном составе, — сказал он. — Отжимают бабки и драгоценности у пассажиров, ни х... не оформляя процедуру изъятия. Возможно, некоторые из них уже евровые миллионеры. Есть, генерал, за что зацепиться.

Бланару и зацепился. Направил в кишиневский аэропорт группу подставных пассажиров, рядовых сотрудников своего ведомства, вооруженных пачками денег в валюте и пакетами с ювелирными изделиями. Генерал даже превзошел ожидания Пантелеймона: таможенников уволили и посадили, и это при том, что каждый из них отдал по тридцать тысяч евро, только бы остаться на свободе. Пятьдесят тысяч причиталось Пантелеймону. В качестве гонорара и, как выразился Бланару, надежды на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

— Кто на этот раз? — усмехнулся генерал, когда они по звонку Пантелеймона встретились в Ботаническом саду. Подальше от высоких кабинетов, чутких ушей и зорких глаз.

Пантелеймон, хотя и стал инициатором встречи, замялся и даже покраснел. Признаться, что его интересует личность какого-то писателишки, известного, как он уже понял, в весьма узких кругах, могло вызвать у генерала подозрения в адекватности собеседника. Изложить же суть дела во всех подробностях, включая ознакомление с текстами Викола, означало собственными руками вручить Бланару козырь, от которого не откупишься и миллионом. Поэтому Берку попросил содействие в доступе к базе «Бык для анаконды».

— База данных на жителей Молдавии, — добавил Пантелеймон, поражаясь увиденному.

Генерал бледнел прямо на глазах. Обернувшись по сторонам, Бланару вплотную шагнул к Берку.

— Откуда ты знаешь? — шепнул он, наклонившись к уху депутата.

— Мир не без добрых людей, — отпрянул Пантелеймон, не уточняя, что за информацию о существовании такой базы пришлось отдать пять тысяч евро. На вопрос о доступе к базе коррумпированный майор Службы информации и безопасности лишь замахал на Пантелеймона руками.

— У нас в стране, — не менее вкрадчиво сказал генерал, — доступ к базе имеют лишь восемь человек.

— И вы — один из них, — скорее констатировал, чем спрашивал Берку.

— Это тоже конфиденциальная информация, — сказал Бланару и снова обернулся.

— Да вы не волнуйтесь, генерал, — улыбнулся Пантелеймон. — Я же не даром прошу.

— Идиот! — прошипел генерал. — Ты ни хрена не понимаешь!

— Не понял...

— Заткнись! — процедил сквозь зубы Бланару и пихнул Пантелеймона грудью в плечо. — Ты не понимаешь, во что ввязываешься.

— Да все я понимаю! — возмутился Берку. — «Бык для анаконды» — база данных на всех жителей Молдавии. Самые полные данные, подробная биография, все дела. Сведения банков и налоговой инспекции. Данные с камер слежения, государственных компаний и частных агентств, полицейские рапорты, данные съемки со спутников, доносы и общение в Интернете... Продолжать? — спросил он.

— Да это все мелочи, — махнул рукой Бланару. — Главный вопрос: для чего американцы дали бабки на создание базы.

— Для своих же спецслужб? — догадался Пантелеймон. — Ну и что? Вы же, генерал, тоже имеете доступ.

— Ограниченный доступ, — поднял указательный палец Бланару. — Всего три запроса в месяц. И то каждый заход виден американцам. А сколько и что просматривают они, этого никто из нас восьми не видит.

— Генерал, — серьезно сказал Берку, — но это же измена родине.

— Это, — вздохнул генерал, — партнерство во имя мира. Мы же не хотим, чтобы Молдавия вернулась в тоталитарное прошлое. Не так ли, господин народный избранник?

Пантелеймон с готовностью кивнул. В прошлое ему не хотелось, особенно в то, когда он кастрировал быков на принадлежащей албанским бандитам ферме в Испании. Поэтому с переходом к практической части разговора он решил не медлить.

— Тридцать штук, — сказал он. — За право одного доступа к базе.

— С ума сошел! — отвернулся Бланару.

— Мне нужна информация об одном человеке.

— Все, свободен, — махнул рукой генерал.

— Всего полчаса в вашем кабинете, генерал!

— Да-да! — отозвался Бланару, повернувшийся к Берку складками на бритом затылке.

— Сорок тысяч! — повысил ставку депутат.

— Был рад встрече! — ответил генерал.

— Пятьдесят!

— Мы не знакомы!

Округлая фигура генерала уменьшалась по мере того, как он удалялся по направлению к центральным воротам Ботанического сада. Он шел по извилистой живописной дорожке, обсаженной редкими деревьями, многие из которых росли в Молдавии в единичном экземпляре и по климатическим законам вообще не должны были здесь прижиться. Здесь, в Ботаническом саду, явно не действовали те законы природы, по которым неприспособленные особи обрекались на гибель.

— Последняя цена, — сказал себе под нос Пантелеймон. — Пятьдесят.

* * *

— Я почитала твои рассказы, — сказала Гелена Викол.

— Мои? — не поверил Серджиу.

— Ну да. Или их писал кто-то другой?

— Я не, — растерялся супруг, — конечно я... то есть... да, конечно.

— Понятно, — резюмировала Гелена. — Ну, конечно, не все. Два рассказа из журнала, как он там, называется. Что-то про Мурманск.

— «Окна Магадана».

— Ну да, — спешно перебила жена. — Неважно. Просто мне кажется, что два других, про этого, ну как его... Имя такое смешное у мужичка. Аполлинарий? — она вопросительно взглянула на супруга.

— Пантелеймон, — понял и он, о каких рассказах речь. — Вообще-то это будет трилогия. Я как раз сейчас последний рассказ дописываю.

— Я знаю, — снова поразила его жена. — Прочла черновик. Или правильнее сказать — наброски?

— Вообще-то, — нахмурился Серджиу, — я не очень люблю, когда читают мои неоконченные вещи.

Жена усмехнулась.

— Ты уже определись, — сказала она. — То обижаешься, что вообще тебя не чи-

таю, то недоволен, что заглянула в черновой вариант. И кстати, часто ли читают твои неоконченные тексты?

Он не нашелся, что ответить. Подумав, что лучше не злиться, Серджиу вымученно улыбнулся супруге.

— Ну и как тебе? — спросил он.

— Так вот, я о недописанном, — подтвердила она его худшие опасения. — Мне кажется, там есть серьезные нестыковки.

— Я же говорю, рассказ еще пишется, — нетерпеливо напомнил Серджиу.

— Да-да, — невозмутимо кивнула Гелена. — Но кое-что надо поправить уже сейчас. Что? — спросила она в ответ на усмешку мужа. — Сам же сказал, что я почти писательница. Стоило дуться столько лет.

— Нет-нет, ничего. Продолжай. Пожалуйста, — смягчился он, когда пауза затянулась. — Мне правда интересно.

— Ладно, — вздохнула она. — Пора бы привыкнуть. Ты никогда сам не понимал, чего хочешь.

— Ну честно, интересно.

— Да-да, понятно, — добивалась она полной капитуляции супруга. — Тут просто. Ну, в общем. Короче, вся эта история кажется надуманной.

— Что именно?

— Да все. Как он стал депутатом — как по мне, так совершенно неправдоподобно.

— Почему это? — удивился писатель.

— Ну вот, ты описываешь, как после перестрелки в порту он возвращается в дом своего друга.

— Богдана Челаря, — подсказал Серджиу.

— И находит там его труп.

— Совершенно верно. Месть мафии за то, что албанцы развели их на деньги. Еще и мочилово устроили.

— Все это так, — кивнула жена. — Челаря этого, конечно, должны убить. Но к чему эти сопливая развязка?

— Какая?

— Ну, типа, Пантелеймон, застав Челаря убитым, не убегает куда глаза глядят, а обыскивает дом, пока не находит банковские карточки вместе с секретными кодами. Это же липа, никто не поверит.

— Погоди, — поднял ладонь Серджиу, — без этого не понять, как он выбился в депутаты. Нет, серьезно, был никем, чуть не погиб и тут на тебе — заседает в парламенте.

— У тебя он покупает место в избирательном списке на сбережения Челаря.

— А как по-другому? — развел руками Серджиу.

— Да глупости, — отрезала Гелена. — Даже если бы Челарь был миллионером, такой ход был бы слишком скучным. Трагедия вроде есть, а драма отсутствует, понимаешь?

— Ну не знаю, — сказал Серджиу.

— Зато я знаю. Да и ты помнишь, сам же оставил ключ в конце второго рассказа.

— Ключ к чему? — не понял муж.

— Не к чему, а от чего. Ну, или не ключ. Короче, прибор, которым он открывает любые машины.

— А-а-а...

— Ну вот.

— Что вот?

Гелена вздохнула.

— Писатель, а никакой фантазии, — констатировала она. — Этот ключ, или

пульт, или устройство, одним словом. В общем, это и есть его ключ к обогащению. Пусть бы пошатался годик-другой по Молдавии, зарабатывая с помощью этого самого пульта.

— Господи, Ленчик, как?

— Да как угодно. Кстати, необязательно угонять машины. Да и не знал бы он поначалу, кому сбывать краденые тачки. Но он мог просто грабить. Тырить кошельки из бардачков, мобильники. Или документы, все эти права, техпаспорта и оставлять телефон на стекле с предложением выкупа.

— Ага, чтобы его на встрече отмудохали по полной, — усмехнулся Серджиу.

— Иногда дешевле выкупить документы за разумную сумму. Он же, твой Пантелеймон, в целом не идиот, верно?

— Н-у-у... — неопределенно покачал головой Викал.

— Ну раз в итоге стал депутатом, — напомнила жена.

— Так это еще не показатель. Даже наоборот.

— Ладно, как хочешь, — насупилась Гелена. — Я лишь хотела помочь.

— Ленчик, все нормально.

— Да-да, я круглая дура, — еще больше нахмурилась она. — Это твое предназначение — извилинами работать, а моя участь — только в шпагаты садиться и жопой крутить.

— Тебе не идет грубость, — искренне признался он.

— А тебе — отсутствие выдумки. Слабовато с креативом, понимаешь? Да черт с ними, с мобильниками, — пусть угоняет машины куда-нибудь за город, в лес, и снимает колеса. Или договорится с автосалонами, не с этими, большими, где витрины «поршами» заставлены. С другими, которых в городе сто штук, наверное. Пригнал машину, сняли новые дорогие детали, поставили старье — и назад, на прежнее место.

— Маловероятно. Да что там, нереально.

— Фу, какой ты скучный, — воскликнула Гелена. — А сам даже ни слова не написал о жене Пантелеймона и о его дочке. Куда они подевались, а?

— Я еще не успел, — огрызнулся Серджиу. — Говорю же, не надо было читать неоконченный рассказ.

— Ну хотя бы пару слов.

— Сейчас?

— Ну да. Раз уж у нас такая творческая дискуссия.

— Я тебя прошу, — воскликнул он.

— Нечего сказать, правда? — торжествовала жена.

— Ты меня обижаешь.

— Это тебе тоже не идет.

— Что не идет?

— Обижаться на слабую женщину. Будь мужчиной, признайся, что забыл о своих же персонажах.

— Да какая ему разница, что с ними стало? — недоумевал Серджиу.

— Послушай, он же не совсем животное, хоть и депутат.

— Ладно, ладно, — уставал от пустого спора Викал. — Их, по идее, тоже должны были замочить. Албанцы-охранники, за гибель Энвера. Ну, помнишь любовника жены и дочери?

— Это если жена и дочь не снюхались с теми албанцами, которые убили Энвера, — уточнила жена.

— Тогда тем более замочили, — сказал Серджиу. — Черт с ними, еще подумаю. А идея с ключом вполне рабочая.

— Правда? — Гелена подняла глаза на мужа.

— Конечно, — сказал он, чувствуя, как в его голосе появляются бархатистые нотки. — И вообще, ты у меня такая умница.

— Врешь ты все, — тихо ответила она, прижимаясь к супругу.

— Лучше всех, — шептал он ей в шею.

— Каких всех? — промурлыкала она.

— Всех-превсех, — сказал он и впервые за неделю сделал то, от чего каждый раз самому себе казался выше ростом.

Через голову стащил с жены футболку.

* * *

Положим, получаса Пантелеймону не предоставили. Не дали и двадцати минут, и выходило, что пятьдесят тысяч евро, переданных генералу Бланару в бумажном пакете из кафе «Крем де ла Крем», он заплатил за десять минут. В среднем пять штук евро за минуту информации. Рекордная сумма, уплаченная когда-либо за сугубо конфиденциальные данные об одном отдельно взятом писателе.

Детство Викола и его студенческие годы Пантелеймона не интересовали. В целом он потратил на них не более тысячи евро. Для начала остановился на заработках.

Официально Серджиу Викал нигде не работал, последняя запись в трудовой книжке была сделана тринадцать лет назад по случаю увольнения по собственному желанию из издательства, название которого ни о чем не говорило Пантелеймону. Работал писатель дома, провайдеры ежедневно фиксировали от шести до тринадцати часов, в ходе которых с его домашнего ай-пи адреса совершались заходы на различные сайты. Как правило, отраслевые и обычно на русском языке. Секрет открывался просто: собирая новости, Викал переписывал их и продавал двум сайтам — одному, связанному с алкогольной промышленностью, и еще одному, известному как новостной рупор модной индустрии. Такая работа ежемесячно приносила ему по триста евро с каждого сайта, деньги ему перечисляли на банковский счет, и Берку про себя отметил, что подобную деятельность можно квалифицировать как уход от уплаты налогов. В остальном выходило, что писатель и вся его семья жили за счет супруги Викола.

Гелена была старше мужа на два года, работала тренером в двух фитнес-центрах, и это не считая частных уроков бизнесмену Михману, который еще с советских времен и до сегодняшних дней активно сотрудничал с органами государственной безопасности. Несмотря на уйму свободного времени, жене Викал почти не изменял, не считая случая, когда во время ее командировки в Киев, где Гелена участвовала в практическом семинаре для фитнес-тренеров, Серджиу сблизился с участковой врачом, которую вызвал на дом, перепуганный высокой температурой у сына. По видимости, решил Берку, случай попал в базу в связи с тем, что докторша оказалась патологической нимфоманкой. Был большой скандал, врачу со свистом выгнали с работы, а все из-за жалобы одного из пациентов, одинокого мужчины с межпозвоночной грыжей, которого она, пользуясь его временной неподвижностью, с неделю насиловала под видом оказания медицинской помощи.

В отличие от писателя, его супруга оказалась той еще штучкой. Пантелеймон даже влюбился — нет, не в нее, а в базу данных «Бык для анаконды», предоставлявшей, помимо огромных отчетов, видеозаписей, радиоперехватов и рукописных заявлений и доносов еще и краткие аналитические справки, сгруппированные по разделам. Как раз на десять минут, думал Пантелеймон, зачитавшись отчетом о бурной личной жизни Гелены Викал. Ее страстью были высокие, подтянутые, мускулистые мужчины, и один из них, тренер по тэквондо, и привел ее в тренажерный

зал еще до того, как она встретила Викола. Судьба Гелены была predetermined. Она бросила университет, проучившись до четвертого курса на факультете журналистики, прошла несколько тренингов для тренеров по фитнесу и вот теперь, к тридцати девяти годам, была одним из опытейших в Молдавии специалистом с восемнадцатилетним стажем. И все эти годы рядом с ней были крепкие спортивные ребята.

— И в ней тоже, — не удержавшись, пробормотал вслух Пантелеймон и присвистнул при виде списка любовников Гелены Викал.

Человек сорок, не меньше, прикинул он, но, взглянув на часы, понял, что попусту убивает время. Бесценное время, оплаченное огромной суммой в европейской валюте. Он прокрутил еще несколько разделов, и когда до конца сеанса оставалось менее трех минут, нашел то, ради чего так судорожно водил мышкой по столу и в связи с чем генерал Бланару прогуливался по коридору за дверью собственного кабинета. «С. Викал/хобби» — так в базе озаглавили этот раздел.

Здесь было все. Уже прочитанные Пантелеймоном рассказы — он пропускал их, едва увидев названия. Письма Викола в редакции журналов — их было много, с полсотни, и подавляющее большинство из них оставались без ответа. Последним по дате создания значился файл с незаконченным рассказом, открыв который Пантелеймон почти сразу споткнулся взглядом о собственное имя. Он потер покрывшиеся холодным потом руки, взглянул на часы в углу монитора и, хотя до прихода генерала оставалось менее двух минут, начал читать:

«Тьма накрыла ненавидимый депутатом город».

* * *

Легче Пантелеймону не стало, просто пришло разочарование. Должно быть, так чувствует себя боксер, который готовился к схватке с непобедимым чемпионом, а встретился с размазней, все заслуги которого заключались в штамповании, одна за другой, побед над еще более слабыми соперниками.

Предсказатель из писателя Викола был никакой, и Пантелеймон даже решил, что рассказы, не дававшие ему покоя все это время, написаны кем-то другим. Каким-то еще более неизвестным автором, тексты которого Викал бессовестно приписал себе. Ознакомившись с набросками третьего текста о Пантелеймоне Берку, депутат пришел в замешательство.

В рассказе описывались две версии того, как Пантелеймон стал политиком, обе дурацкие и невероятно далекие от действительности. Иногда, забываясь, Берку даже думал о том, что может подать на Викола в суд за клевету. Догадался писатель лишь о том, что было понятно любому, самому тупому читателю. Богдана Челаря действительно убили, но даже здесь Викал ошибся с местом преступления. Челаря вывезли за город и несколько часов пытали всем, что попадалось под руку. Отвертками ковырялись в ушах, душили шлангом автомобильного насоса, домкратом разбили колени, а дверцей автомобиля — голову. Тело обнаружили лишь неделю спустя, и в обезображенном трупе итальянские полицейские не сразу заметили пулевые ранения — три в груди и одно в области паха.

И хотя о смерти Богдана Пантелеймон догадывался еще в порту, до того, как нехорошие предчувствия охватили самого Челаря, лежащего со связанными руками и с кляпом во рту в багажнике уносящегося из Бари автомобиля, достоверные подтверждения о гибели соседа Берку получил лишь месяц спустя, когда до Мындрешт докатились печальные известия из Италии. Рассказывали, что Челарь связался с мафией, что из обычного мужика превратился в извращенца и что хоронить Богдана пришлось Корнелии, его бывшей жене, и ее новому мужу-итальянцу.

Еще более нелепой выглядела версия с пультом, универсальной автомобильной отмычкой — сувениром, доставшимся Пантелеймону от албанцев. Берку даже не стал читать продолжение, он не ожидал, что версия Викола будет настолько натянутой и неправдоподобной.

Теперь, по прошествии лет, самому Пантелеймону эта история казалась вполне заурядной. Ведь он не грабил Челаря и не вламывался в чужие автомобили. Он поступил проще и поэтому выиграл. Вернулся в Мындрешты в то самое время, когда сельский примар уехал в Грецию да там и остался, прислав в примэрию факс с заявлением об отставке. В селе, где в 1989 году насчитывалось шесть с половиной тысяч жителей, теперь, без учета постоянно проживавших за границей односельчан, набиралось не более пяти сотен человек, в большинстве своем — старики и пьяницы. Стоит ли удивляться, что сразу после возвращения Пантелеймон стал основным кандидатом на освободившийся пост, патриотом села, вернувшимся на родину в роковое для нее время. Все парламентские партии наперебой предлагали ему баллотироваться в примары, и Пантелеймон никому не смог отказать. Деньги на предвыборную кампанию он взял у всех, при этом сам себя объявил беспартийным общенародным кандидатом. Когда в партиях поняли, что Берку — прохвост и авантюрист, было уже поздно: срок регистрации кандидатов истек, предвыборная кампания шла полным ходом.

Впрочем, илюзий Пантелеймон не испытывал, на спокойную жизнь не рассчитывал, и чтобы не дожидаться открытий в отношении себя уголовных дел, а то и банального покушения, Берку решил сыграть на опережение. Поехал в Кишинев, где напрямик направился в Дом печати, в редакцию газеты «Независимая Молдова». Он искал журналиста, любого, того, кто справится с простой, но ответственной задачей. Облечет в форму официального письма его, Пантелеймона, мысли. Встреченный им молодой парень в рубашке с короткими рукавами и с терпким запахом пота не стал ломаться, сразу согласившись на предложенные Пантелеймоном десять евро. Копии писем, написанных на официальном бланке примэрии Мындрешт, Берку направил трем адресатам. В представительство Европейского союза в Молдавии, в офис ОБСЕ в Кишиневе и в региональную миссию Всемирного банка.

Письмо начиналось констатацией, продолжалось пропагандистским враньем и завершалось безумным планом, на который Пантелеймон возлагал особые надежды. Для начала отметив, что толерантное отношение к сексуальным меньшинствам в Молдавии находится на низком уровне, словами изобретательного журналиста Берку выразил надежду на то, что со временем ситуация выправится. Более того, отмечал он, большинство населения страны, связывая собственное будущее с Европой, просто не может не принимать всей душой исконные европейские ценности, и в первую очередь терпимое отношение к геям и лесбиянкам, тяга к которым, как утверждал Пантелеймон, в среде наиболее прогрессивных молдаван, у европейски взращенной молодежи, уже достигает уровня ведущих стран Запада. Пантелеймон предлагал провести гей-парад, но только не в столице, где, по его словам, несмотря на большое число молодежи и обилие проевропейски настроенных прогрессивных неправительственных организаций, основная часть горожан — отсталые совки, ностальгирующие по сгнившей и, слава богу, рухнувшей империи. В качестве замены Кишиневу примар Берку официально, расписавшись и заверив собственную подпись печатью, предлагал село Мындрешты, где, как настаивал журналист из «Независимой Молдовы», с момента возникновения первых человеческих поселений созданы идеальные условия для воспитания молдаван в духе толерантности и европейской мультикультурности. Село Мындрешты, информировал высокие международные представительства Пантелеймон, в котором к началу 90-х годов проживало более четырех тысяч отсталых, угнетенных, обманутых и зом-

бированных советской пропагандой людей, не помышляющих о евроинтеграции и неспособных даже представить себе, что, кроме таких, как они, комбайнеров, фермеров, виноделов и доярок, в мире живут миллионы людей с гораздо более богатым внутренним миром, людей, исповедующих прогрессивные ценности, различные вероисповедания и сексуальные ориентации, в настоящее время переживает период тотального очищения и европейского возрождения. Да, признавалось в письме, эти изменения связаны с катастрофическим падением численности населения, но, настаивал примар, новое поколение селян будет уже стопроцентно проевропейским и толерантным, впитавшим ценности мировой демократии с молоком матери, а если быть до конца толерантным, то и с молоком отца.

Отослав письма с одинаковым текстом внутри, Пантелеймон стал ждать. Дождался он спустя десять дней, когда в примэрию Мындрешт пришли два письма. Одно — из прокуратуры, в котором примар Берку приглашался для беседы по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств, и второе — с приглашением в кишиневское представительство Евросоюза для обсуждения предложенных им в качестве главы сельской администрации мероприятий. Прихватив с собой письмо из прокуратуры, Пантелеймон отправился в офис европейского спецпредставителя.

Им оказался Фриц Хубель, высокий мужчина в строгом костюме, в очках с роговой оправой и превосходным знанием русского языка. Совсем как Энвер, вспомнил несостоявшегося зятя Пантелеймон и затосковал. По жене и дочери, искать которых Берку не решался, чтобы не получить, вслед за новостями о Богдане, новых скорбных известий. Впрочем, скучать было некогда. Оказавшийся немцем европеец Хубель с ходу зарекомендовал себя человеком дела. Угостив Пантелеймона ледяной кока-колой и леденцами, которые Берку рассовал по карманам, Фриц Хубель предложил не медлить, а тут же вместе отправиться в Мындрешты, захватив по дороге, как он выразился, кое-кого из молдавских «селебритис». Под непонятным словом немец имел в виду министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Адриана Параскива, черный служебный БМВ которого присоединился к белому джипу европейского спецпредставителя возле Дома правительства.

В джипе Пантелеймон занимал почетное место, на заднем сиденье вместе с Фрицем Хубелем, который, улыбаясь, интересовался демократическими преобразованиями на селе. И без того подавленный церемониальностью, с которой было обставлено его возвращение из Кишинева в Мындрешты — на джипе спецпредставителя Евросоюза, в сопровождаемом двумя машинами с мигалками кортеже, в состав которого вошел и БМВ министра, Берку мысленно проклинал журналиста с его витиеватыми оборотами. Впрочем, запомнив ключевые слова — «демократические преобразования», «европейские ценности», «дух толерантности» и «однополые браки», — Пантелеймон сумел продержаться до самых Мындрешт, отметив про себя, что не опозорил звание молдавского чиновника, пусть и провинциального.

— Ничего, скоро наша провинция станет центром молдавской толерантности, — сказал он, придерживая за локоть Хубеля, боясь, что тот оступится на мындрештских колдобинах.

Министр Параскива, хотя и бросал на Пантелеймона недобрые взгляды, с преодолением препятствий в виде сельской дороги справлялся самостоятельно.

В эти минуты Мындрешты выглядели необычно. По пустынным сельским улицам следовала процессия из полтора десятка мужчин в костюмах, и, вспомнив Богдана, Берку подумал, что так, наверное, и выглядит мафия на похоронах в какой-нибудь затерянной итальянской деревушке.

— Я думаю так, — сказал примар, когда процессия остановилась у ворот церкви на вершине мындрештского холма. — Вот по этой самой дороге, где мы находимся,

и должен пройти маршрут парада. Внизу вы видите республиканскую трассу, по ней мы приехали в село. А вон там, на горизонте, видите дома в дымке?

— Это Кишинев? — удивился Хубель.

— Совершенно верно, — кивнул Берку. — Я что предлагаю. Хорошо бы, чтобы участники парада развернули огромное радужное полотно. Чтобы метров пятьдесят в длину. Типа, символ толерантности и свободы сексуальной ориентации. Ну, вы понимаете, о чем я, — подмигнул он все более расцветающему в улыбке представителю Евросоюза. — Что с трассы — в Кишиневе чтоб полотнище увидели. Радуга новой жизни, восход европейского будущего — разве это не замечательно?

— О, йя! — от волнения перешел на родной немецкий Фриц Хубель.

— Мы еще покажем этим совкам! — тряс кулаками Пантелеймон. — Всем, мать их, нетолерантным педерастам!

Хубель улыбался, Параскива краснел, а Пантелеймон, решив, что настала минута его славы и что промедление подобно неисправимой тупости, достал из кармана письмо из прокуратуры.

— Кстати, герр Хубель, — сказал он, разворачивая письмо, — к вопросу о преследованиях за европейские убеждения. Вам, господин министр, тоже было бы неплохо послушать, — кивнул он Адриану Параскиве.

Тот день стал началом его взлета. Теперь Пантелеймон мог не опасаться преследований и расправы. Покровителей он обрел самых высоких, а в Молдавии это — представительства западных организаций. Вдохновленный фартом и собственной находчивостью, Берку тогда же, у ворот церкви на холме, предложил пойти дальше. Создать в Мындрештах образцовый центр толерантности и европейской демократии, пилотный проект, призванный служить примером для всей Молдавии. Закрытая территория для домов европейских и американских дипломатов и бизнесменов, с передовой инфраструктурой и полным набором развлечений в духе европейской толерантности — вот во что Пантелеймон обещал превратить Мындрешты. Конечно, не без зарубежных грантов и обязательно отгородившись от остальной страны высоким забором и блокпостами, чтобы, по замыслу примара, согражданам не оставалось иного, как, засучив рукава, всеми силами стремиться к построению такого же светлого европейского будущего.

Хубель оценил идею и даже заметил, похлопав Пантелеймона по плечу, что примар заслуживает места в правительстве Молдавии. Берку же был непреклонен, обещав не покидать Мындрешт до тех пор, пока не осуществит задуманного.

Проект реализовали не по-молдавски лихо. Двух лет хватило на то, чтобы превратить Мындрешты в закрытый поселок суперэлитного жилья, в котором доля благоустроенных дорог, дорогих магазинов и элитных товаров не уступала лондонскому кварталу Сохо. Гранты Евросоюза, общая сумма которых превысила сто шестьдесят миллионов евро, позволили Пантелеймону решить две проблемы: навсегда изменить облик родного села и откатами откупиться от затаивших на него обиду кишиневских бонз. С ним стали считаться, а учитывая его способности находить деньги, стали звать в совместные бизнесы. У Берку завелись связи и деньги, достаточно много, чтобы он вспомнил о том, что бросил в Испании жену и дочь и до сих пор не имеет ни малейшего представления об их судьбе.

Поначалу он еще считал себя разведенным. Неофициально, но вполне реально, как результат безвременной и трагической гибели супруги. Вспоминая Серафиму, он не мог определить, жалеет ли он ее, любил ли когда-нибудь, и лишь иногда Пантелеймону не хватало воздуха, когда он представлял, как жестокие смуглые ублюдки насилюют Виорику перед тем, как перерезать ей горло. После одного из таких приступов Берку напряг всех своих знакомых из силовых ведомств: полиции, прокуратуры и службы информации и безопасности. Ответ был получен на удивление

быстро. Оказалось, что только за последний год Виорика Берку трижды приезжала в Молдавию, каждый раз останавливаясь в «Нобиле», самой фешенебельной гостинице в центре Кишинева. О дате очередного визита дочери Пантелеймон был предупрежден заранее.

В «Нобил» Берку прибыл в сопровождении трех бойцов в масках — их ему выделил комиссар полиции Кишинева. На четвертом этаже, даже не постучав и приказав бойцам высадить дверь, Пантелеймон вошел вслед за ними в номер, откуда раздался женский крик, который ни с каким другим нельзя было спутать. Он словно помолодел, вернулся на тридцать лет назад, когда крик Виорики, пронзительный крик крошечного младенца, разрывал ему перепонки, сводил с ума. Только теперь это была большая девочка, хотя по-прежнему голая, и в таком виде она и вскочила с кровати, бросившись на шею отцу.

— Папа! — оглушила она Пантелеймона, крикнув ему прямо в ухо.

На полу, прижавшись щекой к ковру, лежал еще один голый человек. Мужчина с хвостом на затылке, с руками за спиной, которые не давал ему распустить один из бойцов, присевший коленом на задницу незнакомца.

— Папочка! — проорала Виорика в уже наполовину оглохшее ухо отца.

— Оденся, бесстыжая, — сказал Пантелеймон, не без труда освободившись от объятий дочери.

Присев на кровать, Виорика набросила на себя одеяло и дерзко посмотрела на отца.

— А мы думали, тебя уже нет, — призналась она.

Пантелеймон кивнул на скрученного мужчину.

— Это кто? Мало тебе Испании, уже и на родине промышляешь?

— Это просто приятель, — сказала Виорика. — И, кстати, ничем таким я, папочка, не занимаюсь. Зарабатываю этим — да. Но сама — ни-ни.

— Это как, интересно? — усмехнулся Берку.

— Вы бы человека отпустили, — вступилась за голого Виорика. — Он мне просто понравился. Что, нельзя, что ли?

— Отпустите его, — приказал Пантелеймон, и через минуту мужик, одевшись и прихрамывая, уже неся, не дожидаясь лифта, по лестнице, ведущей вниз.

— Да-а, — сказал Берку, повертевшись и присев в кресло у столика, на котором стояли четыре бокала и две открытые бутылки — с шампанским и мартини. — Значит, вы живы. А про меня, значит, забыли?

— Тебя забудешь, — вздохнула Виорика. Она снова легла в кровать и пока ворошила одеялом, снова неприятно поразила отца своей наготой. Пантелеймон не ожидал увидеть у родной дочери гладко выбритый лобок.

— Ребята, подождите в коридоре, — попросил он бойцов.

Оставшись наедине с дочерью, Пантелеймон встал и прошелся по номеру.

— Думали, сдох отец, — сказал он.

— Ой, да брось ты, — воскликнула Виорика. — Можно подумать, ты нас искал.

— Как видишь, искал. Раз уж нашел.

— Да, — сказала Виорика. — И выглядишь ты неплохо, — оценила она его джинсы за двести евро и клетчатый свитер из магазина «Манго». — Получается, мама была права. Это ты свинтил тогда с бабками для итальянцев.

— Я?! — возмутился Берку.

— Точно! Из-за тебя Энвера убили!

— Да ты что? — закричал Пантелеймон. — Да я! Да ты, дура, соображаешь вообще! Знаешь, что я пережил!

— Не знаю, — холодно заметила Виорика. — Как мы с мамой выкручивались — вот это на своей шкуре почувствовала.

А выкрутились они не худшим образом, за что в первую очередь должны были благодарить покойника. Отправляясь в Италию, Энвер не питал иллюзий, тем более что работать приходилось с такими же, как и он сам, албанцами. Поэтому, улетая в Бари, он оставил письменно завещание, поделив свое имущество и активы, в пропорции пятьдесят на пятьдесят, между Серафимой и Виорикой.

— И как вы не пересрались? — удивился Пантелеймон, но Виорика лишь усмехнулась в ответ.

Им было не до дележки. Албанская империя, созданная Энвером в испанской Сарагосе, стремительно давала трещины и грозила разлететься в клочья. Завертелись пронырливые менеджеры подконтрольных албанцу фирм, при жизни Энвера старавшиеся даже дышать беззвучно в его присутствии. Заволновались оставшиеся без хозяина албанцы, и даже официальное завещание Энвера они воспринимали как фальшивку — Виорика чувствовала это по их убийственным взглядам. С матерью они ходили по самому краю.

Первым делом было решено сменить охрану. Объявлять об увольнении албанцам не стали, нашли менее рискованный вариант. В Галисии, криминальной столице Испании, наняли полтора десятка непримечательных на вид парней, обладавших, однако, двумя неоспоримыми преимуществами: навыками безупречной стрельбы и циничной жестокостью. От албанских соратников Энвера галисийцы избавили Серафиму и Виорику за один вечер, устроив бойню в одном из стриптиз-клубов, виновников которой ищут по всей Испании уже не первый год.

Вторым шагом стала операция по усмирению экономических агентов. С менеджерами обошлись с большей выдумкой: парочку человек просто уволили, еще двух пришлось уволить после того, как их признали неспособными к систематическому исполнению служебных обязанностей ввиду полученных тяжелых и многочисленных травм. Остальные, недолго думая, согласились со всеми условиями новых хозяек, а некоторые даже добровольно пошли на сокращение собственных зарплат.

— Как видишь, папочка, нам пришлось потрудиться, — заметила Виорика. — Кстати, я не шутила, в Молдавии у нас тоже интересы.

— Вывозите проституток, что ли? — догадался Пантелеймон.

— Точно, — подтвердила дочь. — Так что, папочка, может, ты теперь и крутой, но лучше нам все-таки не мешать. Как дочь прошу тебя: не суйся.

— Угу, — промычал Берку, задумчиво глядя в пол.

Какая все-таки тупость, подумал он. Номер в Кишиневе стоит как гостиница в Лондоне, а на полу — ковер как на стенах в советских квартирах.

— Эту страну не спасти, — проворчал он вслух и пошел к двери.

— Уже уходишь? — успел услышать он голос за спиной, прежде чем хлопнул дверью.

Вечером того же дня ему позвонили и доложили. Виорика Берку, несмотря на сопротивление, оказанное при задержании сотрудниками отряда специального назначения комиссариата полиции города Кишинева и учиненный в аэропорту скандал, была успешно выдворена из страны. С лишением гражданства Молдавии и запретом на въезд в страну в течение ближайших трех лет.

* * *

Четыре партии, прошедшие в парламент Молдавии, боролись за то, чтобы один из принадлежащих им мандатов достался Пантелеймону Берку. Он был нарасхват: самый успешный кандидат в депутаты за всю историю независимой Молдавии. Он и сам это понимал, слушая истории о грабительских прайс-листах парламент-

ских партий. Суммы за попадание в первую десятку избирательного списка доходили до ста тысяч евро. Приглашение войти в списки Пантелеймону вручали в письменном виде, и делали это лично руководители партий — такого почета не удостаивались даже те депутаты, которые впоследствии становились министрами.

Он выбрал Либерально-социалистическую партию и этим не только шокировал ее конкурентов, но и изрядно удивил самих либерал-социалистов. Предложение Пантелеймону они сделали скорее из вежливости, в качестве обязательного, но в то же время безнадежного жеста со стороны партии с весьма скромными возможностями. В прошлом парламенте их было всего пятеро, они не контролировали ни одно из министерств и, может, поэтому не смогли предложить Пантелеймону ничего, кроме статуса обычного депутата. В отличие от других партий, у которых самым скромным из предложений было место во главе парламентской комиссии по правам человека, предложение либерал-социалистов попало в точку. Берку не хотел светиться и тем более обременять себя малопонятными обязанностями. Он не представлял себе, как будет вести заседания, писать резолюции и участвовать в разработке текстов деклараций и постановлений. Его идеалом было кресло, обычное безмолвное кресло в зале парламента, по возможности — с минимальным количеством посещений рабочего места. С всем остальным он и сам разберется.

В избирательный список его включили в последний момент, уже по окончании предвыборного съезда и вместо одного из утвержденных кандидатов. Скандал вышел нешуточный. Председателя партии Корнелиу Бабадака многие однопартийцы обвиняли в фальсификации списков, в кумовстве и даже во внутрипартийной коррупции. На все упреки Бабадак отбивался одним и тем же аргументом — демонстрировал заключение избирательной комиссии съезда, признававшей свою ошибку и не смущенной даже тем обстоятельством, что кандидат Берку, якобы по технической ошибке не попавший в первоначальный список, даже не присутствовал на съезде. Дело пахло расколом партии, но Бабадак не уступал, дотянув до момента, когда партии грозил сход с избирательной кампании — за несвоевременное представление избирательных списков. Лишиться возможности оказаться в парламенте никто из вчерашних бунтовщиков не захотел, и Пантелеймона, так уж и быть, не просто утвердили одним из кандидатов, но и включили в первую пятерку. Окончательно несостоявшиеся раскольники сникли, узнав, что в десяти из двенадцати претендовавших на попадание в парламент партий, в избирательные списки в последний момент попали не менее загадочные, чем Пантелеймон Берку, личности.

Получив депутатское удостоверение, Пантелеймон не стал терять времени. Открыл сеть пивных баров и автомоек, причем на оба начинания выбил у Евросоюза трехмиллионный грант. Преуспел он, как, впрочем, и всегда, за идею. Оба бизнеса декларировались как гендерные, для которых клиенты разных полов декларировались предельно равными в правах. Доказательством этому служили соответствующие наклейки на дверях, а также расклеенные внутри заведений плакаты, разработать которые Пантелеймон поручил еще до того, как первый камень заложили в фундамент здания первой автомойки.

Впрочем, с местами для предприятий Пантелеймона все складывалось как нельзя удачно. Покровительство европейцев помогало и в этом вопросе, и Пантелеймону доставались, почти за бесценок, площади под бары в старых домах в центре города и огромные пустыри под автомойки. Жалел Берку лишь об одном. О том, что потерял, по меньшей мере, двадцать лет, прежде чем понял, что Молдавия — страна его мечты. Эльдорадо, в котором не каждому везет родиться.

Дела шли по нарастающей, даже слишком хорошо, и все это не могло не закончиться какой-нибудь гадостью. Он снова стал забывать о генерале Бланару, тот словно умер, хотя Пантелеймон и не исключал, что генералу придется снова вос-

креснуть, как только понадобятся его услуги. Увы, о писателе Виколе такого нельзя было сказать. Он был жив, Пантелеймон знал это, несколько раз в неделю представляя друг к другу в интернет-поисковике три заветных слова: «Серджиу», «Викол» и «смерть». Утешительными известиями Интернет не баловал. Пантелеймона стали мучить боли в груди, особенно они усилились с того самого вечера, когда его осенило.

Викол все знал, понял Пантелеймон. Все и даже то, что Пантелеймон найдет способ заставить генерала Бланару предоставить доступ к американской базе. Выходит, и рассказ Викола, его третий рассказ о нем, депутате Берку, — всего лишь ловушка? Бесплатный сыр, за который Пантелеймон выкинул совсем невыдуманные шестьдесят штук?

Он снова и снова прокурчивал в голове черновик Викола, и чем дальше, тем больше склонялся к мысли, что ничего еще не решено. Его судьба решалась в это время, возможно, даже сейчас, когда он, депутат Берку, вынужден выслушивать очередного просителя за деловым обедом в ресторане «Нистру». Мучительно подняв глаза на собеседника, Пантелеймон попытался прислушаться к тому, что говорит этот человек, ослепленный одной возможностью выговориться перед влиятельнейшим депутатом. Что-то о системах слежения на дорогах. Ну да, камеры. Он собирается поставлять китайские камеры наблюдения. Устаревшую модель — в Китае их уже вывели из эксплуатации, и теперь у них склады забиты десятками тысяч так и неиспользованных единиц. Китайцы рады избавиться от этого хлама на условиях самовывоза, только бы освободить склады под что-то более инновационное. Выгодное предприятие, расходы только на транспорт и логистику. Ну и еще — на то, чтобы в Молдавии пролоббировать установку систем дорожного видеонаблюдения.

— Что от меня требуется? — спросил Пантелеймон, предельно наострив слух и внимание.

Оказалось, не так уж много. Бизнесмен предлагал Пантелеймону написать письмо, официальный запрос руководству страны с предложением о внедрении системы видеорегистрации нарушений на дорогах с обоснованием такой необходимости. Это ведь, сказал бизнесмен, ничего не стоит, а ценится дорого. Он так и сказал: очень дорого.

Вернувшись к себе в парковый особняк, Пантелеймон задернул все шторы в спальне, хотя и знал, что из-за высоченного забора любопытным взглядам закрыт вид на весь первый этаж. О чем-то вспомнив, он сходил в гараж, откуда вернулся с высокой стремянкой. Установил ее посередине спальни, прямо под люстрой и не без труда поднялся к потолку. Покрутил люстру против часовой стрелки — она легко поддалась, но лишь до того, как раздался щелчок. Все, теперь можно, сказал сам себе Пантелеймон и, поднявшись на верхнюю ступеньку и увернувшись головой от люстры, уперся руками в потолок.

Люстра исчезла вместе с прямоугольником в потолке, и Пантелеймон, разогнувшись, оказался по пояс в темноте открывшегося над головой потайного люка. Посветив карманным фонариком, он сразу увидел то, что искал. Флешку на крышке заметно запыхавшегося дипломата.

Сработает ли, подумал Берку и вдруг понял, что он даже не знает, какая для пульта предусмотрена батарейка. Сам он его не разберет, а если менять батарейку, то где? В часовой мастерской? И что подумает часовых дел мастер?

Еще он поморщился, вспомнив журналиста из «Независимой Молдовы». Воняет потом или не воняет — какая разница, если запрос Пантелеймону придется писать собственноручно. Как собственноручно придется садиться за руль машины — он еще пока не решил какой, но выбрать, пожалуй, надо будет наименее рискован-

ный вариант. Не колымагу, чтобы заглохла по дороге, но и не «хаммер». Что-то надежное, скорее всего японское. Только бы батарейка не села, подумал он и, больше не в силах терпеть, надавил на кнопку пульта.

Во дворе отозвался сигнализацией его собственный «мерседес».

* * *

Председателю парламента Республики Молдова
г-ну Марчелу Вулпе
Премьер-министру Республики Молдова
г-ну Виталие Кондрату
Специальному представителю Европейского союза
в Республике Молдова г-ну Дирку Хубелю

Депутатский запрос

Уважаемые господа!

Сегодня, когда Республика Молдова твердо и неуклонно и так далее следует по пути европейской интеграции, ясное дело, какие препятствия нам чинят, чтобы не допустить этого. Не пустить нас домой в наш родной европейский дом. Все это знают, и нечего тут рассусоливать. И я, господа, не попугай крашенный и не собираюсь повторять.

Но повторяю, нам надо быть решительными, последовательными, демократичными, толерантными и антитоталитарными в своих действиях. И тогда уж поверьте мне, старику, солнце Европы взойдет с запада и над нашей измученной страной.

Что и говорить, многое сделано нами для европейской интеграции! Можно было и промолчать, но мы не будем скромничать, чтобы не давать почву коммунистам и тоталитаристам, всем, кто живет вчерашним днем и верит в светлое коммунистическое будущее! Ну уж нет, дорогие «товарищи», этот номер у вас не пройдет! Хватит, семьдесят лет кормили нас сказками, уже вон скоро сто лет будет этой вашей кровавой революции! И что? И где все это? Коммунизм, а? Где он, я вас спрашиваю? Так что хватит обманывать людей и втирать нам очки, мы за двадцать лет независимости, слава богу, поумнели, и теперь хрен нас проведешь. Извиняюсь, конечно, за непарламентское выражение, но, господа, эти сволочи другого языка и не понимают.

А теперь возьмите и сравните для сравнения. Что сделано для сближения нашей любимой Молдавии с нашей родной Европой. Подняли зарплату судьям — раз. Приняли закон о равенстве шансов людей разных вероисповеданий и сексуальных ориентаций — два. Запретили коммунистическую символику как символ тоталитарного прошлого. Поскольку после запрета пришлось снова разрешить в связи, как все помнят, с несправедливым решением конституционного суда, а потом после замены состава конституционного суда на прогрессивный, демократически назначенный европейский, — снова запретить, то получается — три и четыре. Не так уж мало, господа, после стольких-то лет тоталитарного унижения нашего края! Да, кстати, а биометрические загранпаспорта! А вайфай, по уровню охвата которым Кишинев уже опережает такие европейские столицы, как Дублин, Вена и Варшава. Это ли не показатели? Не достижения ли?

Но этого, конечно, мало. Нельзя как, говорится, забывать для кого. А все это руководство нашей страны и мы, простые депутаты, делаем для людей, для того чтобы им жилось демократично, толерантно и инновационистски. Ведь что получает-

ся? Сам Господь Бог так распорядился, а с ним даже Международный валютный фонд не спорит. Устроил так, что Молдавия на границе миров, на окраине Европы и ее границе с варварским миром, на границе царства добра с империей зла. А как удержаться на грани, как не свалиться опять в болото тоталитаризма? Только ж вылезли из него, семьдесят лет как засасывало.

А как выбраться в люди без людей? Без главного богатства нашей земли? Без людей, которых, увы, все меньше и меньше на земле нашей, и чего скрывать, разве не наши лидеры в этом виноваты? Значит, недостаточно настойчиво объясняли преимущества вступления в Евросоюз! Конечно, если бы не мешал старший брат с востока, не дай бог таких родственников даже врагам! Давно бы уже Молдавия жила как в цивилизации, как европейская держава, маленькая, но гордая, демократичная, но толерантная. Но что сделать, если империя зла держит в заложниках больше миллиона наших сограждан, для вида обеспечивая их работой и зарплатой, которую ввиду временных трудностей им не в состоянии обеспечить на родине! Спасибо странам европейской цивилизации! Что могут, делают, переманивают молдаван из России к себе, обескровливая восточный деспотизм. Конечно, работа в Европе не легче и не чище, так ведь и в рай попадают через чистилище. В цивилизованной Европе уж точно.

Но как же возродить народ без народа? Надо быть честными! Надо сказать! Признаться! Нет работы, и денег нет, и процветания не будет, пока палки в колеса будут вставлять враги европейского курса! Нечего и мечтать, господа! И обманывать народ не надо! Не вернуться люди, пока европейская интеграция не овладеет, так сказать, массами, не поселится в наших городах, не войдет в каждый молдавский дом. А как быть, если дома эти наполовину пустые? Если села опустошенные, а в городах одни пенсионеры, которые за коммунистов голосуют? Как повысить численность активного, демократического проевропейского населения?

Много сделано в этом направлении благодаря поддержанному Евросоюзом проекта по половому воспитанию и сексуальному раскрепощению подростков и юношей. Но кроме повышения рождаемости, хотелось бы обратить внимание руководства страны и цивилизованного сообщества на то, что необходимо принять срочные меры для сохранения жизни тех, кто уже родился и кто не собирается уезжать из Молдавии. Про стариков не говорим. Пусть они и дальше голосуют за коммунистов, если думают, что это повысит продолжительность жизни. Не повысит, пока не будем все думать о Европе, жить Европой, дышать Европой!!!

А вот о молодых и о людях среднего возраста стоит вспомнить. Вы только представьте, сколько прекрасных людей, сколько прогрессивных проевропейских молдаван гибнет каждый год на дорогах нашей маленькой страны! Сколько жизней, способных приблизить счастливый миг единения с Европой, обрывается в расцвете лет! Ветер свободы вдохновляет молдаван, но, к сожалению, это приводит к перегибам на местах. Растет число правонарушений на дорогах, повышается аварийность, статистика жертв ДТП просто ужасающая! Такими темпами мы передадим все надежды на европейское будущее нашей страны! Надо же что-то делать! Что-то предпринимать! Навести элементарный порядок на наших дорогах!

Я не говорю про заасфальтировать. Наоборот, чем хуже качество дорог, тем меньше скорость движения транспорта, хоть так сократим риски ДТП. Так ведь наши люди и по ямам несутся, разбивают ходовую и плевать хотели! И где же выход?

Вот я обычный рядовой депутат. В прошлом году был лишь в одной заграничной служебной командировке, зато где! В одной из, можно сказать, столиц мировой цивилизации, всемирной демократии и общечеловечного процветания! В городе Лондоне, страна Великобритания! Да будет вам известно, и мне об этом гово-

рил сам член палаты лордов сэра Майкл Уинтепурн, или берн, или спрун, хрен поймешь, они все на одно лицо. Так вот почтенный лорд сообщил мне, что говорит мистер Берку, каждый житель британской столицы попадает в объектив камер наружного наблюдения в среднем 350-400 раз в сутки. В сутки вы представляете!!! Это же что-то умопомрачаемое! А еще удивляются, что у них нет терактов. Да террорист пистолет не успеет выхватить! Каждый шаг как на ладони. Там чуть что сразу из мансард высовываются снайперы, а из канализации саперы. У нас, конечно, тоже так будет, когда Молдавия станет полноценным членом Евросоюза, но давайте не тупить! Хотя бы камеры дорожного наблюдения! Хотя бы с Кишинева начнем.

Ну вот, пожалуйста, к чему это приведет. Собираемость штрафов — раз, повысится. Пополняемость бюджета опять же. Сократим количество полицейских, зачем столько гандонов! Пусть едут в Испанию, учатся работать по-европейски, впитывают в себя толерантность. И потом. Пусть наши граждане привыкают, что в цивилизованном демократическом обществе за каждым твоим шагом следят.

По последним статистическим данным, ежедневно в Молдавии случается около ста дорожных и транспортных происшествий, и это с учетом маленькой территории нашей маленькой страны! Ну как же так, господа! Какая тут Европа, еще раз прошу прощения! Давно пора было камеры понавтыкать, да на каждом столбе! Хотя не как в Лондон, но хотя бы, я не знаю. Ну как в Лейпциге каком-нибудь, думаю, там тоже неплохо. А так конечно как?

Или вот пример. В прошлом году была авария, ну все помнят. Машина с шестью подростками на полной скорости влетела в дерево. Шесть трупов, шесть несчастных семей. Говорят, ребята были пьяны, а я скажу: нет! Их опьянил ветер свободы с запада, надежды на скорое европейское будущее. Так на то и мы, взрослые, чтобы поддерживать эти устремления, и не дай бог не дать им сойти с трассы. Были бы камеры наблюдения, смогли бы подключить патрульные полицейские машины. Как-то бы оттеснили их машину, блокировали, что-ли, я не знаю. Ну можно же было избежать трагического подхода!

Или вот совсем на днях уже последняя, как говорится, капля. Неизвестный преступник угнал «хонду». Уже преступление, были бы камеры, можно было на первом перекрестке вычислить. А он как будто знает, что камер нет, и нагло сбивает человека. Насмерть. Безработного мужчину, между прочим, семейного. Жена — тренер по фитнесу, и двое детей остались сиротами. Кто теперь поможет? Кто вернет человека? Да рядового гражданина, но вот из таких простых людей и прорастает европейская смена! А были бы камеры наблюдения, злоумышленник не посмел бы и машину украсть, а не то чтобы людей давить.

Считаю насущной, как говорят, задачей срочное приобретение камер наблюдения на дорогах страны и прошу настоятельно и руководство и чтобы дружественные структуры европейские тоже пошелелились. Нет больше времени рассусоливать, так скоро без людей останемся, вот тогда навалится грозная сила с востока, и защитить европейские завоевания некому будет! Прошу, господа, посодействовать в финансировании и организации всего проекта, а государственные органы чтобы обеспечили прозрачность, и честность, и открытый тендер для юридических лиц Республики Молдова.

*Депутат парламента Республики Молдова
П. Берку*

Владислав ПЕНЬКОВ

РАЙСКОЕ МОЛЧУ

Между Тигром и Ефратом,
где буянил Гильгамеш,
по сто грамм плесни на брата,
колбасы еще нарежь.

Мы пришли сюда случайно,
а вернее, привела
бледно-розовая тайна
нас за черные крыла

в этот край, где неустанно
бродит бледный и больной,
выкликая: «Жанна! Жанна!»,
алкоголик под Луной —

представитель здешней пьяни.
Я его когда-то знал.
Ты слыхал про Модильяни?
«Жанна!» Розовый овал

промелькнет, но это в травах
местный бродит серафим.
И кошачьею растравой
«Жанна! Жанна!». Черт бы с ним,

но однажды я примерил
эти сердце и глаза,
в синеву вошел как в двери,
светло-синее сказал.

Слава богу, слишком тихо
прошептал я синеву,
но с тех пор остался психом,
то живу, то не живу

и ношу на сердце рану,
но про главное молчу.

Владислав Александрович Пеньков родился в 1969 году во Владивостоке. Сменил несколько мест жительства и работ. Но главными считает проживание в Витебске и Таллине и работу над стихами. Выпустил два поэтических сборника. Печатался в российской и эстонской периодике. Член Союза российских писателей с 2006 года.

«Жанна! Жанна! Где ты, Жанна?» —
через силу не кричу.

РУССКИЙ БЛЮЗ

Пожелай мне вечера и ночи,
пожелай запечного сверчка.
Жизнь прошла. Она была короче
периода кайфа у торчка.

Все прошло. Настало расстояние
между мною и тобой. Оно
тишины и смерти постоянной,
тишине и смерти не равно.

Что осталось? Голубь гулит гулко.
Сушится бельишко во дворе.
Райский полумрак над переулком,
райский полумрак в минорном ре.

Ближе полумрака, ближе рая,
дальше, чем Полярная звезда,
искрами несутся — и сгорают
за пределом зренья — поезда.

И в одном из них к стеклу прижалась
узкая и длинная ладонь.
Это покидает город жалость.
Это жалость выкупила бронь.

Это бровь надломана, как ветка.
Это раздается древний блюз:
«Уезжаю, детка, детка, детка.
Никогда обратно не вернусь».

Архаичны синие квадраты.
Полумраком сердце погаси.
Уезжает жалость безвозвратно,
уезжает из последних сил.

И желает вечера и ночи.
Плачь в подушку. Молодость прошла.
Оказалась молодость короче
поезда сгоревшего дотла.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Обносилась у неба обнова,
не менялась она, почитай,
со времен самого Годунова
и его окровавленных тайн.

Впрочем, что мне в Европе Восточной?
Что Борискин негаснувший страх?
Что с того, что мальцы кровото́чат
в этих русско-татарских глазах?

Что мне Пушкин, короче, ребята?
Это он, он один заварил
эту кашу, чей привкус заклятый
извлекает музыку из жил.

Эта русская литература,
это небо дождей и огня,
это то, что задастая дура
на уроках вбивала в меня.

От нее зарекаться негоже.
Я запомнил про суд и про суть,
я запомнил: под мокрой рогожей
на телеге тебя повезут.

Будут ноги торчать, индевея,
будет кровью рогожа вонять.
Это русская, братец, идея.
Иноземцу ее не понять.

Не понять иноземцу такого.
И навряд ли он так же поймет:
леденеет в душе Годунова
высшей власти горячечный мед.

НАСЧЕТ СИРЕНИ

Не случилось ничего,
ничего и не случится.
Лето меньше, чем щегол.
Лето — маленькая птица.

Ковыряет слух состав
равномерно четким звуком.
Словно выбитый сустав,
ощутима летом скука.

Я бы Чехова прочел.
Там такое же, но горче.
Много света, много пчел.
Ветер волосы полощет.

Только эта благодать
с острой болью совместима.
Пьяный, бросишься в кровать
и очухаешься. Мимо!

Но зато гудят крыла
у твоей астральной сути.
Юность все-таки была.
За слезу не обессудьте.

Руки в брюки, в голове
два куплета Пугачевой.
Придает походке вес
пах, как будто наперченный.

Что-то главное сказать,
что-нибудь насчет сирени.
С этим как-нибудь связать
надо смуглые колени.

Но уходит каждый раз
херувим сирени белой.
Чует нюх, и видит глаз.
А слова — другое дело.

А ведь был большой резон.
Самый веский из резонов.
«Кто там вякает? Кобзон?
К черту выруби Кобзона.

Я пришел тебе сказать...
Я пришел к тебе с приветом...
Я пришел тебя связать
с херувимским этим летом.

Контрабандой пронести
ненадуманное слово,
чтобы током по шерсти.
Что с того, что нет такого.

Что-то есть, но в словаре
шестикрылых тварей божьих,
то, что пахнет во дворе,
что Эдема невозможней».

Все вот так и тип и топ.
Дальше — проще. Это ясно?
Но сиреневый потоп!
Все — о нем. И все напрасно.

СПИТ ВИЙОН

Утренний Париж зевает сонно
и несет навозом изо рта.
Спит компашка пьяного Вийона,
спит, карманы дурней опростав.

По харчевне ходит сумрак длинный,
холодом, как лезвием ножа,
он ведет по шеям и по спинам.
Спит Вийон, катренам задолжав.

Скоро он задергает ногами
на потеху публике хмельной.
Узнается висельник по гамме,
перед казнью выдаваемой.

Гамма Франсуа того порядка,
что соборы, колющие высь,
красочно, не кротко и не кратко
нижнему он скажет «Отгребись».

Паучком взбираюсь я на небо,
сам себя и жаля, и кляня.
Что с того, что слишком непотребна
оказалась исповедь моя.

Исповедь любая — это слишком
грязная мальчишеская плоть.
Ай, помилуй, Господи, мальчишку.
Ой, помилуй мальчика, Господь».

ГИМН

Родина лесов, полей и рек,
родина моя галантерей,
как сказал однажды имярек.
Родина апрельских декаблей,

луковое горе разведи
самой настоящей слезой.
Чифирем своим разбереди.
Простыней казенною накрой.

Я тобой для этого пошит.
Подхожу я весь под твой шаблон.
Кипяток в душе моей шипит,
на губах моих — медовый стон.

Я такая буква, что могу
в кодексы войти и в буквари.
Хочешь, схорони меня в снегу.
Хочешь, рукавицею сотри.

Светлана ВОЛКОВА

ПОТЁМКИНСКИЙ КОЛОКОЛ

Рассказ

В полдень подали щи с желтком, расстегаи, ершей и горячие калачи. Соленые грузди лежали горсткой в фарфоровой глубокой тарелочке, слишком изящной для походной посуды. Рядом поставили телячьи щечки с медовой репой и белую редьку, так почитаемую хозяином. Бутылка вина знатной выдержки стояла откупоренной, специально приготовленный винный графин так и не распаковали, и тот остался поживать в дорожном сундуке, бережно завернутый в полотно.

Стол, накрытый белой лионской скатертью, был выставлен прямо у дороги, на краю поля, сизо-желтого, с острыми стеблями ковыля, торчащими из голой земли, словно частокол.

Шло последнее десятилетие века восемнадцатого, 1791 год, конец сентября...

Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин, баловень судьбы, герой Тавриды, блистательный полководец, полный георгиевский кавалер, в недалеком прошлом фаворит Екатерины Великой, а ныне почетный государственный деятель, направлялся в свои южнорусские имения. Путь лежал на Николаев. В дороге кортеж находился уже третью неделю. Ерунда, в общем-то, в турецких походах месяцами из карет не выходили, почивали в нехитрых холодных дормезах¹ с незастекленными окнами и щелями в дверцах. Но до чего ж тяжелым казался князю этот нынешний переезд!

— Ваше сиятельство, водочки-с? — поклонился Офросимов, верный повар, служивший у Григория Александровича уже двадцать лет.

Потёмкин не притрагивался к трапезе. Кутался в дорожный плащ, катал в задумчивости пальцами перья зеленого лука по столу. Черная гипохондрия владела светлейшим, пожирала его думы, отравляла аппетит.

— Ступай прочь. Вели запрягать, к ночи в Черниговской губернии должно быть.

Спешно убрали со стола, на всякий случай завернув горячие блюда в толстые одеяла, — авось князь передумает и попросит съестное.

Тронулись в путь, пересекая бесконечную степь. Адъютант Николай Демидов велел сопровождающим кортеж казакам скакать вперед по тракту с известием о приезде светлейшего князя Потёмкина-Таврического, не испросив воли того.

Осерчал Потёмкин, прознав про инициативу Демидова.

Светлана Васильевна Волкова родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Лауреат премии Куприна (2013), золотой призер конкурса «Возвращение» («Проза.ру», 2014), золотой призер конкурса малой прозы «Большой финал» (2014), бронзовый призер в номинации «Проза» — конкурс «Русский Stil» (Германия, 2014). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Дормез — большая карета для дальних поездок с обустроенным спальным местом.

— Расказню тебя, дуралея! Сталоть мне еще генералов да губернаторов принимать! Сам будешь изъясняться с ними.

И точно, только начало смеркаться, прискакали гонцы с нижайшим поклоном от представителей дворянства и приглашением остаться на постой. Потёмкин жалел своих людей, видел усталость на серых лицах, но неодолимая сила гнала его вперед. Домой, домой, в Екатеринослав. А оттуда в Николаев. Давеча рапортовали, церковную колокольню почти отстроили, завезли из Петербурга ноздреватый пудожский камень. То-то будет отделка!

«Дострою колокольню, выпишу Баженова дворец перестраивать», — мыслил Григорий Александрович. — «Сегодня же письмо ему справлю».

— Никаких ночлегов, — велел он Демидову. — Да, и проследи, чтоб окольной дорогой ехали. Не через Чернигов.

Еще сутки тряслись в экипажах. Ни с кем не беседовал светлейший князь, ел только свежий хлеб с редькой да водкой запивал из походной азовской фляги.

«Изменилась Екатерина. Завадовскому, плуту, да Платошке Зубову верит боле, чем мне. Репнина возвысила. На стул мой посадить хочет. Тот, конечно, по туркам знатно палит, но ведь без меня ноль. Все ноль. Все без меня пустое место. Ах, Катенька, помру — с кем останешься?»

Князь остановил кортеж, наказал в пять минут поставить навес от морозящего дождя да разложить походный письменный стол. Прибежал Попов, секретарь Потёмкина, принес перья заточенные, бумагу, чернила лиловые — особые, «потёмкинские», коими писал князь только императрице, дабы отличала его послания от всех прочих в кипе бумаг.

Диктовать не стал, отослал Попова восвояси, взялся за перо сам.

«*Всемиловивейшая государыня императрица!* — начал Потёмкин. — *Нижайший поклон шлет верный подданный Ваш...*»

Перо скрипнуло о бумагу. Князь остановился, взглянул на коптящую свечу.

Не то!

Скомкал лист, поднес к свече. Долго смотрел, как съедает его оранжевое пламя и черная траурная кайма, словно опухоль, расплзается по вмиг пожелтевшей бумаге. Держал письмо до самого последнего момента, когда огонь уже налезал на пальцы. Почувствовав боль, резко отдернул руку, и серый шарик пепла заплескал по палатке, роняя свои струпы.

Князь взял новый лист, долго мусолил кончик белого гусиного пера, в задумчивости окунал в чернила и медленно возил по горлышку чернильницы, смахивая лишние капли, пока перо не высохло, и он принимался окунать его вновь.

«*Матушка, Екатерина Алексеевна!*» — вывел князь, но вновь со злобой смял лист, и снова свеча принялась с жадностью поедать доставшуюся ей дорогую бумагу с витиеватым вензелем.

Все, все не то!

Вышел из-под навеса на мелкий дождь, оглядел перелесок вдали, пестрящий красно-желтой листвой. Вспомнился Петербург, деликатная приглушенность его осенних красок. Загрустил еще боле, не в силах справиться с тоской, великой, как и все, что совершал он в жизни. Вернулся.

«*Свет мой, вседержавная Катенька!*» — начертала рука и застыла в сковавшем ее оцепенении.

Помнить должна. Ведь не забыла!

Или забыла? Не было героя в великое царствование ее, коего почитали более,

чем Григория Александровича. Ни Орлова, ни Суворова, ни Разумовского, ни Румянцева. И не было преданней слуги императрицы, чем светлейший князь. Да и не будет, сколько уж ей там на царствование еще отпущено.

А вот ведь интриги. Кругом интриги!

«Щенки злоблывые, прихвостни, дерзнуть решили дотянуться до величия моего!»

И тут услышал светлейший князь колокольный звон, да такой чистый, благостный, словно сам апостол Петр звонил.

«Видимо, срок мне подходит», — подумал Потёмкин и, отложив письмо, отворил полог палатки.

Колокольный звон не был наваждением. Звонили переливчато, гулко, с каким-то божественным эхом. Необычный колокол, неземной. И так замерло сердце светлейшего князя от его голоса, и по-особому затихла очарованная душа! В столице такого не слыхивал, а тут деревня забытая. Аль слобода?

— Демидов, — позвал Потёмкин адъютанта, — что это за местность? Не Татищева ли земли? Какая церковь звонит?

Демидов отослал двух казаков разузнать. Явились те не скоро, светлейший уж сердчать стал, доложили: не деревня, в Чернигове, мол, благовест.

— Почто врешь, сатана! — загудел светлейший князь. — Чернигов в стороне остался, верстах в десяти. Скучает по тебе виселица!

— Батюшка! — упал на колени рябой паренек. — Не погуби! Вот как есть Чернигов! — и перекрестился.

Подошел Демидов.

— Ты, Николаша, что разумеешь?

— Ваша светлость, истинно Чернигов! Церковь Иоанна Богослова. Колокол чудной у них, шестьсот пудов в сией громадине. Сказывают, в ушах перепонки дрожат, когда говорит. Дюжина звонарей раскачивают, за много верст слышать!

Светлейший закрыл глаза и минуту стоял так, облокотившись на трость и внимая божественному звону.

— Эвон какая диковина! Звук-то как выкушивать сладостно!

Долго говорил колокол. Не дыша стояла челядь, боясь спугнуть минуты наслаждения князя Таврического, а когда затих перезвон, приказал Григорий Александрович Демидову самому скакать в Чернигов и распорядиться, чтобы звонили не переставая, покамест едут они.

Моросил дождик сквозь проблески солнца, двигались телеги и кареты на юг, к Екатеринославу. Денно и ночью слышали колокол, и черниговские жители, одуревшие от несмолкаемого звона, поговаривали: «Не к добру...»

На исходе вторых суток догнал кортеж правитель Черниговского наместничества Андрей Степанович Милорадович. Потёмкин знал его с начала русско-турецкой войны.

Поставили шатер, накрыли стол яствами. Князь снова отказался от трапезы, но потчевал Милорадовича икоркой осетровой и шампанскими винами.

— А ты, герой мой, обрюзг изрядно. Что с тобой? В былые годы этаким петиметром² был, а сейчас смотреть боязно. Негоже, батенька, вон и ногти отрастил. Не масон ли, чай?

— Здоровьем маюсь, ваша светлость. Какой уж там герой!

Колокол стал чуть слышнее — видно, сменилась измотанная дюжина звонарей

² Петиметр — устар. «щеголь», «франт».

на свежую. Светлейший князь вновь замороженно стал вслушиваться в благостное его пение.

— Что привело тебя ко мне? Только давай скоро излагай, мне в путь двигаться надобно.

— В Сенат, ваша светлость, ходатайство б справить сановнику Глебову. Деток у меня одиннадцать душ, большим количеством девочки. Ее императорское величество, слыхивал, пенсии поднимает офицерам крымской кампании. А к Глебову не каждая бумажка доходит, канцелярия месяцами придерживать может. Только вы, светлейший князь, благодетель наш, и можете помочь. Детки мои молиться будут о здравии вашем до конца дней своих.

— Да полно тебе, Андрей Степанович, неужто я боевому другу не помогу! Чай, влияние еще имею.

Потёмкин совсем не уверен был в своих последних словах. Его самого бумаги о пенсии флигель-адъютанту Куракину, с коим брал Очаков, лежали уже больше месяца. Да ходатайство о выделении денег на строительство верфей в Херсоне. Не дают ходу, «попридерживают». Попробовали б так еще года три назад, не миновали бы виселицы. А теперь со светлейшим не очень считаются.

— Сделаю, Андрей Степанович, не сомневайся!

— Благодарствую, ваша светлость! Жизнь за вас... — снова запричитал Милорадович. По щеке его текла мутная слеза.

«Сентиментален стал, дурень, — подумал светлейший. — Или старческие слезы? Не держит веко?»

Милорадович тем временем продолжал:

— Не знаю, как и благодарить, Григорий Александрович, не знаю...

— Знаешь-знаешь, батенька! — князь лукаво посмотрел на собеседника. — Колокол мне твой больно люб.

Лицо Милорадовича стало напряженным, желваки едва заметно шевелились на скулах. Он поправил выбившуюся из парика седую прядь и чуть слышно пробормотал:

— Так не мой ведь колокол сий, помилуйте, светлейший князь...

— Аль не хозяин ты в своем городе?

— Ваша светлость, так ведь почти что святыня народная! Шестьсот пудов, басом говорит...

— И что с того, братец?

— Волнений опасаюся...

— Брось!

— Ваша светлость, вот другой колокол есть, на звоннице Троицко-Ильинского монастыря, триста пудов буде, да еще два дюжих в пяти верстах окрест, берите всех их...

Князь недовольно вскинул бровь и приблизил к Милорадовичу лицо. Был у Потёмкина только один живой глаз, второй ослеп вот уже почти тридцать лет назад тому, но черной пиратской повязки через лоб светлейший князь не признавал, хотя и позировал с ней иногда столичным живописцам. Милорадович оцепенел от близости княжьего птичьего зрачка, рука его, словно сама по себе, без воли головы, схватила под столом край белоснежной скатерти и принялась спасительно комкать дорогое лионское полотно. Светлейший знал, какое производил впечатление на людей, и глаз свой от черниговского гостя не отводил.

— Ну, батенька мой, тогда и не зарекайся, что благодарить жаждешь.

Милорадович не дерзнул боле перечить светлейшему князю. Вышел из шатра, перекрестился три раза на отдаленный звук благовеста и поскакал восвояси исполнять княжескую волю.

Григорий Александрович, хоть и торопился в Екатеринослав, уже и представить не мог, что еще верста-две, и не услышит он ангельского пения чугунного певца. Да и порешил ехать в свои володения только вместе с колоколом, а без оногo места не двинуться.

Милорадович созвал строительных мастеров, кто был в городе, стали потихоньку снимать гиганта с соборной звонницы. И все бы чин по чину, да звонарь старший, Акимка Коробкин, все выл, причитал да кидался на колокол, словно телом своим заслонить хотел. Высекли Коробкина плетью да прогнали с глаз долой.

Наспех соорудили специальные дроги, отобрали лошадей покрепче, закрепили морскими канатами и повезли к светлейшему князю, будто пленного кита.

Светлейший ждал в дормезе, вглядываясь единственным глазом вдаль, и впервые за последнее время не думал об императрице и переменчивой фортуне своей.

Когда показались дроги, вышел навстречу — чуть ли не побежал, — полюбовался на поверженного гиганта, поулыбался тому и стал обходить вокруг, поглаживая блестящий на осеннем солнце черный бок его. Точеные барельефы Богоматери и князей Владимира, Бориса и Глеба приятно холодили ладонь, отливали на осеннем солнце зеленью. И вдруг — что это? Пальцы Потёмкина словно потонули в прорези. Князь, к великому недовольству своему, обнаружил большую трещину, полоснувшую, словно сабельный шрам, чело исполина.

Колокольные провожатые стояли, потупив взор.

— Что сие за чертовщина?! — взревел светлейший.

— Прости, батюшка, не уберегли! Уронили со звонницы!

Князь сатанело ругался несколько минут, пока Демидов не убедил его, что ерунда, мол, трещина маленькая, наши николаевские мастера подлатают, ни один черт не придерется.

Тронулись в путь, на Екатеринослав. Дроги поехали за кортежем цугом, и Потёмкин то и дело озирался: там ли еще колокол, не отстали ли возничии.

К вечеру того же дня адъютант заметил одинокого всадника, скачущего через степь к их кортежу. Демидов с опаской оглядел седока: без седла, ноги в рваных сапогах, сам завернут в тулуп, коему не пришел еще сезон, голова в кургузой шапке сидит на тонюсенькой шее, как бутон на стебельке.

— Кто таков? — Демидов преградил своим скакуном дорогу к карете князя.

— Коробкин я, господин мой, звонарь с Иоанна Богослова. Мне бы важное сказать его светлости князю Таврическому!

— Не велено тревожить. Почивают светлейший князь.

Потёмкин осторожно из-за занавески наблюдал за сценой.

— Дозвольте, господин мой, — просипел звонарь, — поехать с вами, покамест его светлость не соблаговолят выслушать меня.

Демидов соображал, что ответить. Он знал, что Григорий Александрович слышал разговор и выжидает, что тот произнесет.

— Да важное ль дело у тебя к светлейшему князю? Мне доложи сперва.

— Важное, господин мой, невероятно важное! Жизни моей важнее! — лепетал Коробкин, робея перед Демидовым, а костлявая кобылка его переминалась с ноги на ногу, понуриив голову и став в мгновение какой-то совсем уж маленькой в сравнении с холеным жеребцом адъютанта.

— Ну, следуй тогда за нами. Лошаденка-то твоя выдержит?

— Коли не выдержит, пешком побегу. Важное больно сказать надо его светлости!

Князь потрясся в дормезе еще час, призывая сон, но так и не смог сомкнуть глаз. Сильно болело нутро, и дышалось как-то неровно.

Наконец приказал остановить экипажи, вышел на воздух. Демидов подлетел к нему, но рта раскрыть не успел.

— Знаю, знаю, Николаша. Веди его сюда.

Коробкин спешил, снял нелепую шапку свою и бросился светлейшему в ноги.

— Не погуби, батюшка державный, дозвожь объяснить! — и по-холопски припал к сапогу Потёмкина.

— Да полно тебе, братец. Встань. Чего надобно-то?

Звонарь выпрямился, но с колен не встал.

— Неможно, батюшка, светлейший князь, колокол увозить. Грех большой!

И креститься начал мелко и суетно, повернувшись к колоколу.

— Как звать тебя? — нахмурился Потёмкин.

— Акимом крестили. Иванов сын. Коробкин — фамилие наше.

— Вот что, Аким, Иванов сын. Езжай домой. Мы вашим новый колокол вышлем из Екатеринослава.

— Неможно, батюшка, светлейший князь, новый колокол. Не можно! Грех!

— Да почему неможно-то, дурья твоя голова? Чай, не люди его отливали?

— Отец мой мастерил, литейщик Коробкин Иван Трофимович.

Набалдашником трости светлейший приподнял подбородок Акима, заставляя того встать с колен.

— Ах, вон оно как! За батькино добро печешься?

— Господь, помилуй! — Коробкин снова начал осенять себя крестным знаменем. — Чернигову колокол даден, ангелы пели, когда на звонницу поднимали. Грех тревожить его...

— Да уж потревожили, что ж с того!

Звонарь вновь упал на колени.

— Грех, батюшка светлейший! В Чернигове плачут православные, вой стоит. Гнева Господня не минуем!

— Да что ты заладил, бестия! Не тебе мне указывать. Господь сам укажет. Ты — звонарь? Вот ступай себе и звони, — сердито выкрикнул князь и повернулся к Акиму спиной, всем видом показывая, что разговор окончен.

Попов с Демидовым тут же подхватили Коробкина под локти и легонько подтолкнули в сторону, где паслась тощая его лошаденка.

Потёмкин сел в карету и наказал вознице припустить. Звонарь скакал рядом с кортежем и все выкрикивал вслед княжескому экипажу: «Неможно, батюшка, неможно! Грех!»

Адъютант предложил поколотить легонечко приставалу, но князь не разрешил. Сам мрачный был, снова в своей черной меланхолии. Когда находил на него не то сон, не то туманная дремота, виделись ему императрица, и колокол, и Акимка, сильным лаем повторяющий свое: «Неможно, батюшка!»

Светлейший не выходил из дормеза, вновь отворачивался от еды, ссылаясь на желудок, но ночевать на постоянных дворах наотрез отказывался. Домой, домой! Ухабы, ямы и размытые дождем колеи трясли карету нещадно, князь лишь тихонько постанывал да справлялся о колоколе.

Коробкин, как верный пес, тащился позади кортежа. Потёмкин дивился на него, но трогать звонаря не велел да приказал подкормить слегка, чтобы смерть дурака не легла на княжью совесть.

Через сутки светлейший повелел дроги поставить впереди кареты своей, дабы из оконца дормеза видеть колокол. И смотрел сквозь стекло долго, думая свою тяжелую думу.

На очередной остановке лошадь Коробкина прилегла на выжженную траву да

так боле и не встала. Аким поревел в голос, но как тронулся кортеж в путь, потрусил сам ногами за светлейшим князем. Демидов тоже жалел блаженного и приказал кортежному взять его на телегу. Акимка отказался, испросил позволения светлейшего ехать на дрогах вместе с колоколом. Ему позволили, звонарь примостился с краю на дрогах, и князь к великому раздражению наблюдал из оконца, как тот обнимал холодный чугунный бок с зеленоватыми барельефами да шептал что-то свое в кривую трещину, разделившую профили Бориса и Глеба.

«Юродивый, — думал светлейший, — да и пушай едет с нами. Будет у меня не только колокол, но и звонарь к нему».

А на исходе пятых суток пути свалила Потёмкина жестокая лихорадка. Против воли князя Демидов распорядился справить ночлег в Яссах, в самом приличном доме, коим оказалась усадьба генеральши Хрущовой. В полночь вместе с Поповым и тремя казаками объехали весь городишко в поисках трезвого лекаря, привели сразу двоих. Медики качали головами, бубнили что-то про желчь, поили князя какой-то серой настойкой, обсуждали, стоит ли отворять светлейшему кровь.

— Коновалы! — орал на них Демидов. — Сам зарублю на этом месте!

— Полно тебе, Николаша! — чуть шепотом говорил Потёмкин. — Полегче мне. В путь, домой, домой!

Лекари в испуге жались друг к дружке, отчаянно мотали головами — то ли на порывы адъютанта их зарубить, то ли на желание князя собраться в дорогу. Уговорили подождать хотя бы до утра.

Князь достал отложенное письмо государыне, раскрыл дорожный сундучок с письменными принадлежностями, но сам писать не смог, позвал секретаря. Попов прибежал, трясушимися руками схватился за перо.

— Вот что, Василь Степаныч, — с трудом вымолвил князь, — напиши государыне Екатерине Алексеевне, со всеми регалиями, как положено, что... *«покорнейший слуга ее князь Потёмкин-Тавригеский шлет ей поклон и обещается быть к Рождеству в Петербурге, дабы лично засвидетельствовать...»* — светлейший отговорил текст ладно, будто по-написанному. — Подпишись всеми моими титулами. И постскриптом ниже: *«Я, Катенька, много думал о нас. Не уразумей дерзость аль слабость старгеского ума, но верь мне, великая моя правительница, некем меня заменить подле белой царственной ружки твоей. Те, кто покорно стоят за спинкой трона твоего, лишь языком быстры, но телом мягки, а сердцем трусливы»*.

По должности Попову не полагалась перечить светлейшему, но то, что писал он на гербовой «потёмкинской» бумаге, показалось ему лихорадочным бредом. Нельзя такое отправлять императрице. Болен светлейший, не ведает, что творит.

Князь провалился в тяжелый сон. Попов перечитал текст, подумал малость, поставил точку, подписал имя светлейшего да скрепил княжеской печатью. Отправлять не стал, но придержал у себя. Авось как повернется...

Очнувшись на рассвете, пребывая все еще в горячке, Потёмкин продиктовал еще одно письмо в Екатеринослав — любимой племяннице, Санечке Энгельгардт, в замужестве графине Браницкой. Письмо содержало одно предложение: «Приезжай, Санечка, в Яссы, я кончаюсь».

Попов уразумел, что хозяин на сей раз не бредит, послал скорого гонца в Екатеринослав, велел лететь стрелой.

Графиня наскоро собралась и помчалась в путь, навстречу дядюшке, потому как уговор промеж них был: Санечка должна держать голову умирающему князю в его последние минуты и закрыть светлейшему глаза.

Пошли новые сутки, князь все еще был в лихорадке. Прибыли доктора из свиты светлейшего, галопом вдогонку княжеской кавалькады: штаб-лекарь Санковский и служившие со светлейшим еще в военных кампаниях медики Массот и Тимен. Местных лекарей отпустили. Князь есть уже сам не мог, насильно в него вливали снадобье и бульон. У носа держали ароматные соли. Твердил светлейший только одно: «Желаю помереть в своей постели в Николаеве». Потёмкин взял с Демидова слово, что сразу тронутся они в путь, как только графиня прибудет, и в Екатеринослав уже не поедут, завернут в направлении Николаева.

Но к вечеру того же дня явилась князю в сумрачном бреду государыня Екатерина Алексеевна, огромной рукой своею звонящая в гигантский черниговский колокол, и уразумел он сон свой как последнее знамение.

«Не дождусь Санечку, помираю».

Хлопотали ученые лекари, да все напрасно, понимали абсолютную свою бесполезность. В минуту сознания, когда мозг князя проявился, повелел он запрягать да ехать прочь из Ясс по большому тракту навстречу графине Браницкой. Так и сделали. Жизнь светлейшего князя Таврического, как песок в старинных песочных часах на секретере у вдовы Хрущовой, пересыпала последние свои золотые песчинки.

Ехали осторожно, боясь растрясти светлейшего. На особо жестоких ухабах казаки переносили карету на руках. Это замедляло продвижение, а князь все торопил: скорей, скорей, в Николаев.

Были уже верстах в тридцати от Ясс, на краю выгоревшей осенней степи, оставив позади станцию Пунчешты, чье название толком никто правильно выговорить и не мог, когда штаб-лекарь Санковский забарабанил кулаком в стену дормеза. Возничий остановился. С замиранием сердца подлетел к окошку Демидов. Светлейший был в сознании, но бледен, как давешняя его лионская скатерть. Поманил пальцем Демидова и просипел едва слышно:

— Прости ты меня, Николай Никитич, несправедлив был порой к тебе. А ты верой мне служил. И у людей за меня прощенья испроси.

— Светлейший князь... — запинаясь, стараясь, чтобы голос звучал ровно, вымолвил Демидов. Но получалась какая-то рваная болтовня. — Светлейший князь... Что... Что я могу сделать для вас?

— На воздух хочу.

Торопясь, вынесли ковер, устелили одеялами и подушками, устроили ложе прямо на стерне. Светлейшего одели в парадный генерал-фельдмаршальский мундир, повязали через плечо Андреевскую ленту из голубого муара. Точно на ассамблею готовили. Князь водил ослабелой рукой по остриям коротких стеблей степного ковыля и улыбался какой-то таинственной торжественной улыбкою. И нелепа эта картина была до боли: вот так лежал некогда первейший российский подданный при полном параде со своей Андреевской лентой и приколотыми к мундиру звездами да Георгиевскими крестами, как простой пахарь, подорвавшийся тяжелой работой, и гладил холеными руками ежистую гриву южнорусской степи.

Демидов послал казака в Пунчешты за священником, какого найдет, хоть пьяненького, да наказал скакать галопом, коня не жалея.

— Колокол. Хочу слышать колокол. Под него и уйду, — сказал Григорий Александрович, и в тоне его не было хвори, а была тихая знакомая сила.

До перелеска было рукой подать, Демидов распорядился валить сосну, наскоро строить подмости да нехитрый рычаг. Сам украдкой пустил слезу, отвернувшись, чтобы не видел никто, и подумал: «Часов пять, не боле». Так поочередно уходили

его батюшка, а затем и матушка. Пять часов жизни хозяина, которого, несмотря на его нрав, любил и видел в нем первейшего героя, сделавшего для России много великих дел.

Прибыла со специально посланными за ней встречающими гонцами Александра Васильевна Браницкая. Графинюшка Санечка. Бросилась на колени возле одеял дядюшки, прямо на стылую землю и острую стерню. Взяла его голову, погладила по щекам, что-то прошептала ему. Посветлело чело Потёмкина, вроде как и жизнь она в него вдохнула. Но через минуту опять проступила желто-зеленая бледность.

Привезли местного дьячка, еле живого, не то от вчерашней водки, не то от страха перед князем Таврическим, коего знал как почти что царя. Дьячок причастил светлейшего, положил икону в изголовье и, ставши в сторонке, затаил козлиным голоском нараспев все молитвы, кои знал, с опаской глядя на стучащие топоры и вслушиваясь в визг пилы. А может, спьяну мерещилось ему, что виселицу мастерят.

Работали все, кто сподручен был. Рубили наспех, суетно, сколачивали, связывали. Торопились.

Подцепили длиннющей сосной за колокольное ухо, благо отверстие было огромное, надавили дюжиной пар крепких рук на другой конец, словно на рукоятку рычага, но хрустнула сосна, словно тонкая лучина.

Коробкин поначалу крестился, его никто и не замечал, но потом высказал спасительную инженерную мысль: не поднимать гиганта, а подкопать под него.

Разобрали днище дрог под колоколом, оставив осевые рельсы, и вырыли яму с сажень глубиной.

Минуло четыре часа с начала работ, князь все еще лежал на открытом воздухе и был в сознании. Согревали его грелками на углях, да только не чувствовал он уже ни холода, ни тепла.

Когда яма была готова и утоптана множеством ног, попросил Потёмкин племянницу позвать к нему Коробкина.

— Исполни, братец, последнюю волю мою. Сам Бог мне послал тебя. Не благовест прошу, хотя бы один удар с эхом...

Коробкин отобрал человек пять казаков, велел заткнуть уши, кто чем сподобится, и лезть в яму. Сам же снял шапку, подошел к чугунному великану, поцеловал того, помолился на бирюзовый от окиси барельеф Богородицы на колокольном боку и нырнул под гигантское чугунное брюхо. Обхватил двумя руками канат почти у самого основания огромного литого языка, казаки же взялись за канатный конец и настороженно стали ожидать команды.

Коробкин медлил. Там, на звоннице, сам колокол качали да дюжина звонарей совершала перезвон, но здесь-то, в таких неподходящих условиях, как раскатать-то? Знамо дело, язык колокольный надобно теревить, да особливо не разбежишься в яме-то.

И вот осторожно поманил Аким на себя гигантский черный язычище, казаки перехватили канат и с силой оттянули, при этом почти упав спинами на землю. И отпустили затем, и снова оттянули. Язык подался медленно, словно нехотя, и задвигался, с каждым разом все боле приближаясь к колокольной выгнутой сфере. Те, кто наверху был, включая вельможную свиту, держали дроги, чтобы не съехал колокол в яму, да поглядывали на князя: в сознании ли, видит ли.

Гулко отдавалось казачье «э-эх» с каждым рывком, и наконец лизнул язык холодную чугунную щеку колокола. С криком взлетели ввысь боязливые степные птицы. Князь глядел на низкое сизое небо, и из единственного зрячего глаза его катилась слеза, стекала с подбородка на муаровую ленту.

Звук был нечистым, дала знать о себе трещина, да и акустика была «земляная», будто бы через подушку звук пропустили. Но не было в жизни светлейшего краше этой последней музыки: ни оркестровые концерты придворных виртуозов, ни победные гимны, оставшиеся где-то там, далеко позади, — ничто не ласкало слух так, как это гулкое говорение. Колокол начинал низким басом, и на излете звук становился высоким и прозрачным, трепетала от него степь, расходились круги в дорожных лужах.

— Распорядись, Николай, — сказал Потёмкин верно своему адъютанту, — пусть везут колокол назад в Чернигов, и этот вот, запомятовал имя его, звонарь, пусть поминальную там по мне отзвонит.

Сказал и словно замер. И слезная дорожка на щеке его замерзла вмиг.

И было это в туманный день 5 октября (по старому стилю) 1791 года. Под басовитую песнь, летевшую по близлежащим селам и слободам, ушел вслед за ее невесомым звонким эхом светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин, баловень судьбы, герой Тавриды, блистательный полководец, полный георгиевский кавалер, и оказался впоследствии прав: никем не смогла заменить его государыня. И рыдала по нему так же сильно, как плакал вскоре на звоннице черниговского монастыря шестисотпудовый колокол, обладать которым так и не привелось светлейшему.

* * *

Автор попытался как можно более деликатно отнестись к историческим событиям и реальным персонажам екатерининского времени. История эта хотя и не является фактом, подтвержденным хрониками той великой поры, однако же рассказывается на разный лад в Чернигове и окрестностях его как событие, бесспорно имевшее место. Автор лишь рассказал историю эту своим языком.

Галина ТАЛАНОВА

* * *

Вот и всё.
Не будет больше лета.
Только снег, как тополиный пух...
Помнишь, август
Польхал кометой,
Воздух был разгорячен и сух.
Ягоды рябина осыпала
Угольками в пепельный ковыль.
На цветах увядших оседала
Липким слоем угольная пыль.
Солнце раскаленное катилось
Головной дымившего костра.
Ничего в том лете не случилось,
Только боль была, как нож, остра,
В бок впивалась горестной догадкой,
Что конец пожара впереди:
Подкрадется с лисьей он повадкой —
Рыжий хвост мелькнул уже в груди,
Заметая горестные мысли,
Что — как яд — сквозь дым пожара вдох.
Все деревья осыпали листья:
Словно искры, падали на мох.

* * *

Жаркий июль зажимает в тиски.
Ночи душны и травища по пояс.
Снова в объятьях неясной тоски.
Снова печальная пишется повесть.
Дом покосился,
Навес набекрень,
Петли скрипят заржавело и жалко.
Там, где в окошко стучалась сирень,
Стекла царапает жалобно палка,

Галина Борисовна Таланова родилась в г. Горьком. Окончила биологический факультет Горьковского государственного университета по специальности «биофизика», кандидат технических наук. Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов. «Годовые кольца» (1996); «Ожидание чуда» (2001); «Подобие дома» (2006); «Жизнь щедре» (2007); «Душа любви открыта» (2009); «И за воздух хватаясь руками» (2011), и двух романов: «Голубой океан» (2010) и «Бег по краю» (2014). Член Союза писателей России. Лауреат премии «Болдинская осень» (2012) в номинации «проза», лауреат премии журнала «Север» в номинации «проза» (2012), лонг-листер премии им. И. А. Бунина (2011, 2012). Живет в Нижнем Новгороде.

Словно котенок скребется в окно,
Выпустив когти из мягких бареток.
А на обоях от ливней пятно...
Крыша —
Пристанище сломанных веток,
Что обломили с березы ветра,
Словно шалаш разметала здесь осень.
Снова лягушки орут до утра.
Память на отмель, как лодку, выносит:
Носом уткнется все в ту же косу,
Где все живые и брод по колено,
Где столько света в июльском лесу,
Что до сих пор я не вырвусь из плена.
Свет паутиной оплел, словно моль.
В люльке качаюсь из солнечных нитей,
Залитой светом, баюкая боль,
И не готовлюсь для новых отплытий.

* * *

Смородина дотлела в паутине.
Крыжовник высох.
Клены тут и там.
Весь сад увяз по щиколотку в глине.
И новый развести — не по годам.
Я тут жила, любимыми хранима.
Но друг за другом все ушли сквозь дым,
Исчезли, словно вишня и малина.
А я дышу все воздухом лесным.
Здесь нынче нет ни яблочка, ни сливы,
Хоть пенилось все белым в теплый май,
И все деревья были так красивы,
И белый цвет струился через край.
Не завязались яблони плодами,
Но рвутся ветки рьяно в высоту.
И жизни смысл меняется с годами
И заполняет в сердце пустоту.

* * *

Как занавес с небес,
Спустился ливень хлесткий.
И лупит по окну,
И барабанит в дверь.
Пузырится пятно
На старенькой известке.
И с потолка вода
Течет, проникнув в щель.
И слышится, как встарь,
Что сель пошел на дачу.

И кажется, что я
Все девочкой дрожу.
И жизнь моя еще
Вся сложится иначе,
Лишь только, как пчела,
Над лугом покружу.

* * *

Жизнь прошла так быстро и нелепо,
С верой: будет счастье впереди.
Слушалась советов добрых слепо.
Времени, казалось, пруд пруди,
Чтобы жизнь сложилась,
Как мечталось...
Выйду в августовский звездопад.
Тьма желаний все-таки осталась —
Выбирать придется наугад...
Лунный свет
Опять тревожит душу,
Словно черный кот из темноты.
Я пока еще не очень трушу,
Чуя холод вечной мерзлоты.
Дыбом шерсть,
Вся выгнулась дугою.
Веер искр —
Бенгальским бьет огнем.
Млечный Путь
Течет большой рекою
И мельчает суетливым днем.

* * *

В квартире гости...
И в прихожей дым.
Клубки его ползут под дверь, как змеи.
Себя не ощущаешь молодым,
А голоса в доме звучат наглее.
Из стереоколонок — будто взрыв
Веселья, сумасшествия и звона.
И оглушенный, про гостей забыв,
Плывешь по речке лунной, что с балкона
Упрямо льется, душу теребя...
Ты в этот поезд прыгнул понапрасну:
Чужой вагон, где все не для тебя,
А спрыгнуть на ходу уже опасно.

Андрей ЕГРАШОВ

МЕНЯ ЗВАЛИ ДЮХОН...

Повесть

- Вам кого, дедушка? — спросила мама наконец.
- Ты меня не узнаешь? — прошептал Петя.
- Простите, нет, — ответила мама...

Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени

Пришла мне в голову заманчивая мысль: на бумаге изложить воспоминания о своем новгородском детстве. Заманчивая, ибо сладко грезить о нем при том, что идея такая обречена на успех: сильны сегодня ностальгические настроения у людей поживших, влечет их назад оборотиться — в будто бы безмятежные времена, но лень или недосуг самим память напрягать, ведь и напряжение памяти — труд, причем немалый.

Однако и молодежь не так безразлична к истории, как это кажется некоторым брюзжащим старикам: когда говоришь с нашими детками честно и на понятном языке, не грузишь заумными и назидательными выводами, они вполне благодарные слушатели:

— А что было здесь двадцать лет назад, на этом самом месте? А вы всегда были такими правильными? А вам родители давали деньги, когда вы еще сами не зарабатывали? А правда, что раньше все было дешевле, еда лучше, а на улицах безопаснее?

Конечно, отвечу на их вопросы, самого же меня больше заботит общее течение жизни: куда все мы гребем и выгребаем ли? В моем возрасте рассуждать хочется о самом важном: времени остается все меньше, и чувствуешь себя как в стремительно надвигающихся сумерках...

Перебравшись в сельскую глушь, свободней размышляю о переменах, все больше печальных, и об их возможных, меня пугающих последствиях. А виновата наша оголтелая тяга «к улучшению жизни», сродни она китайской войне с воробьями: самую суть жизнь ухудшает, разрушая в ней главное — природу и человеческие отношения, и первыми — родственные связи. А самые «выдающиеся», «необходимо-полезные» достижения человеческой мысли: телевизор, компьютер, мобильный телефон — бьют по естеству жизни сильнее всего. Это, в общем-то, нехитрое наблюдение трудно признать, но гораздо труднее уразуметь...

Ведь что интересно: наша прежняя, уличная, но подлинно живая жизнь, при всем ее бытовом несовершенстве, никак не кажется хуже теперешней. Многочисленные житейские скорби, вместе переживаемые, сплывали население в единый народ. А копь вместе — и горе не беда, вместе — радостно: в труде ли, в бою и уж тем паче — на отдыхе! Не с того ли в начале века смута приключилась, что заскуча-

Андрей Владимирович Еграшов родился в 1963 году на Новгородчине. Окончил в 1986 году Новгородский политехнический институт по специальности «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства». В 2005 году окончил Академию госслужбы РФ, одновременно работал в Правительстве Ленобласти начальником отдела качества строительных работ. В 2008 году оставил службу и переехал на постоянное жительство в Окуловский район Новгородской области. Публиковался в журнале «Всерусский собор», альманахах «Вече», «Молодой СПб.». Член Союза писателей России.

ли люди русские наособицу жить, а вовсе не от нищеты, как это в советских идеологических учебниках понаписано. И теперь, и до Великой Октябрьской люди всяко жили: кто хотел, и при царе устраивался; разумеется, тяжелее приходилось, чем в нашу, до комфорта жадную, эпоху, но... выскажу в простоте банальное: чтобы ценить, надо нуждаться. Обогадив свой быт материально, мы обнищали эмоциями — нам нечем восхититься: за стол садимся, не оголодав, отдыхаем, не вспотев, общаемся без взаимного интереса, природу любим через автомобильное, оконное или телевизионное стекло. Современный взрослый человек «самодостаточен», отчего безрадостен. Но на деле современный горожанин немного может сам по себе: ни хлеб вырастить-испечь (продовольствие), ни «с пупа свернуть» (здоровоохранение), ни печь сложить и истопить (ЖКХ). Не умеет, оттого жметя к другим со своим узкоремесленным навыком, однако упреки его в зависимости — пожалеешь: он «платит налоги», «знает свои права» и за словом в карман не лезет.

А взять ребенка! — он откровенно зависим, он заведомо в чем-то и в ком-то нуждается! Но при этом он — радостный! Прежнее — детское — человечество, переживая самые различные трудности, имело столь же великое множество поводов к детской — настоящей! — радости, переживаемой подлинно, от всей души. В Евангелии от Матфея читаем: «...какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Вот и мы: мир-то, кажется, приобрели, но душе повредили несомненно!

Наблюдая из деревни своих давних приятелей-сорванцов (достаточно набрать «поиск людей в Контакте»), размышляю: что если боевого, пылкового коня оставить в ожидании битвы под седлом на час, на два, на сутки, на неделю... Что бы с ним стало, с тем конягой? Подобное приключилось с моими сверстниками: хотя еще хорохорятся: ездят, покупают, с возрастом некоторые воюют, даже «тату» делают и подкачанные бицепсы вместе с рецептами шашлыков в Интернет выкладывают... но перегорели и, кажется, вовсе потухли как личности... А ведь были — мужики, заточенные на подвиг!

Тема подвига — предмет большого, отдельного разговора... скажу лишь, что Тараса Бульбу скоро сызнова сожгут, нет, не героя, а книгу, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к войне: либералы, обжегшись на молоке — уж очень много «русских героев», включая колмовских (смысл слова будет раскрыт ниже), полегло в криминальные девяностые — готовы дуть на воду.

Я сам, как говорится, с огромными потерями еле выбрался из окружения. Ведь как нас учили: «Человечество развивается по спирали», а оказалось, что «цивилизация штампует роботов». Стоило огород городить! А из кого штампует-то, из моих колмовских корешей?!

Есть такое красивое и обычно приложимое к какой-то конкретной скорби выражение — трагедия всей жизни. Что это такое? А вот то самое и есть: трагедия — всей — жизни!

Если у человека трагедией всей жизни оказалась не вся жизнь, но лишь частная, суетно-временная проблема типа неисполненного «хочу», то он — население, а не человек. Ему положен паспорт, ИНН, по желанию — интернет-аккаунт, право избирать и быть избранным, прочие социальные фишки... А если все-таки трагедией стала вся жизнь, то... оттого и живу я так далеко, «всех люблю, от всех бегу»:

Среди друзей дерьма поймешь,
В юрде угадаешь брата,
И из начальничков пойдешь
В монахи, в странники, в солдаты.

* * *

Весь двадцатый век народишко массово перебирался с хуторов и из глухих деревень в усадьбы, из глубинки — в районные и областные центры, а не то — прямоком в Москву с Питером. Печальный этот процесс без натяжки и преувеличения назову исходом. Обстоятельства до поры складывались благоприятно: не изжитая еще многодетность объединяла переселенцев — играющие во дворе или ходившие в одну школу ребятишки сводили между собой освободившихся от колхозной каторги родителей; те, естественно, общались, даже дружили и помогали друг другу в ощутимых затруднениях. Но жить все же сделалось полегче: отменилась застарелая деревенская вражда из-за межей, покосов, сельхозинвентаря и ягодно-грибных мест, а новых причин для недоброжелательства еще не набралось. Провинциальной молодежи была открыта дорога хоть в вуз, хоть в небо, хоть даже в космос! И в том историческом облегченном вздохе слышна причина знаменитого рывка шестидесятых годов.

Сам я застал уже задержку дыхания, или так называемый загнивающий социализм, эпоху дефицита и очередей. Сегодня многие считают — это были не худшие времена: «воздуха» еще хватало: по крайней мере, в очередях мы, ребятишки, никак не будучи диссидентами, время проводили не так уж худо... А вот потом последовал предательский удар под ложечку — разруха и национальное унижение, а после него «задохнулись»... материальным благополучием, относительным, разумеется, при одновременном торжестве идеи «нетрудовых доходов», когда важнейшие блага достались важнейшим прохвостам, а прохвостов неважнецких, но на все готовых, оказалось большинство.

Но это случится позже, а в семидесятые мы переживали уникальное и, увы, недолгое время, когда люди, пусть разучившись отвечать добром на зло, еще не так привыкли отвечать злом и жили в основной массе своей не шибко богатой, но единой жизнью, не самой праведной, но... не была ли это последняя, Богом дарованная возможность вернуться к общинной, подлинно русской жизни?

Не хотел бы оказаться пророком, но опасюсь, что уже пройдена некая апокалипсическая точка невозврата... разве что, в качестве последнего шанса, допустить шибко неприятную Встряску моему собственному народу, дабы тот смог начать новую Главу в своей Истории... Много думаю об этом... но мысли те излагать не смею... потому что страшно!

У издательской конторки
Встали в очередь пророки,
Долго ж им придется ждать,
Чтоб пророчества издать.

* * *

Когда в 1971 году наша семья из уездной Старой Руссы с ее деревянными мостками на реке и даже на центральных улицах переехала в областной центр, Колмово уже переставало быть деревней. Новостройки, котлованы, траншеи, груды кирпича, строительная техника... О прежних временах напоминали лишь деревянные сараи, обросшие лопухами, да кое-где жалкие последки огородных грядок за бедняцкими изгородями. Однако сохранялось еще деревенское изобилие укромных уголков для мальчишеских развлечений: войны на мечях и кинжалах, стрельбы из лука, изготовления самопалов и бомбочек, строительства качелей, плотов, лодок, различных, прадедовских еще, из поколения в поколение передающихся ребячьих игр: лапта, казаки-разбойники, пикали, двенадцать палочек, штандер-вандер и проч.

Символом больничного Колмова, помимо самой областной больницы, были обширные яблоневые сады. Главный из них, Митрофановский, наглухо обнесенный высоченным, темно-зеленым забором, раскинулся от деревянного одноэтажного барака санавиации до центрального колмовского перекрестка — пятачка, где собиралась с гитарой и выпивкой хулиганистая молодежь. Сад носил фамилию тогдашнего главврача областной больницы Митрофанова: (имя его Ты знаешь, Господи!), зная, пребывает в селениях праведных за его добрый почин, пусть и по пионерским нашим молитвам.

Бога не знали, но в доброе добро верили свято, а значит, не были неверами! Да и как можно — при стародеревенских-то бабушках, завезенных в новые квартиры вместе со старой мебелью, с клопами, от которых не вдруг удалось избавиться. Характерная примета того времени — старушечьи посиделки на лавочках возле парадных. Корову ведь обрывать уже не надо, воду, дрова носить не надо, огород полоть тоже не надо, а главное — на колхозной каторге вкалывать не надо! Сварил внукам борщ на газовой плите, и можно выползть к товаркам. Все, как когда-то в деревнях, знали всех, но уже не как Ивановых из Ольховки или михновских Никифоровых, а как Ильяшенков с первого подъезда, Кавиных — со второго, Беловых — с четвертого и т. д. Меня можно было среди ночи разбудить и спросить, кто живет в четвертом подъезде соседнего четвертого дома, на первом этаже налево вторая дверь? Зевая, ответил бы: Архиповы — батька участковый, сын Колька, годом старше меня, учится в моей пятой школе, про мамку бы тогда тоже рассказал, но сейчас уже не упомяну.

Старушечьи лавочки по обе стороны от входа в подъезд в остальное время служили хоккейными воротами, а от числа собравшихся пацанов зависело, «большой» или «маленький» устроится хоккей, то есть от какого до какого подъезда гоняем мы нынче шайбу или маленький резиновый мячик за двенадцать копеек. Клюшками служили еловые колья — последки Нового года, Главного Советского Неформального Праздника. В умелых руках такая «клюшка» становилась грозным оружием: ею Кумыч засаживал мячик в лоб самоотверженному вратарю, мяч рикошетом улетал неведь куда, а двор нашего шестого дома взрывался немилосердным мальчишеским хохотом.

Для летнего футбола после пары разбитых окон и, соответственно, скандальных разборок пришлось приискать поляну подальше от жилья: для городских огромных рам — не для деревенских окошечек! — стекла достать было труднее, чем сегодня пластиковый бампер для самой редкой иномарки, ответственное и наказание полагалось от родителей: провинившийся мальчишка возвращался на улицу, почесывая пониже спины, что воспринималось с сочувственным пониманием. Набедокурив, ребята привыкали не подводить друг дружку перед чужим, взрослым миром: одним из смертных грехов, не подлежащих прощению, считалось ябедничество. Да и родители наши, в соответствии с духом времени, отвратились от сельской привычки сплетничать, искренне намереваясь зажить по-новому... Нет, не все в те времена было плохо, далеко не все, хотя нам и пытаются представить, будто страна после войны и сталинских лагерей превратилась в примитивный человекомуравейник, но установка на Личность тогда сохранялась...

Что касается «примитивности», то тогдашнее население было весьма читающим. В каждом районе, при каждой школе имелась библиотека. И работали эти учреждения с приличной нагрузкой: пусть не такие, как за коврами или за колбасой, но выстраивались за книгой очереди из ребятни, слесарей и токарей, в интеллигентном ожидании, пока серьезного вида девчушка лет шестнадцати занесет в формуляр взятую книгу, причем существовало строгое ограничение по количеству книг и по сроку пользования: в случае нарушения на дом приходило уведомление о возврате.

Надо честно признаться: у нас, мальчишек, был способ похищения особенно полюбившихся книг. Во многих домашних библиотеках имелись книги с казенным фиолетовым штампом на третьей и семнадцатой страницах. Наверное, мы так исправляли государственную несправедливость: в книжных магазинах ведь хорошие книги можно было приобрести только «по блату», «по подписке» или за якобы сданную макулатуру (кто нынче знает, что это такое?), лишь изредка «выбрасывались» средней руки советские писатели. Иногда случалось приобрести неплохие издания — это была настоящая радость, побольше чем от приобретения сегодня нового ноутбука. В любом случае государство нас на самом деле довольно эффективно защищало от разных коммерческих мерзостей, какими сегодня изобилует книжный рынок.

Что читали? Да все, что удавалось добыть! Я, например, в девять лет, отыскав у ярославской бабушки в чулане и попутно приговорив сковородку семечек, проглотил «Красное и черное» Стендаля. Матильда мною воспринималась в образе Ленки Ефремовой: я тоже хотел, чтобы она в меня влюбилась, а я в нее — нет.

А вообще, мы, мальчишки, конечно, больше любили читать про приключения, про индейцев, про путешествия. Майн Рид, Жюль Верн, Конан Дойль, Джек Лондон, Дюма. Особняком — чисто «наши»: Вениамин Каверин «Два капитана», Владислав Крапивин «Тень каравеллы», Александр Грин «Алые паруса». Мы были неисправимые романтики. Впрочем, как оказалось, очень даже исправимые.

Ассоль — старуха и работает в ларьке,
И Грей давным-давно не капитан,
Они живут от океана вдалеке,
Который, как и прежде, океан.

* * *

Был и у колмовских ребяташек свой океан. Древняя река Волхов, естественная восточная граница колмовско2го микрорайона (проживавшие в Колмове уркоганы прозывались так же, с ударением на последний слог — колмовски2е), разумеется, привлекала нас больше всего. Небольшая бухточка за Митрофановским садом звалась Запреткой: на глухом заборе большими буквами было начертано: «Запретная зона!!!» — здесь, кажется, располагалась водонасосная станция. Мы, пацаны, пробирались на ее территорию, привлекавшую нас самим названием, а еще (из песни слова не выкинешь) — отсюда угоняли лодки у неизвестных нам хозяев. Угоняли и прятали в кустах, густо окаймлявших все колмовское побережье, с прицелом покатаваться после.

Эх, други, это был земной рай! На реке болталась целая флотилия лодок: у многих колмовчан-простолюдинов имелся свой деревянный «тузик», у какого-нибудь начальничка или просто мужичка позажиточней катер — «Южанка» или «Казанка», с мотором, со стоянкой на лодочной станции. Новгородцы не сидели у компьютеров, не лежали перед телевизорами, а имели самый что ни на есть активный отдых. Что до нас, ребяташек, — нынче страшно и подумать, на какой экстрим мы решались, чтобы утвердиться в мальчишеской компании: на плотях переправлялись через Волхов во время ледохода, летом саженками (пацанский стиль плавания, вроде кроля, но с согнутыми руками) переплывали его с коротким отдыхом на мелководье в середине, а ведь по реке туда-сюда денно и ночью летали на подводных крыльях «Метеоры» и «Ракеты», степенно передвигались прогулочные «Москва» и «Заря», сновали буксиры и траулеры. Одни тянули-толкали груженные баржи, другие бегали на Ильмень за рыбой с поозерских сойм. Летом на реке зароешься в нагретый солнцем песок, зубы стучат от озноба, но полежишь — и гусиная кожа потихоньку сходит, дела-

ется тепло, потом жарко — вроде пора снова окунуться, но одолевает нега; глаза закрыты, нету никакой взрослой заботушки, и школьной нет — каникулы! — легкий ветерок ласково перебирает просыхающие волосики; слушаешь крики чаек, ленивое чмокание спокойной воды о ржавые борта рыбацких сейнеров у пристани, оживленный, но блаженной дремой смазанный, будто затихающий гвалт детворы... и вдруг — крики: «Пацаны! Пацаны! Окский! Окский идет!» Тогда оставляешь дремотную лень, срываешься с места, несешься к воде стрелой, вопя суматошно, восторженно, взаллеб, всей своей куриной, залепленной речным песком грудкой: «Пацаны! Пацаны! Окский!» Надо спешить, нельзя упустить ни единой волны: вот он! Окский! — с басовитым гудком из-за поворота выползает огромная самоходная баржа «Окский-40»; скорей! — сейчас, подобные японскому цунами, к берегу пойдут большие, круглые, долго не затихающие валы, на которых взлетаешь и опускаешься, взлетаешь и опускаешься...

— ...Да, други, это был быстротечный, но самый настоящий рай на земле, какой, увы, не воротить! Теперь уже лишь чаю жизни будущего века. Аминь!

Наступает парад-алле,
Основной концерт завершен,
Пушкин с Цоем в густой толпе,
Вышли об руку на поклон.

* * *

Зимой Волхов оставался посещаем, встав сразу и наглухо до самого весеннего половодья. Образ прошлых лет: ослепительно-голубое, морозное небо, скрип валенок по снегу, знобко, но безмерно весело: жизнь не изжита еще, душа не заложена. Бодро клубятся дымы из печных труб частного сектора, а немногочисленные многоэтажки жмутся друг к дружке, ослепнув заиндевевшими окнами (центральное отопление было не на высоте). По толстому снежному покрову вдоль и поперек древнерусской реки натоптано множество тропок: львовские автобусы были теплые, особенно уютные на заднем, пружинном сиденье — и мягко, и как на русской печи! — но ходили они редко; пока дождешься своего номера на открытой всем ветрам остановке — околеешь; пешком, на «одиннадцатом номере», получалось куда надежнее. По тропкам вереницей тянутся красноносые новгородцы и новгородки: воротники драповых пальтишек подняты, длинными, шерстяными шарфами домашней вязки обмотаны, уши кроличьих шапок завязаны. А иной ухарь в овчинном полушубке нараспашку вышагивает, у шапки уши не опущены, сама шапка сбита на затылок, чтобы кудри показать (куда запропастились кудрявые парни на Руси?!).

Расположившись в кружок над парящей прорубью, больничные прачки в черной воде полощут желтоватые простыни с казенными штампами, выкручивают белье сильно, чуть не досуха, горой накладывают в маркированные тазики и прут их своими задубелыми, красными руками в гору, мимо тогда порушенной колмовской церквушки Успенья, со ржавого купола на них ругается воронье. Дорогой прачек дерзко цепляют рыбаки, однако и прачки не промах — так ответят, что вездесущие мальчишки с похабными ухмылками переглядываются.

Куда ни глянь, везде людское кишенье! — на белом фоне черные россыпи сумасшедших зимних сидельцев, они здесь останутся до весны, покуда Волхов не тронется — при любой погоде, в любое время суток, даже ночью! Многие мужики не столько ловят, сколько тешатся за компанию: пьют, ритуально обходят снасти, снова гужуются, а которые и дремлют — избочась на ящике или завалившись на овчину, раскинутую поверх мягкого сугроба. Тогда считалось, что нормальный ры-

бак — это пьяный рыбак: помню, ходили на траулере за рыбкой в Ильмень; нас, ребяташек, взял дядя Игорь Ильяшенко с первого этажа. Когда судно проходило старый мост (Александра Невского), капитан с помощником на мостике обмывали грядущую удачу и прозевали аварию: неподалеку от нас о палубу грохнулся кусок железной трубы — верхняя часть мачты, зацепившаяся за малярную люльку, подвешенную под мостом. Никаких последствий это происшествие не имело, а реакция речных волков получилась скромная — несколько матерных слов.

* * *

Физику в школе нашему десятому «А» преподавали совершенно к тому непригодные женщины, потом недолго вел Женя Лошадь — отличный мужик с ослепительной голливудской улыбкой (мы, по своей серости, называли эту улыбку лошадиной), хороший специалист, добрый малый, но преподаватель никакой. Поэтому я лишь недавно уяснил, вычитав в Википедии, что раз наш, колмовский, берег правый, то — в соответствии с законом Кориолиса — он выше и круче противоположного, антоновского: на спуск к реке по первому морозцу мы ежегодно натаскивали ведрами воду из проруби и так устраивали замечательную ледяную горку. В магазинах санок тогда почти не было, они появились позже. Обладатели дефицитных фанерных дощечек пользовались нелегким почетом: на них норовили навалиться кучей малой все «безлошадные». Веселая куча медленно скатывается вниз, орет и визжит, фанерки катятся впереди, выскользнув из-под седоков. Бывало больно и холодно, если задиралась одежонка, но в той куче обретались и девочки, среди которых, в приметном зелено-клетчатом пальтишке, та самая, Ленка Рябова! Сердце переполняла нежность, от переизбытка которой избраннице сильно доставалось. В очередной раз скатившись, можно было снова и снова бежать вверх, множа счастливые моменты, пока на Колмово не спускался поздний, обязательно звездный вечер — дисциплинированная девочка неохотно уходила домой, делать домашнее задание. Провожать девочку в младшем школьном возрасте еще не полагалось, но зато можно было упасть навзничь в сугроб и, задохнувшись от блаженно-ужаса, повиснуть над звездной бездной.

Гениальные стихи
Пишутся предельно просто.
Ну-ка погляди на звезды,
Видишь там фрагмент строки?

* * *

Катанием с горы не пренебрегали и старшие колмовчане — взрослые парни и даже мужики, на что тоже существовала своя мода: некоторые катались на профессионально изогнутых, из гладкой арматуры (калибровки), зимних санях-самокатах. С горы на такой тяжеловесной штуковине спускались торжественно и в многолюдстве, отнюдь не трезво и не безопасно для остальных, что могу засвидетельствовать своей доньине ущербной улыбкой. Впрочем, этот дефект образовался после очередного дворового футбольного матча: Валерка Никифоров, по кличке Рыжий, закатал мне со всей дури мячом в ягодицу, сломался же почему-то передний зуб, на самом-то виду! Игру я доиграл, а потом дома, у зеркала, всплакнул: зуб-то был уже не молочный, а я — молодой и красивый мальчишечка, придавал своей внешности большое значение. Пацаны меня быстро утешили, сказав, что можно будет поставить рандолевую «фиксу». Рандоль добывали из манометров, похищае-

мых в безнадзорных котельных. Эта тема оставалась актуальной даже в девяностые, когда я служил в строительных войсках.

В сторону от горки, к рыбзаводу, был довольно крутой обрыв: нынче он сильно поубавил в крутизне (я ностальгически навещаю туда, изредка наезжая в до боли европеизированный Новгород), но над обрывом донныне сохраняются корявые ракиты и дубы, с витыми, обнаженными корневищами. К их мощным веткам мы крепили толстые веревки с прочными палками-рукоятками. Разбежишься по кругу, оторвешься и летишь над пропастью, по часовой, потом обратно, — крепче держись, смотри, рук не разжимай! Круглогодичная забава была небезопасной, хотя и здесь у колмовских мальчишек перед остальными новгородскими сверстниками было серьезное преимущество: до приемного покоя больницы — рукой подать!

Я, как «правильный» колмовской пацан, также отбыл больничный срок: после велосипедной катастрофы тетя Зоя Хартон (ей было тогда меньше тридцати, тоже мне — тетя!) доставила меня в областную больницу на себе быстрее, чем самые лучшие спецмашины с мигалками. Неделя госпитализации до сих пор кажется длительным заключением...

Операцию веселый хирург делал без наркоза, а ведь головой о каменное крыльцо обкомовской поликлиники (теперь госпиталь ветеранов) я тогда приложился хорошо: немногие могут похвалиться, что трогали руками собственный череп. Сладко вспоминается шоколадка с орехами, которую мне по кусочку скормила взрослая соседка по палате: еще не было детских отделений, и наш сопливый возраст подсаляли куда придется. И новый корпус (теперь уже старый) еще не скоро построят — тесно тогда было в больничке.

Бедные, несчастные современные дети! Разве способны они вспомнить шоколадку сорокалетней давности? Или зеленую трешку, найденную в песочнице, спасшую до полочки целое семейство! Нет, это был утраченный рай!

Несутся года: ту-ту, паренек!
Детсад, пятый курс в Политехе,
К исходу маршрут, и нам невдомек,
Где наши счастливые вехи...

* * *

Колмовской мост через Волхов был не всегда. Где он сегодня понижается к автотрассе, расщепленной памятником-самолетом, где инопланетно глазеез зеркальными витринами буржуйский автоцентр, где нелепо выторгнулась европейская, оцинкованная труба модульной котельной, — прежде буйно цвели, зеленели и плодоносили все те же яблоневые сады, в этой части Колмова не огороженные и всем желающим доступные. Единственным сортом была китайка — маленькие, сладенькие яблочки, вызывающие привыкание, но без прочих негативных последствий. За пазуху рубашки, завязанной узлом, помещалось килограмма два. Яблоком была прорва — мы начинали их сбор сразу, едва завязывались плоды. Животы у колмовских пацанов не болели никогда, а челюсти двигались безостановочно, как у коров и лошадей, мигрировавших через Колмово во всех направлениях, включая городской центр. Мы, маленькие городские жители, гоняли босиком и не без опаски вляпаться в коровью лепешку. Цыгане, которые еще не освоили «двадцать четвертые» «Волги», передвигались по Новгороду на грохочущих телегах развеселыми компаниями, в национальных костюмах. «Ай-на-нэ-на-нэ ай-на-нэ! Сегидыр! Яв дарик! Джа!»

Это был Рай — самобытный, непредсказуемый, разноцветный!

Небольшая одноэтажная постройка, сохранившаяся до настоящего времени, служила хранилищем кислородных баллонов для медицинских целей. В зарослях крапивы за этим взрывоопасным объектом мы учились курить. Возможно, от такого неблагого дела детский Рай и начал разрушаться: мы стремились уподобиться взрослым, что есть самое неразумное занятие на свете...

Там же, ближе к реке, под высоковольтной вышкой, на пустыре, мы гоняли в футбол — тоже, естественно, босиком. Между пустырем и пляжем «У песков» протекал ручей; в нем мы коротали время, охотясь на ондатр, когда жмот Вовка Бобров уходил домой, забрав свой футбольный мячик. К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции телевизионный завод заасфальтировал спортплощадку во дворе девятиного дома по улице Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской). Весь наш девственный Рай постепенно закатывали в асфальт, босоное детство переставало быть таковым в прямом смысле слова, нам пришлось обуться — не потому, что асфальт накалялся на солнце, а потому, что иначе вечером даже в кипятке не удавалось отмыть черные пятки, а родители за грязную простыню выскивали строго — белье берегли, ведь стирать приходилось руками, да еще и по ночам: напор воды был слабый, на всех не хватало.

Характерная картинка: белье, развешанное на противоположной от двора, «зеленой» стороне дома — много белья! — с 80-то квартир! Тогда нередки были бельевые кражи, причем милиция всерьез занималась поиском таких преступников — раскрываемость была выше, чем теперь по заказным убийствам. И ребяташки были при деле: отпущенные «погулять», заодно присматривали за вешенным бельем, младшими братьями и сестренками, пасущейся козой, набирали смородиновый лист для засолки огурцов, а еще раньше (в Старой Руссе) собирали во дворе дощечки от ломаных ящиков, чтобы затопить «титан» — водогрейную колонку на дровах. Малые повинности исполнялись беспрекословно и в точности, после чего удовольствие от детской вольницы возрастало втрое.

На месте новой транспортной развязки прежде от реки до старого корпуса ДСК высились груды бракованного железобетона, его сваливали даже в пруды. Вода в прудах была прозрачнейшая — водились караси, которых мы ловили удочкой прямо с керамзитовых панелей. Были и мелкие прудики, тут мы «бродили» карасиков плетеными корзинками, украденными на рыбзаводе. В них вода была грязнее, к тому же осока: после «забродов» вскакивали на ногах «цыпки», образовывались долго незаживающие порезы. Многие поэтому лезли в пруд прямо в трениках и кедах. Просохнут треники — стряхнешь тину, и ты снова сухопутный пацан, можно болтаться по Колмову до конца дня. Карасей и ершиков мы тут же насаживали на палочку и обугливали на костре. Конфузы случались, но без серьезных последствий, без больнички и таблеток — сорвал лопушок, сбежал в кусты, в худшем случае тут же трусики застирал, пока остальные пацаны не видят.

Территория ДСК тоже манила нас: между плитами на складе готовой продукции мы играли в прятки, в цехе стояли автоматы с бесплатной газированной водой (с сиропом!), валялись бухты гудрона, который мы жевали, и россыпи мелкой плитки, которую мы использовали в качестве денег для детских взаиморасчетов. Эту же плитку мы гвоздиками выковыривали из стен собственных многоквартирных жилищ. Наши четвертый и шестой дома на Павла Левита стоят сегодня ободранные на первых этажах по самые окна, а постаревшие «пацаны» ругают внуков за очередное граффити.

Прятки от времени, гонки за временем — глупости,
Вечность презревшим в минутах назначено путаться.

* * *

Незадолго до начала строительства нового моста на наш берег начали баржами возить песок. Навозили целые горы. Так появился неофициальный, но любимый пролетарским народом пляж «У песков». Купаться на нем было запрещено нестро-го, а потому долгими летними вечерами (что уж говорить про выходные!) он ки-шел трудовыми массами. Прикрою глаза: туда-сюда летают моторки, на траве и песке взрослыми разостланы покрывала. Куда там Сочи и Крыму! Куда там Турции и Майорке! Вот где была жизнь! И все друг друга знают, и не только с хорошей сто-роны. Но где хорошая сторона, а где плохая — мы не понимали, невольно соблюдая одну из основных заповедей — неосуждения. Взрослые выпивали, в основном «яблочную» бормотуху, закусывали жареной мойвой (в бумажных свертках, очень вкусная, вкуснее сегодняшнего палтуса). В кустиках переодевали трусы, а то и чем другим, похуже, занимались. У нас же не было ни малейшего сомнения, что все со-вершается единственно верным образом: «Почему, дружок, да потому — что я жизнь учил не по учебникам...»

Придется нехотя признать, что ностальгические разговоры о бытовой добропо-рядочности советских граждан — скорее миф. Нет, это был не совсем Рай! Пьян-ство цвело пышным цветом. Пьяных в Колмово хватало, даже среди стационарных «больничников»: к ним приходили родственники — компании совместно выпива-ли под яблонями, к мужичкам приходили любимые жены и подруги, с которыми они решали накопившиеся вопросы. Теперь здесь на огромной скорости скатыва-ются с моста иномарки.

Мы, мальчишки, любопытные до всего, в том числе и нехорошего, шныряли повсюду, и о некоторых вещах стыдно теперь вспоминать. Так, например, кто-то из больничников, напившись до падшего состояния, дрых под яблонями, а наши ху-лиганы шмонали их пижамы или даже снимали с них часы. С виду порочные, мы были чисты душой и сердцем, мы были — дети!

На пыльных газонах и скамейках автобусных остановок можно было видеть распростертые тела усталых пролетариев, угостившихся в конце рабочего дня сверх меры горячительными напитками. Это при том, что винные магазины рабо-тали лишь с одиннадцати до четырнадцати часов. После обеденного перерыва вино и коньяк еще можно было взять в овощном отделе, но они не пользовались у пья-ниц особенным спросом: коньяк — дорог, а вино — «слабое». Родственники пьяниц облегченно вздыхали, когда по радио пикало два часа.

Пили, понятное дело, и на работе. Уже когда я проходил школьную производ-ственную практику на телевизионном заводе, мой наставник, токарь Василий Пав-лович Колчин, специально брал заказы попроще: настраивал станок, выдавал мне за-пасные резцы, а сам шел с друзьями в бытовку, пить «яблочную». В течение дня на-ставник пару раз наведывался, преувеличенно деловой, но ни на что уже не годный.

От окончательного падения людей удерживала только сама работа. Не работать было нельзя — даже если ты вчера вернулся из зоны, к тебе наведывался участко-вый, отец Кольки Архипова, и предупреждал, что снова посадит. Кольку потом заб-рали в Афган, возвратившись, он тихо съехал с ума, спился и умер... но это оказалась брехня, досужие разговорчики, недавно мне сказали, что Колька «всплыл» «в Кон-такте».

Моей Джульетте тихо-мирно — пятьдесят!
И тех, с кем рок играл, не узнаю парней,
Они «В контакте», в «Одноклассниках» висят,
А я завидую погибшим на войне.

* * *

Очень жестко делился город на районные группировки — колмовские, антоновские, шабровские и т. п. — так, наверное, продолжались деревенские традиции, только в гораздо более неприглядной форме — не колы, а ножи, кастеты пускались иногда в ход. Нет, это не был Рай. В чужой микрорайон вечером заходить было крайне небезопасно, особенно провожать туда «чужую» девушку. В беседках, на полянках, около и внутри парадных кучковались агрессивные компании. Если где-то возникало недоразумение, по простейшей системе оповещения моментально откуда-то собиралась толпа пацанов, готовых дать отпор незванным пришельцам. У каждого из нас обязательно имелись клички. Пусть чуточку длинно получится или не к месту, но перечислю некоторые — они для меня звучат как блатная музыка: Обакум или Кумыч-старший, Кумыч-младший, Рыжий, Шеф, Кефир, Шукай, Смоляк, Король, Чупа, Менш, Малява, Лихой, Русак, Седой. Меня звали — Дюхон.

В каждой компании был авторитет из числа старших парней, как правило, с «заслуженной» — зоновской биографией. Многие из них уже заросли травой, но кое-кто заделался при капитализме почтенным бизнесменом — Санька Зверев, например, из нашего подъезда, со второго этажа. Он уже тогда был ушлый, здорово меня обдурил — впарил «апрелевского» Демиса Руссоса за пластинку венгерской фирмы с группой «Ливин блюз».

Сильных личностей тогда виделось больше, нежели теперь. Отчаянные были парни, способные на самые разные поступки, в том числе и неблагоприятные! А отцы наши были еще ярче, раз их уважали наши лидеры. Из поколения в поколение слабеют семена, вырождаются. Может, почва иссыкает? Или мы элементарно оторвались от нее? Или — и то, и другое?! Вот и мои сверстники поблекли, вытерлись, обмельчали в современных условиях, выкладывают «в Контакте» фотографии шашлыков, дач и авто. Или я просто брюзжу?

Печальной приметой сего дня мне видится готовность детей отрешиться от родителей — выглядеть иначе, быть наособицу — мол, «мы сами по себе!», самозабвенно прельщаясь модой — не той, нашей ребячьей цикличностью досужих увлечений: футбол, войнушки, снежные крепости, но модой преимущественно на внешность, как главным показателем крутизны, при том что за внешностью традиционно скрывается совершенная личностная пустота.

На стареньких фото отчетливо видим: ребяташки буквально во всем подражают старшим; у мальчишек брюки с отцовскими ремнями, взрослые головные уборы, прически, вообще — все повадки. Вырождение мужского начала у сильной половины человечества происходит параллельно с не менее страшным явлением — потерей женственности, когда девочки утрачивают лучшие особенности своего пола: скромность, целомудрие, материнскую попечительность о маленьких. Куклы теперь для них не предмет попечения, но игрушка-манекен. Вырядиться, разукраситься в пух и прах, чтобы легче себя избыть, продать! — вот уже взрослая цель на самом деле инфантильной девочки-подростка.

Корни этой беды, по сути отречения, уходят в сороковые годы, когда средствами массовой информации был заложен культ молодости, который все расцветал и расцветал: «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым!» И если прежняя, русская классическая литература в основном повествовала о свершившихся судьбах, о зрелом человеческом опыте, нередко печальном, то советские кино и телевидение как бы выхватили яркий фрагмент молодого и счастливого хозяина своей судьбы, советского гражданина. Пожилые люди здесь присутствовали на периферии повествования, и далеко не всегда в положительных ролях, но

скорее как отжившие, устаревшие, чего-то обычно недопонимающие, в лучшем случае симпатизирующие молодежи и неловко пытающиеся шагать с ней в ногу.

«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет...» — строчки из культовой песни. Почет, наверное, на самом деле сохранялся, но это был почет языческого такого свойства — дескать, наблюдай, старый чудак, как молодые сменщики — чубатые, мускулистые, грудастые, в белых блузках и маечках — с каждой пятiletкой все ближе становятся к коммунизму, причем без всяких этих старорежимных глупостей типа иконочек или «тише едешь — дальше будешь».

На тебе картошку не посадишь,
И для панихиды нет резона:
Был коммунистический товарищ.
Умер. И заделали бетоном.

* * *

Логичный вопрос к моему поколению: верили ли мы, что коммунизм будет на самом деле построен? Мы всерьез не заикливались на этой теме. Жили в порядке социалистического послушания: на собрания ходили, на демонстрациях демонстрировали всему миру, но, честное слово, оставалось еще время, чтобы и по-своему пожить, в собственное некоммунистическое удовольствие. И правила, прописанные в «Моральном кодексе строителя коммунизма», официально почитавшиеся, в повседневности нарушались постоянно, особенно если требовалось что-то с работы утащить. У весьма и весьма нравственных советских людей словосочетание «принес с работы» не вызывало никаких негативных эмоций.

«Нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай!..» — работа не только кормила, но и обеспечивала: шофера — бензином и возможностью отвезти-привезти что и куда угодно; рядового строителя — цементом или гвоздями; прораба — плитами перекрытия и кирпичом (в единицах измерения — тысяча штук), а уж работника торговли... у-у-у! — советский работник торговли — это, доложу вам... человек, который на самом деле звучит — гордо! Я, например, женился на работнике торговли. Это теперь она — одна из многих. А тогда?! Мы были «в порядке»!

Из года в год они права качали,
Насосы понаделав из сердец,
Был кто-то больше виноват в начале,
И оба виноваты под конец.

В остальном же люди были довольно нравственные и скромные... главное — сколько-то простые! И если пили все, это не значит, что все были плохие, хотя сам я нынче и православный трезвенник. И готовые подраться, хоть с американским империализмом, хоть с соседним микрорайоном, не были человеконенавистниками, нет. Скорее, это теперь мы такие, что, по любому поводу показывая фарфоровые зубы, чинно так произносим — одни: «Будьте любезны!», другие: «Прошу простить, не имею такой возможности!»

Не с кем стало в разведку сходить, не говоря уже о том, чтобы слазить в Митрофановский сад. Шутка, конечно, но, как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки! Нас воспитывали на мелочах, однако мелочей было столько, что парня потом можно было со спокойной душой в армию отпустить, не опасаясь, что его там сломают. Да, надо признать, что основные «понятия» пришли к нам не из коммунистического кодекса, но они работали. Помните? «Крошка сын к отцу пришел, и

спросила кроха: что такое „хорошо“ и что такое „плохо“?» Ужасно, конечно, прозвучит такое мое наблюдение, но в среде дворовых мальчишек я чувствовал себя гораздо более защищенным, чем позднее в институтской, тем более — итээровской и уж тем паче — в чиновничьей среде! К старости складывается стойкое ощущение, что многие представители нашей нынешней власти в детстве были беспредельщиками — не отвечали за базар и не играли в лапту. Не помните эту игру? Знаете, как обидно, когда Абакум-старший зафинтилит мячик куда-то далеко в траву, и к тому же в который раз! Идешь искать, глотаешь бессильные, злые слезы, но виду не подаешь: нельзя, не поймут! Очень помогает вырабатывать смирение народная русская игра. Так формировался «правильный» пацан.

А нынешние властители чуть что — начинают друг друга по телевизору хаять. Сразу видно — не играли в лапту, на скрипочку, наверно, ходили!.. На скрипке играть — дело, конечно, хорошее, но неужели этому нельзя обучиться без отрыва от жизни? У нас были такие парни, совмещали: дома — соната ре минор Моцарта, а на улице — «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...». Слушатели угрюмяют лицами, а в голосе исполнителя пробивается слеза.

Вспомнился частный и, может быть, не самый удачный пример: в те годы неукоснительно соблюдалось благородное правило: если парень начинал «ходить» с понаравившейся девчонкой, разумеется, из своего же района, другие уже не покушались на ее расположение, какой бы привлекательной она ни была. Так и говорили: такой-то «ходит» с такой-то! И все, вопрос закрыт! Вот и я, тщедушный паренек, но гитарист, музыкант ВИА (рок-группы) и, наверно, еще какими-то неведомыми достоинствами обладавший, когда удостоился «ходить» с самой красивой девочкой Колмова, ни малейших проблем не имел со стороны самых выдающихся деятелей нашей хулиганской «шоблы»: «Дюхон ходит с Грачевой!» Правило работало, правда, лишь пока наши отношения не расстроились.

Я не случайно подчеркнул, что девочка должна была быть из своего района. В связи с этой важной и характерной чертой прошлого — защитой собственных территорий от любых посягательств — вспоминается такой случай. Моя соседка по лестничной площадке, перегуляв со всеми колмовскими старшими парнями, ухитрилась выйти замуж за «чужака». Молодые поселились в однокомнатной квартире, с тещей. Единственно возможный вариант благополучного разрешения сложившейся ситуации реально существовал: парню следовало «прописаться» в нашу дворовую компанию, примерно следующим образом — вечером выйти покурить с пацанами у нашего подъезда. Разумеется, на это требовалось первоначальное мужество, ну и пол-пачки хороших папирос, зато потом можно было спокойно проживать в Колмове, попав под местную защиту. Но молодой муж сделать это не сообразил, в результате оказался жестоко избит кастетом, но, замечу, единожды, затем молодых оставили в покое, таки признав потерпевшего «своим».

Вообще, деление по принципу «свой-чужой» было очень категоричным. Например, отец любого, неважно, колмовского хулигана или домашнего мальчика-скрипача, находился вне опасности. «Дядя Федя, дядя Коля!» — так, по-свойски, приветствовали проявлявших любезный интерес к нашим занятиям: мопедам, музыкальным посиделкам, особенно если угощал сигареткой, если знал нас по именам, если относился как к равным. И если мужик просто проходил не заносясь, кивал головой, не выпендривался, его тоже признавали. Но уж если откровенно чурался, задирал нос, такой «перец» мог легко угодить «под раздачу», ведь наши предводители страдали театральной прибрлатненностью, особенно после стакана красного, а свое лидерство надо было как-то доказывать.

...Уже не надо. Шукая, Зуя, Кефира, Гули, Обакума старшего — нет, погибли или умерли. Но они — были!

Вплотную мы приблизились
К печальной той поре —
Ровесники посыпались,
Как листья в сентябре.

* * *

Наверное, это не был Рай! Конфликтов все же хватало! То с третьего этажа, из квартиры Ивановых, слышна рабоче-крестьянская разборка. То, едва утихнув, шум прорывается с первого, от Ильяшенков. Слышимость в панельных хрущевках отличная: сначала сварливая бабенка качает права подвыпившему мужу, тот что-то глухо возражает, негромко, лениво, потом возвышает голос, уже угрожающе... и пошло-поехало! — грохот, мат, женский визг! Нередко женщины ночевали у соседок, уходя из дому со всем ребячьим выводком: такое считалось нормальным. При этом никто и не думал разводиться — понятие «развод» было чем-то крайним, немыслимым, хотя, конечно же, случалось, но в самых изоциренно-интеллигентных семьях; в простецкой же среде «время лечило». Рукоприкладство было в порядке вещей — «женку треба поучить» — и к нам, детям, применялось, но ко всему этому относились много проще, не делая трагедии. Это теперь малейшая физическая боль для интеллигенции — нечто запредельное, любой «дискомфорт» устраняется медикаментозно. Сегодня они говорят: «Бога нет, а есть аспирин и анальгин». А тогда: «На все Воля Божья. Заболела — потерпи, умираешь — подожди». Сам, бывало, схлопочешь от батьки ремешком по слишком прытким ножонкам, слишком хватким ручонкам, котенком вякнешь-мякнешь, улепетнешь на кухню, где бабушка Тоня, хлопочущая у плиты, добродушно пожурит-успокоит: «Попало на орехи, неслух? Прижило? Ничего, до свадьбы заживет!» Сунет кочерыжку капустную: «Иди гуляй! Уроки сделаны?» А уже и батька навстречу в переменившемся настроении — улыбается: «Что, сынок? Трудно без Ленина?!»

Без тебя, батя, трудно!

...В деревне, где сейчас обитаю, вспоминают Евдокею Устинову: «Дуся-то у Дмитрия только печкой не битая. Дак зато о печку не по разу приложена!»

А «о печку битая» Дуся все зубы скалила с любимой присказкой: «Люби не люби, а почаще взглядывай!», на каждом застолье, «прижамшись» к своему «извергу», пронзительнее всех выводила: «Редко, друзья, нам встречаться приходится, но уж когда довелось...»

Вовсе без скорбей нельзя, не бывает. Скорби физические поменяли мы на более ужасные — психологические, душевные, в сравнении с которыми обычная боль кажется Божьим благословением.

Говорили про жен: «Люби, как душу, и тряси, как грушу!» Трясли, но любили и жалели: тогдашняя жалость стоила много дороже современной страсти, **безжалостной** ко всему, кроме себя и своего «хочу»...

Жена, кончается наш век!
Уж ссориться не будем.
Ты — человек! Я — человек!
Поговорим, как люди!

Мужики и тогда были непутевые, но семьи держались — по-советски корявые, по-древнерусски крепкие: от малых ребяташек к другой бабенке не вдруг перескочишь, тем паче — наоборот! И деревенский страх перед людской молвой удерживал от предосудительных действий. Помните? «Тропинка узенькая вьется через

дорогу вдоль плетня, я прохожу, а у колодца судачат бабы про меня...» Чего уж говорить о грозных парткомах и профкомах с их «освобожденными» активистами. Кто был на самом деле — совестливее, кто — просто пугливее, но уж так нас воспитывала КПСС и в любом случае так не развращали-развлекали, как это делают сегодня «веселые и находчивые».

А развлечений и без телевизора хватало! Парадоксально: забот была уйма, удобств меньше, а времени свободного, как ни удивительно, — больше:

Доминяшки о стол колотятся,
 Мужний пиджак на плечи накинут,
 Гармошка тянется, да не рвется,
 И время будто резиновое!
 Комаров ветками отмахивая,
 Беседы неспешные водят:
 Младшего в армию взяли в мае,
 Старший — на телевизионном заводе,
 Дочка третьим ходит, хотят парня,
 С мужем-то как повезло — непьющий!
 А смеялись — не пара, не пара!
 Ну и что! Подумаешь — грузчик!
 Жизнь смиренная, пусть не святая —
 Просто быть, на других без нажима.
 Эх, Никита! Эх, Леня! Эх, Рая!
 Эх, Борис! Эх, Володя! Эх, Дима...

* * *

Да, нравы были крутые! Нескучно было и в молодежной среде, на танцплощадках. Здесь, кстати, находились «герои», что знакомились с «чужими» девчонками и даже их провожали. Потом рассказывали эпические истории, больше врали, конечно. Сами проводят, озираясь, до подъезда, в щечку чмокнут — и ходу!

С какими-то и я знакомился, под прикрытием «могучей кучки», но не провожал — боялся. Да и не хотелось с «такими» связываться: девчонки, «ходившие» «в Попова» или «на Пятак», были заведомо непригодны для серьезных отношений. Среди них встречались «оторвы», способные поколотить, оттаскать за волосы себе подобных. Девичьи драки — это что-то страшное, это тогдашние «бои без правил». Одна из таких почему-то влюбилась в меня, даже приходила к нам в школу на танцевальные вечера, когда я уже был лидером рок-группы, и угрожала моим одноклассницам, своим возможным конкуренткам, — без вины виноватые те изрядно струхнули.

Наркотиков и в помине не было (до Афгана), но почиталось за особую доблесть разогреться перед танцами дешевой бормотухой и именно в таком виде преодолеть билетный контроль, который осуществлял оперотряд. Во время танцев, где не столько танцевали, сколько ритмично подергивались в своем, «колмовском», круге, лениво вскидывая ноги в клешах и настороженно посматривая в сторону чужих кружков, вихрем пролетала весть: «После не расходитесь. Собираемся у входа. Будет разборка с шестьдесят второй».

Шестьдесят вторая и шестидесятая — две общаги для «химиков». «Химиками» называли осужденных за незначительные уголовные преступления и работавших на нашем новгородском химзаводе. Это была очень солидная группировка в ДК Попова.

Не менее престижно считалось «ходить в профсоюзы», «в Васильева», где тон задавали «боксеры» — шабровские пацаны, занимавшиеся боксом у знаменитых Туркина и Пешенина. Многие из них впоследствии возглавили новгородские ОПГ. (Фамилии называть не стану.) Многие, напротив, благодаря этим занятиям спаслись от пьянки и зоны.

Летом все ходили в парк, к «Веселой горке», на «Пятак». Здесь тоже кипели нешуточные страсти, которые успешно утихомиривали две знаменитые личности того времени — Таня-каратистка и Гладиолус — тщедушный, но геройский милиционер с непроизносимой прибалтийской фамилией и служебной овчаркой на поводке. Особым достижением считалось попасть на «Пятак» без билета, перебравшись через ограду с дерева. Так и говорилось с понтом: «Вчера залез на Пятак. Таня заметила, погрозила, но идти было в лом. А Гладиолус в это время Старого вязал».

Кому-то покажется: какой мрак! — хулиганы, преступники. Да чтоб я всегда так жил! Мир был не столько опасным, но безмерно радостным и уж никак не страшным, люди — бесхитростными, подвижными душой: ужасные в плохом, они же не стыдились быть откровенно хорошими, и даже то, что они не умели скрывать (не говорю уж сдерживать — для этого потребно духовное понимание: откуда ему было взяться?) свои эмоции, на мой теперешний взгляд, характеризует их скорее положительно.

Последки таких разве что еще в глубинке встретишь, но и здесь все не здорово...

На моей стороне завалились заборы,
С покосившихся окон — нездешние ритмы,
Это смутное время закончится скоро,
И оно неизбежно закончится битвой.

* * *

Вспоминаю наш колмовской стадион, хоккейную команду «Заря», созданную при телевизионном заводе. Здесь все крутилось благодаря усилиям Аннушки — Анны Михайловны (фамилию ее теперь не упомяну). Миниатюрная женщина, фигурой и манерами похожая на худенького подростка, почиталась всеми пацанами, включая самых грозных авторитетов: от нее зависело, кому быть в основном составе «Зари», кому играть в этой встрече, кому достанутся новая клюшка и амуниция. Судьба вчерашнего хулигана могла чудесным образом перемениться по единственному ее слову.

Или это все же был Рай? Да чтоб я всегда так жил! Вот, например, зима! Она превращалась в нескончаемый праздник. Наше Колмово содрогалось от буйных криков болельщиков, жило от игры до игры, как теперь я живу от Рождества до Пасхи. На дверях пятой школы висело расписание хоккейного сезона, рядом стоял львовский автобус, на котором приехал старорусский «Луч» или «Энергия» из Малой Вишеры. Сильно играл наш новгородский «Химик». Освещение улиц было скудное, но коробка стадиона буквально сияла огнями прожекторов. С наружной стороны бортиков высились огромные валы из прессованного снега: зимы тогда были настоящие — многоснежные и морозные. На брустверах теснились колмовчане всех возрастов — красноносые мужички болели особенно истово, горланили: «Шайбу! Дави! Заря! Заря!», тут же, не сходя с места, разливая по стаканам «33» или «Агдам». В морозном воздухе сухо шелкали клюшки, шайба гулко бабахала в борта, верещал свисток судьи. На другой день в школе мальчишки обсуждали, какой молодец наш Витька-вратарь... Царствие ему Небесное! — умер в лихие девяностые от инфаркта, прямо за рулем такси.

Кому-то из нас везло: в ходе баталии ломалась клюшка, судья, небрежно накло-

нившись, подбирали обломки и так же небрежно выбрасывали их за бортик. Ключку можно было склеить, сколотить гвоздиками, туго замотать изолентой и играть — «настоящей», «с загибом»! Вообще, «загиб» мы умели делать и сами, парили в горячей воде (мы многое умели, мальчишки семидесятых!), по трафарету масляной краской малевали «Саппоро». И прочие хоккейные причиндалы — наколенники, маски, что нынешние ребята без особенного нытья выпрашивают у родителей, — мы делали сами, из подручного материала. Нам все доставалось трудом! И трудом доставшееся претворялось в радость достижения.

Хоккейный лед мы тоже заливали сами, разматывая из окна школы шланг, а не то таская воду ведрами, по цепочке. Любое начинание тут же энергично подхватывалось, как загорается сухая травка по весне: тогда всем до всего было дело. В школе работало много преподавателей-мужчин, которые, помимо своих предметов, внятно и довольно жестко учили нас общему мужицким понятиям и навыкам, в числе первых — не ябедничать, а решать свои проблемы самому. Школьных физруков у нас было аж несколько — это были люди по призванию. Физрук Валентин Валентинович на пару с трудовиком (учителем труда) Владимиром Петровичем (на руке зоновская наколка «Север») могли перед Новым годом допоздна ставить елку в спортзале. Учитель физики Николай Иосифович не вылезал из своих владений: что-то вечно совершенствовал, придумывал. Как сейчас, помню: он делал раздвижные шторы на электроприводе и попал под напряжение. Пальцы, видимо, свело током — физик орал на всю школу. Мы, мальчишки, растерялись, но вмиг из мастерских, с первого этажа на третий, прибежал Владимир Петрович и ударил физика по рукам шваброй. Тем дело и кончилось, они пошли пить спирт. Немножко плеснули Саньке, сыну школьной уборщицы Риммы — они жили при школе, а Санька уже учился в ПТУ — взрослый почти! Он потом, слегка пошатываясь, стоял с нами у входа в школу, курил и показывал свежую наколку на припухшей кисти руки. Саньке оставался год до армии, до Афгана. Больше я Саньку не видел и ничего про него не знаю. Римма тоже незаметно исчезла из нашей школы и из моей жизни. Теперь вот вспомнил обоих. Они — тоже были!

Афган по-взрослому прошелся по колмовской братве. В одном классе с моим старшим братом учился маленький, худенький Мыня, Мышка. У него не получилось с первого раза попасть в новгородский Политех, а повторно он поступал годом позже меня, когда у Мыни уже не было правой ноги «до самой задницы» — ногу он отдал в счет интернационального долга: водимый им БТР подорвался на mine. Помню — в день смерти Брежнева! — мы со студентами стояли в институтском вестибюле и довольно весело обсуждали эту любопытную новость, хотя, кажется, чувствовали себя малость как-то «не того». Из висевшего под потолком черно-белого «Садко» звучала музыка к балету «Лебединое озеро». В это время к институту (мы видели через пыльные витринные стекла) на своем инвалидном «запорожце» подъехал Мыня, громко хлопнул дверцей (так полагалось при обращении с отечественными авто) и направился ко входу. Его отечественный протез не справился с высокими ступеньками — Мыня упал, в кровь разбив лицо. Мы хотели выйти, помочь, но застеснялись, замешкались, он же тем временем сел обратно в своего «запорогу» и уехал, причем мотор завелся не сразу.

Я вспомнил это не для того, чтобы ругнуть качество советской продукции. Другое важно: смерть Брежнева как человека меня тогда явно не впечатлила, но в сознании она как-то соединилась с Мыниной неудачей, и я — пока еще смутно — понял, что я не просто советский студент, а что у меня есть душа и что я — живой. Потом я этим болел, мучился и пытался найти от имени Бога ответ на всеобщий, вечный и ужасный вопрос: почему Он допускает не только умирать генеральным секретарям, но и страдать разным, ни в чем не повинным Мыням.

Потихоньку начинает брезжить понимание.

Мой домик, пропахший ладаном,
Метель закопала в снег.
Мне лучшей судьбы не надо:
Я — горестный человек!

* * *

Около хоккейной коробки, под окнами жилого дома, торчал столб с загадочным расширением кверху. В те времена христианскую Пасху открыто не праздновали: не звенели колокола на колмовской церкви — в мерзости запустения пребывала она; но проводы русской зимы, языческую Масленицу, советские люди отмечали истово. Черным дымом в голубое, морозное еще небо выгорали резиновые покрышки, обложенные еловым лапником, пиликанье гармошки мешалось с бравурными соцмаршами, около столов с водкой и фирменной новгородской медовухой оживленно толпились колмовчане — молодые парни и пожилые мужики демонстрировали смычку поколений. На столб за живым петухом, раздевшись до трусов, лезли самые дерзкие, по-деревенски мускулистые, по-зоновски бледно-синие, богато изукрашенные наколками парни, получившие прекрасный повод показать этакую «красоту», а снизу их подбадривали развеселые товарищи постарше. Одно время пространство за стадионом помпезно украшал деревянный корабль, служивший сценой для выступлений заводской самодеятельности. В обычные дни на корабле играла малышня, а под палубой обитали курящие подростки, но однажды на дверях подъездов появились объявления: «Такого-то числа в микрорайоне Колмово состоится День микрорайона (День улицы). Место проведения — КОРАБЛЬ». И этого числа с нетерпением ждали все. Да, тогда было чего ждать. Теперь остался нам День города, когда народ наливается пивом и водкой под заморскую музыку, а тогда, пока сохранялись деревенские нравы, живы и близки были сельские корни, желанно праздновались не только дни улиц, но даже отдельных многоквартирных домов, как когда-то деревенские престольные праздники. Если вдуматься, многоквартирный жилой дом — это целая деревня. Все знают друг друга, относятся запросто, по-доброму, если подерутся или посплетничают, то тоже по-свойски, с приговором: «А вы не лезьте в наши дела!»

Сценические площадки были во многих дворах, в том числе и у нас, на Павла Левита. Выступала заводская самодеятельность, лавочки битком забиты зрителями, на коленях карапузы, вокруг коляски, коляски; окна в общаге телевизионного завода нараспашку, в салоне припаркованного рядом пазика русские красавицы переодевают сарафаны, парни с гармошками, в шелковых рубашках и с чубами из-под лакированных козырьков, ожидают своего выхода.

Площадки и следа нет, а свидетель тех событий, постаревший железобетонный медведь на Павла Левита, как-то жалко смотрится теперь в опустевшем дворе. Детей не видно, дети сидят за компьютерами по домам. Гармонисты — тема особая, они в семидесятые еще встречались, даже в изобилии, но царили уже больше в старших, родительских компаниях.

Вечерки, свадьбы — деревенская гульба,
Гармонь недолго продержалась против «диско»,
Она не вписывалась в планы глобалистов,
У гармониста — незавидная судьба.
Что ж, без гармонии вмиг угас народа пыл,
Ведь гармонист — гармонизации служил!

* * *

Наше поколение (наверное, и правда по подсказке ЦРУ!) выбрало гитару и «битлов». В микрорайоне было несколько гитаристов, каждый из них стал кумиром для нас, тогда обычных мальчишек. Помню Саню Кунского, красивого, патлатого парня с бачками, он пронзительным голосом выводил: «Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января-я-я-я, прощай!»

Как я завидовал Кунскому, его районной славе, голосу! Даже скорая кончина районного менестреля от беспробудной пьянки, казалось, придала его личности какой-то особый, загробный шик.

Неприятно вспоминать советские похороны. Они были людными, шумными и пугающими. Обязательно приглашали духовой оркестр с телевизионного или конденсаторного завода: музыканты дули в трубы, били в тарелки, равнодушно глядя сквозь покойника; от многих сильно пахло водкой, и было видно, что они ненавидят свою работу, откровенно отбывают номер. Изюм всех окон глазели люди, на асфальт ставили табуретки, на них шатко держался гроб, который зачем-то подолгу не убирали, ждали долго (такая традиция!), пока все попрощаются, а водитель автобуса начнет материться. Закрывали крышку — и начинали голосить на все Колмово. Я по возможности старался улизнуть, но не всегда удавалось: перед остальными мальчишками было неудобно; они же, наоборот, лезли поближе, брались за гроб или даже за ногу мертвеца — это бабки учили их: «Подержи пяточку, не будешь бояться!»

Советские поминки — свято узаконенная пьянка. Сначала в тесной квартире, в несколько «очерей», а вечером в беседке звякали, стакан о стакан, старшие парни: «Помянем Саньку! Здорово Санька играл на гитаре!» Сашка Александров, по кличке Дед, мускулистый и весь в татуировках, плакал навзрыд пьяными слезами. Мы восторженно глазели. Старшие парни были как боги. Нам очень хотелось им подражать. Других авторитетов, увы, у нас не было: не на скучных же комсомольских секретарей держать равнение — в барабаны мы к тому времени уже набарабанились, в горы натрубились и уже какими-то другими глазами посматривали на старшую пионервожатую — ей было лет двадцать пять, уже старая тетенька, но еще красивая.

Так разрушался Рай (если он вообще был) и зарождался отечественный Рок. Через пару лет мой брат-старшеклассник, покорив инструмент, выступал в школьном ВИА — вокально-инструментальном ансамбле, заодно научив и меня нескольким аккордам. Так я перебрался из хулиганов в музыканты, перекочевал из прокуренного подъезда в прокуренную же комнату для репетиций. Однако до последнего дня юности оставался в своем дворе и своем микрорайоне своим среди своих.

Что касается последнего дня юности, как ни старался, ничего не вспомнил. Но зато мне приснился сон, который, проснувшись, я сразу записал. Вот он.

* * *

...Я рассказал им все (во сне это было нетрудно): Абакуму-старшему, что он через несколько лет отравится снотворными таблетками из-за несчастной любви; Маляве — что сопьется и станет побираться возле автобусной остановки; Михе — что у него рано умрет любимый отец, зато сам он будет жить в Чехии. Сказал, что машины будут почти у всех, а у Кефира их будет несколько, но его застрелят. Рассказал про мобильные телефоны, про ноутбуки — чудо-чемоданчики, с помощью которых можно будет слушать музыку, смотреть кино и общаться, видя друг друга, причем без проводов. Что так люди и будут в основном общаться.

Ребята слушали внимательно, но без эмоций. Сон есть сон. Иногда задавали

вопросы, но немного. (Или я просто забыл?) Например, моя будущая жена спросила, сколько у нее будет детей. Я сказал: один сын. Спросила: как будут звать мужа? Сказал: как меня! Она озадаченно посмотрела на меня прежними, волнующими глазами, но больше ничего не спрашивала.

...Мы сидели на перевернутых лодках, на берегу Волхова. От реки несло гнилыми водорослями, под корявой ивой у Пахома была поставлена донка, которую он то и дело проверял, снимая с крючка то плотвицу, то густерку. После очередной поклевки и мне разок позволил вытащить леску, хотя я перед этим не сильно утешил: сообщил, что он отсидит долгий срок за убийство нашего общего знакомого, а потом станет скучно работать водителем заводского автобуса.

Сон есть сон. Во сне они ничему не удивлялись и ничего не пугались, мои кореша, мои сверстники-сорванцы. А мне (уже потом) показалось удивительным, что всему этому немислимому нагромождению мрачных пророчеств будет суждено осуществиться...

...Потом я почувствовал, что вот-вот проснусь, и начал прощаться. Подошел к жене и спросил, поняла ли она. Она сказала, что поняла. И сама спросила: будем ли мы счастливы? Я сказал... что будем. И еще сказал... уже почти проснувшись в своей глухой, Богом забытой деревушке...

Сказал, чтобы она не торопилась вырасти.

* * *

К северу от Колмова, за рыбзаводским ручьем, будто за кавказским Теремом, простирался суверенный кирпичник. Вообще, кирпичных заводов в той стороне было много, и в нашем обиходе часто звучало: первый кирпичник, второй кирпичник. В тех, заручьевских, краях обитала еще более люмпенская публика, отсюда в Колмово изредка наведывались, словно монгольские орды, хулиганские компании. Помню, как по Левита шла целая толпа подвыпивших подростков, горланя и стреляя в воздух из самопальных дробовиков, — искали моего брательника для разборки. Это кажется ужасным, а если вдуматься: просто шли дети мужичков, посетивших «места, не столь отдаленные», и теперь смиренно трудившихся на непрестижном производстве строительных материалов. Конечно, милиция моментально и жестко пресекала подобные сборища, но это в случае, если поступал своевременный сигнал. Иначе они запросто могли натворить бед — волчата, постигавшие жизнь в сараях и беседках, внимая байкам старших парней о романтике зоны. Их нет теперь, вымерли от перестроечного суррогата — иноземного спирта «Роял», так и не успев толком заматереть.

Для колмовских с «кирпичниками» примиряющим местом служила «Бригантина» — клуб в подвале двадцать второго дома. Это была пограничная точка, где занимались культуристы во главе с братьями Терентьевыми. Красивое получалось зрелище, когда компания качков в полном составе устраивала пробежку по нашей Левита — более двух десятков мускулистых парней, прекрасно сознающих производимое ими впечатление. Худосочные пацанчики с сигаретками, бабушки с колясками — все умолкали и глазели на великолепную процессию.

В «Бригантине» существовали и различные секции по интересам, начиная от рукоделия, заканчивая ВИА-музыкой. Слово «рок» было под официальным запретом, нам вполне хватало для разучивания песен «Лайла», «Синий лен», но затем мы отращивали волосы и начинали «играть свое». «Свое» было очень печальное, можно сказать — безысходное. Приведу типичный отрывок из одной нашей «депрессивной» песенки:

Я теперь уже не тот,
 От пустых устал забот
 И давно отвык от суеты.
 Нет всего, чего хотел,
 Я добиться не сумел,
 И в душе увядшей нет мечты...

Не удержусь, процитирую и припев, очень забавный, с учетом нашего возраста: «Вспоминая то, что прошло давно и чего уже не вернешь, — чувствуешь, что ничего больше не ждешь! И с большим трудом сердца метроном до конца ведет свой отсчет. Скоро ли лопнет струна, песню прервет...»

С чего бы такие мысли? И ведь всерьез! Наверное, это уже не был Рай... Ох уж это взросление!

* * *

Подобно эпидемиям, вспыхивали различные мальчишеские кампании. Вдруг все принимались изготавливать поджиги — под безобидными предложениями умоляли родителей принести с работы медные трубки, желательно бесшовные. Трубки гнулись, заклепывались, делался пропил, потом набивались спичечными головками, и — гремели выстрелы. Или начиналось новое поветрие — устройство взрывпакетов: добывались кусочки магния, напильниками точились опилки. В результате в глазное отделение областной больницы попали и колмовские мальчишки.

То мы начинали учиться метать ножи, и тетя Света ходила по родителям с жалобами на бандитов, которым «ее дурак Вовка» отдал «в работу» столовый набор мельхиоровых ножей. (Не такой уж он был и жмот, Вовка Бобров!)

Естественно, что при таком безудержном образе жизни мы неоднократно вступали во взаимоотношения с милицией. Начинались они со стычек с дээндэшниками — членами доблестной добровольной народной дружины. Существовала такая социалистическая повинность: бедолагам в очередь на производстве повязывали на руки красные повязки и отправляли после инструктажа в опорном пункте милиции патрулировать улицы в поисках нарушителей порядка. Большинство блюстителей порядка, чтобы не так было скучно болтаться, сами кооперировались для выпивки. Мы, мальчишки, резко отрицательно относились к такой несправедливости. Как же! Пьяные дяденьки цеплялись к нам за то, что мы — всего-то! — собирались в беседке, чтобы перекинуться в картишки да покурить. Ты бы лучше настоящих преступников ловил, дядя!

Во дворе шестнадцатого дома, под вишневым деревом, мы построили из наворованных досок будку, в которой укрывались от дождя и надоедания взрослых. Недолго мы там квартировали: бдительные милиционеры устроили облаву и всех повязали.

Теперь, когда нам кажется, что мир катится в пропасть, невредно припомнить, как мы, такие нынче правильные, лазили по чужим сараям, а однажды (дело прошлое) кто-то из нас неосторожно покурив так, что выгорели все сараи во дворе шестнадцатого дома, вместе с кроликами и мотоциклами. Козы спаслись.

Очень много в Колмове было коз, до самого последнего, чуть не перестроечного времени. Козы паслись на лужайках, по системе «колышек — веревка»: жалобно бекали и мекали, ведь мы, жестокосердные, постоянно их обижали...

Увлечение мопедами и мотоциклами переживали все. До рока и я переболел этой повальной болезнью: пропадал в гаражах и не столько катался, сколько

разбирал и собирал. Это теперь берут в кредит новые тачки, а тогда самые «состоятельные», непьющие и некурящие начальники имели в лучшем случае «Москвич-412». Что касается старших парней, устроившихся после службы в армии на завод регулировщиками-сборщиками телевизоров в престижный двадцать восьмой цех, то и они могли позволить себе за годовой кредит приобрести лишь «макаку» — мотоцикл «Минск». А имевших «Яву» или «Ижа-спорт» я и сегодня могу назвать поименно, загнув пальцы на одной руке. Добрыня, Гоня и Вася Гринев! Один из них (Добрыня) держал своего железного коня на четвертом этаже, в двухкомнатной квартире, где жили еще мать-учительница и сестра-двоечница. Другой (Вася Гринев) работал на гальваническом участке и там полностью хромировал своего «Ижа», с немыслимыми ухищрениями таская части туда-сюда через заводскую проходную. У Гони была красная «Ява», вдоль сиденья украшенная золотой бахромой, для чего ему пришлось вместе с младшим братом, школьником, огрести пионерскую комнату (бахрома, если помните, украшала пионерские горны). Когда колмовские молодожены ехали в загс, очень красиво смотрелся почетный эскорт из мотоциклистов. Мой сосед по подъезду, старший парень Саня Зверев, имел мотороллер «Вятка», сажал сразу по несколько пацанов: на сиденье, на багажник, на заднее и на переднее крылья — и так вез на «Пески», купаться.

Когда я, уже взрослым, работал на «Акроне» инженером по капремонтам, случайно повстречался со своим давним кумиром — Гоней: я уже был ему начальник, он — рядовой работяга в строительной бригаде: грязная, в побелке, спецуха и совершенно седая голова (прежний Гоня был жгучий брюнет, красавчик на мотоцикле). Рассказывал, что младший брательник «плохо себя ведет»: отказался «в очередь» взять к себе пожить отца, а мать, тетя Зина, давно умерла. Жаловался, что до пенсии осталось чуть-чуть доработать, а хватит ли здоровья? Сказал, что Лелик умер — был среди старших парней такой маленький, усатый крепыш: он, сидя, мог себе на живот поставить стакан — я, правда, не видел, но пацаны говорили, что на самом деле может.

Такие встречи я потом очень долго и печально вспоминал. Я им почему-то придаю большое значение. После них ощущение, будто что-то разрушилось внутри. Ведь это был мой Рай...

И я уехал из Новгорода.

Средь некошенных трав, и разрухи,
И хохлами убитых лесов,
Потребляя сердечную муку,
Подрастал (как поэт) Еграшов...

* * *

Находившийся поблизости телевизионный завод обеспечивал работой почти весь наш микрорайон. На заводе в основном выпускали секретную военную продукцию. Тогда все было секретно — шпионы косяками ходили по Новгороду, и мы, начитавшись Гайдара, занимались их выявлением. Под серьезное подозрение у нас попал дворник, гонявший нашу дворовую собаку. Ему повезло — остался неразоблаченным: мы подросли и переключились на картишки, нас самих время от времени стали задерживать.

Лишь в двух заводских цехах выпускали телевизоры «Садко»: в 15-м — чернобелые, в 28-м — цветные. На лето мы, школьники, устраивались на подработку, престижнее было попасть в 28-й цех, откуда можно было утащить звуковые дина-

мики для музыкальных колонок и тиристоры, необходимые для изготовления цветомузыки. Тогдашние телевизоры показывали только две программы, где в основном шел фильм «Али-Баба и сорок разбойников» — так в народе называли съезды и пленумы компартии, соответственно, Али-Баба — Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а остальные — члены Политбюро, их портреты мы таскали на Первомай и 7 ноября. Довольно часто крутили мультсериал «Ну, погоди!». После оповещающего крика: «Пацаны, „Ну, погоди!“ начинается!» — двор ненадолго пустел, а изо всех окон (в каждой квартире были дети!) бодро звучало знаменитое музыкальное вступление: «Ла-ла-ла-ла...»

Во дворе то и дело с разных этажей доносилось: «Миша, Коля, домой!» — «Сережа, иди обедать сейчас же!» От ребячьей кучки отделялась фигурка и с криком: «Пацаны, я сейчас!..» — спешила к подъезду. Или, наоборот, надрывный детский крик «Ма-ма! Ма-ма!» раздавался снизу. Призывы звучали в течение добрых получаса и уже начинали надоедать всем: это опять кричит Колька-нахаленок с третьего этажа нашего подъезда. «Что тебе?» — не сразу отзывалась его дородная мамаша, повариха из нашей школы. «Мама, скинь мне ножик (ножик)!» — «О Господи! Какой?» Странный вопрос: как будто у нахаленка была коллекция ножей. «С зеленой ручкой!» — ответ всегда был один и тот же, мамаша могла бы и не спрашивать...

И тогда, и теперь у меня сохраняется ощущение, что дом и улица были единым целым. И люди — одна семья. Преувеличение, конечно. Теперь не так. Все разобщены! Сидят по домам, будто сычи, у телевизоров, компьютеров.

Чтоб мог диктатор (или диктор?)
Послать убийственный приказ —
Не мы уж смотрим телевизор,
А телевизор смотрит нас.

Что мы любили — так это гонять музыку! Поставишь на окошко «Орбиту-303», врубишь «Ах, Арлекино, Арлекино!..». А снизу, с лавочки у подъезда, пацаны машут: «Дюхон, погромче!» А куда громче — и так хрип один!

На месте супермаркета «Гигант» был учебный магазин номер тридцать шесть. В нем проходили практику студентки из Кооперативного техникума. Они нам продавали «из-под прилавка» дефицитные пластинки Апрелевского завода: из симпатии или желая мира с колмовской «мафией», — про навар слова не было, много позднее, из Ленинграда и Москвы, пришло к нам разрушительное нововведение, инструмент смычки Запада с Востоком — фарцовка. Помню единственную комбинацию Сани Зверева, в простоте смекнувшего: если взять сразу трех «Демисов Руссосов», потом на них можно чего-нибудь выменять еще. Тут он поступил не по-нашему, продавщица Маринка потом оправдывалась: брал-то он и «на Дюхона», и «на Шефа».

Да, мы были много бесхитростнее нынешних искушенных ребяташек. Помню, Вовка Абакумов, Абакум-младший, тоже из нашего двора (после перестройки крупный валютный воротила), желая опередить прочих, с утра пораньше отправился по Сырковскому шоссе. Где теперь крупный гаражный комплекс, был небольшой перелесок, там мы собирали грибы и гранаты военных времен. В это время к нам приехал «Ленфильм» — снимать кино «Кадкина всякий знает». По Сырковскому шоссе неслись мотоциклы, в них «немецкие солдаты», с засученными рукавами, в касках, со шмайсерами. Паренек задами вернулся в Колмово и принялся собирать пацанов — «бить фашистов», напавших на город.

В одноэтажной пристройке за шестнадцатым домом было отделение для недоношенных детей. Мы заглядывали в окна: там под стеклянными колпаками лежали совсем малюсенькие детеныши. Их было очень много. Вообще, очень много было де-

тей — каждый двор кишел детьми, а по улицам Колмова бродили беременные женщины. Мне грустно сегодня смотреть на пустынную спортплощадку во дворе девяностого дома. Там прежде всегда было полно детворы. Одновременно играли в баскетбол, футбол, настольный теннис, остальные на скамеечке дожидались своей очереди. Асфальт во дворах сплошь разрисовывали мелом под игру в «классики», а еще, в дни района, улицы или двора устраивали конкурс детского рисунка на асфальте.

Удивительно! — при засилье комаров окна во всех домах летом были нараспашку, причем без всяких антимоскитных сеток. И души людские были — неказистые, щелястые, облупившиеся, но нараспашку, настезь.

...О народ мой! — рванина беспутная,
Чья, наверно, бессмертна душа,
Сотворивший из Пушкина Пушкина,
Сотвори из меня Еграша!

Послесловие

Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберете в житницу мою.

Евангелие от Матфея, 13, 24–30

Довольно распространенная и ошибочная расшифровка собственной судьбы — разочарование. Чтобы так опасно не заблудиться, непременно следует просвещаться в вере отцов. Потому что взрослому человеку (который, по секрету скажу, вовсе никакой и не взрослый, а возомнивший о себе невесть что инфантильный бедолага) тоже необходима надежда. Обязательно надо ждать чего-то по-настоящему хорошего... иначе — тупик! — как в популярной игре семидесятых — домино, когда игроки стучали по столу бесполезными костяшками:

— Рыба!

Когда меня, грешного, припрет невоготу, забудусь, прокручу в мобильнике контакты, среди разных «Иван Ивановычей» выберу «Короля» или «Джипа»... и уже готов нажать кнопку вызова, чтобы услышать голос из колмовского Рая: «Здорово, Дюхон!», но...

...Но лысый и толстый Король «бомбит» в такси, зарабатывая своей, уже второй, семье денежку на синтетическую колбасу, недолговечные шмотки и компьютерные игрушки. Я знаю, он с удовольствием «перетрет» со мной пару-тройку минут, пока диспетчер не пришлет ему новый вызов, но после той «терки» томительная грусть лишь усилится...

Поговорить толком с Джипом, скорее всего, вообще не получится... Так, пара вежливых фраз: «В порядке?» — «В порядке!» — «Надо!..» — «Да, надо!... как-нибудь... Давай не пропадай! Звони!»

Да... В том-то и оно, что — «в порядке»!

Вот ведь как — пока мы «в порядке» — мы «не в порядке», а когда мы «не в порядке», потихоньку приходим в порядок.

«Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали!»

Из безмятежного Колмова семидесятых шарахнуло меня в невысказанно скорбную реальность иного века. Вокруг меня плотно болят и умирают люди, в чем я научился находить повод для оптимизма, как ни странно или даже кощунственно прозвучит такое заявление.

Конечно, люди всегда болели и умирали; такое, наверное, случалось близко и от меня, но как-то так — как в день смерти Брежнева, когда мы, «золотая» молодежь, в институтском вестибюле оказались сторонними наблюдателями маленькой житейской трагедии за пыльным витринным стеклом, где на высоких ступеньках ждал трепыхался очередной статист, «неудачник по жизни».

Но «будут первые последними, и последние первыми!» (Мк, 10, 31). В русской сказке обязательны увлекательное начало, злая середина и добрый конец.

Я сам, инвалид Духа, с советским протезом взамен Божественной совести, завалился на ступенях жизни, никому из прежних приятелей особенно не интересный, по милости Божьей вдруг понял и принял: где смерть и болезнь вместо веселых «возможностей», там простота и мудрость вместо пустых понтов и насмешливого юмора. И хотя у этих людей уже совсем немного остается времени, но оно у них — для тебя: и снова можно говорить о детстве, о самом главном, и тебя слушают, слышат и понимают. И можно снова безмятежно чувствовать себя колмовским Дюхоном...

Что же до мира внешнего...

Напоследок из длинного ряда воспоминаний протиснулось странное... Колмовских дурачков было трое: ребята Игорек и Сережа и дурачок взрослый, про которого много позже узнал, что это был Божий человек, блаженный Василий Новгородский. Впрочем, дурачки — все Божии! Но откуда нам было о том знать! Одни пацаны их обижали, другие — защищали, третьи — не обращали на них внимания. Не скажу, что обидчики выросли злыднями — жизнь круто перемешала вторых и первых; худшими оказались, как ни странно, третьи — равнодушные!

Из них, пожалуй, и состоялись безжалостные к родительской вотчине «умники». Да мы и сами будто дурачки были: чего ждали? — пока кошка в подъезде окопится, мамкиного обеденного перерыва под строгим запретом одним уходить на реку, первого снега. Любви, повестки, письма, демобилизации, рождения ребенка — жизнь плотно состояла из дурацких ожиданий, не оттого ль называясь жизнью? Было чего ждать, где разгуляться, хоть бы и взрослому дурачку. Просто так, как известно, делает дурак! Побродить по городу — просто так, просто так на лавочке посидеть, в гости — запросто, без звонка, без записи — просто так... на крышу забираться любили, некоторые там устраивали голубятни.

Говорят, мол, две беды у русских — дураки и дороги. У новой эпохи пострашней беда: вовсе не осталось дураков на Руси, повывелись; не плюй — в умного попадешь!

Права оказались пустыми, возможности — скучными и ограниченными. Жизнь — не жизнь, а существование со вкусом жизни, искусственным ароматизатором.

Зато развернулись по полной умники — некрофилы, чье блаженство упаковано в пластик.

...Сдается мне — не я состарился. Обветшал мир вокруг меня.

Чего ждать в состарившемся мире?

Обновления. Иначе никак.

Инна МЕЛЬНИЦКАЯ

ПРОСТИ МЕНЯ, ИТАЛИЯ!

Диптих

*Памяти Владлены Костенко и всем Альпини,
уже ушедшим и еще живым, а также
Луиджи Марио Вигано, Серджио Галло и Пино Скагга посвящается*

Серебряная роза

С чего это все началось? С Владлены. Вы не знали Владлены? Жаль, ах как жаль! Вот нет ее — и мы все осиротели. А я, наверное, горше всех.

Не знаю, сколько ей было лет, когда мы с ней познакомились. Категория возраста к ней просто неприменима.

У нее были ясное лицо девочки-подростка, прелестное пионерское лицо, летучие пионерские волосы («Жора сам меня стрижет!»), звонкий, светлый голос, и роста она была пионерского — и вообще вся какая-то первомайская. Мне она напоминала жаворонка: такая же маленькая, такая же трепетная и тоже вся — как подарок тебе!

Вот попробуйте — представьте себе жаворонка, хоть на минутку! Как он журчит в весеннем небе — маленький, отважный, праздничный — и весь струится, трепещет короткими, словно детскими, крылышками. Он может быть голоден, может быть, ему холодно там, в небе; может даже, он вот-вот, окоченев, упадет камушком на землю — мне случалось в дни весенних заморозков подбирать их, замерзших. Одних удавалось отогреть, других доводилось хоронить в саду — но пока жаворонки живы, они дарят тебе радость...

Вот такой была Владлена. Теперь вы знаете, какой она была.

Мне кажется, она меня тоже любила. То есть меня, может быть, и нет — она любила мои рассказы.

Нет, вы не думайте — она их строго любила. У нее было удивительное чувство слова, звука, интонации, и если она, просматривая текст, походившая поставит на полях

Инна Владимировна Мельницкая — поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на белорусский, молдавский, молдавский и итальянский языки, выходили в русскоязычных изданиях США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью Associazione Nazionale Alpini в 1993 году, а в 1998 году была приглашена британской киностудией Би-би-си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждены премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины-2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, — международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года-2005», в 2013 году за сборник повестей и рассказов «Страна моего детства» отмечена премией Слобожанщины — «Народное признание».

беглую «галочку», — можешь быть уверена: в этой строчке обязательно сидит какая-то блоха, и ты ее непременно найдешь.

Надо сказать, мы не всегда сходились в оценке. Это естественно: ведь рассказы твои и стихи — это же твои дети, и, как дети, они рождаются разными и — увы! — совсем не обязательно все умники и писанные красавцы. Но и тот, который не очень удался, — он же не виноват, что таким уродился! Бывает, Оно запросилось на выход, написалось — ну, вот такое вышло! Есть такое слово украинское — «недолуге». Очень точное слово, я такого русского не знаю. Ты и раздражаешься порой, и стыдишься его немного — неловко тебе! — но ведь все равно оно твое, родное, хоть и неудалое — вот и жалеешь его.

Бывало, спрашивают тебя, что ты написала за последнее время — покажи! И ты его украдкой в сторонку — «недолуге» же! А Владлена — цап! «А это что?» Ты мямлишь: да так, мол... «Нет-нет, давайте сюда — оно мне как раз ложится в передачу!»

Ты отдаешь с неохотой и сомнением. Владлена делает передачу — да, я ведь и забыла сказать, что была она главным редактором отдела художественного вещания областного радио. Ну вот, делает она передачу — и так как-то подает твоего бедного детеныша, что тебе буквально обрывают телефон взволнованные слушатели, и ты вдруг понимаешь, что нечаянно сказала в нем что-то драгоценное, чего и сама не заметила, — а она сразу ухватила.

Зато бывало и так: приношу я Владлене очередное детище и с тайным чувством удовлетворения кладу перед ней на стол, как курочка-несушка, только что положившая теплое, смуглое яичко, — а она быстро пробегает текст глазами и со скучным лицом, скучным голосом говорит: «Ну да, ну да, — это как-нибудь в другой раз...» Значит, в бойко написавшемся рассказике чего-то — может быть, одной-единственной нотки, слова одного, мелочи какой-то — не хватает, но без нее он не живет. И я забираю его с досадой, и потом, с досадой перечитывая в пятый или двадцать пятый раз, вдруг отчетливо вижу, чего Владлена от меня хочет.

Помните, как у Сурикова, когда он писал «Переход Суворова через Альпы», — там у него один немолодой солдат срывается в пропасть? Так вот не хотел он падать — и все тут! Сто раз художник его переписывал — не падает окаянный, хоть убей! Сидит на краю обрыва, как курица на нашесте. И тут Сурикову пришло в голову: вывернул ему локти — несуразно, неестественно — и полетел голубчик в пропасть как миленький!

Вот так — найдешь эту мелочь, эту драгоценную нотку — и заиграет все. А если бы не Владлена...

Так вот, полюбилась Владлене моя новелла об итальянцах — об армии Alpini, альпийских стрелков, которая в полном составе заявила, что выходит из войны, и, бросив фронт по Среднему Дону, пошла домой. Немцы жестоко наказали вчерашних союзников. Расстрелять целую армию, согласитесь, было как-то неудобно: союзники все-таки! У них отобрали все продовольствие, все транспортные средства — тупорылые «фиаты» и кротких ушастых мулов, отобрали оружие и по всей оккупированной территории объявили: итальянцев на ночлег не пускать, еды им не давать — за нарушение приказа расстрел. В выборе меры наказания оккупационные власти, как известно, не затруднялись: либо повешение, либо расстрел — *tertium non datur!* Зимы стояли лютые: морозы до сорока градусов, вот и брели по Украине упрямые, отчаянные южане в хлипких шинелишках на рыбьем меху, обмотанные бог весть какими тряпками, — и люди, ходившие на менку, рассказывали, что повсюду вдоль дорог, как мухи в молоке, темнеют на снегу трупы в зеленых итальянских шинелях. Но наши горемычные бабы, рискуя жизнью, все-таки порой

пускали бедняг ночевать и делились с ними последним куском, потому что это были уже не враги, а просто чьи-то дети, чьи-то сыновья, голодные, обмороженные, погибающие ни за что в чужом краю.

Как-то так получилось, что вроде бы до меня никто еще об этом не писал — я, оказалось, первая, — и осторожное начальство сказала Владлене, что для такой передачи надо запрашивать разрешения МИДа. А кто, скажите, станет беспокоить МИД ради получасовой передачи?

Ну, погорчались мы — и решили жить дальше. А что оставалось делать?

Прошло некоторое время, прошли некоторые передачи — и вдруг звонок! Владлена! «Немедленно несите! Сказали, можно. Сейчас можно — а вдруг опять будет нельзя?»

Я и завтракать не стала — так, глотнула чайку и побежала.

Прибежала, принесла, начитала (я всегда себя сама читаю, не люблю, чтобы другие) — полдела сделано! Теперь, говорит Владлена, надо такое предисловие сочинить, чтобы никто из наших не придрался: почему вдруг сейчас о войне? И почему об итальянцах? Тут, сами знаете, «не так паны, як паненята». У них главный принцип: лучше перебдеть, чем недобдеть — а то как бы чего не вышло! Короче, надо подумать о мотивации.

Ну что ж, будем думать!

Пошла домой. Иду и старательно думаю. Ничего в голову не приходит. Ну почему сейчас? Да потому что раньше не давали!

И тут идет мне навстречу ветеран один знакомый — шустренький такой, ему за восемьдесят, а он как огурчик, и щеки розовые.

— Что это, — спрашивает, — Инночка, у вас вид такой озабоченный?

— Не озабоченный, — говорю, — а озадаченный. В обоих смыслах.

И объясняю ему, какая передо мной задача поставлена.

— Ну, тогда, — говорит, — считайте, что меня вам сам Бог послал.

И рассказал мне, что не так давно в город наш приезжало трое итальянцев — их в сорок третьем году спасла какая-то женщина — точь-в-точь как в моей новелле: полуживых пустила в хату переночевать, отогрела, накормила, и вот теперь — через сорок с лишним лет! — они приехали сюда, чтобы отыскать ее, поблагодарить, подарки привезли — а им не разрешили ее разыскивать, потому что жила она в поселке Лиман, а это вроде бы то ли за пределами дозволенной иностранцам зоны, то ли объект там какой-то стратегический. Словом, как всегда, — как бы чего не вышло!

Интурист отфутолил их в Общество культурных связей с границей. Кончилось тем, что они оставили свои подарки в этом обществе с просьбой передать по назначению — и уехали ни с чем. Короче, надо мне идти на улицу Скрипника, в Дом учителя, где помещается это общество, и там, на тарелочке с голубой каемочкой, ждет меня мотивация для нашей передачи.

Я, конечно, галопом на Скрипника, а там, оказывается, их аж два: Общество культурных связей с границей и Общество борьбы за мир и дружбу народов или еще что-то в этом роде — прямо близнецы-братья. И оба помещаются в одном зале, только в разных углах: один стол побольше и посolidней, другой — поменьше и поскромней. И там, и там начальствуют дамы. Мне повезло: той, что посolidнее, не было — на месте оказалась та, что поскромней. Она мне все подробно рассказала. Оказывается, итальянцев было действительно трое, двое постарше, один помладше — в войну ему было восемнадцать. Так вот, тот, что помладше, уже пять писем прислал после отъезда: все спрашивает, не нашли ли ту женщину. Никто ее,

конечно, не искал, а подарками распорядились сами — то есть та дама, что посolidнее. Подарков было два: большая шаль изумительной красоты и синяя бархатная шкатулка с серебряной розой. Шаль начальница куда-то пристроила, а серебряная роза осталась в обществе как символ дружбы наших народов.

Одним словом, к тому времени, когда наконец явилась главная дама, я уже была во всеоружии, ибо недаром говорят: информирован — значит вооружен.

Дама оказалась величественной пергидролевой блондинкой с пышной прической а-ля Бабетта, — правда, вышедшей из моды, но вполне соответствующей ее комплекции и статусу, — и со столь же пышным именем Жанна. Я представилась ей как корреспондент областного радио и сказала, что нам стало известно все сказанное выше и я хотела бы узнать, что предпринято обществом, чтобы найти упомянутую женщину и вручить ей упомянутые подарки. Дама набухла малиновым румянцем и строго-бдительно спросила, откуда у меня такие сведения, на что я, авторитетно задрвав подбородок, ответила, что, согласно журналистской этике, не обязана оглашать источник информации.

Дама заерзала на стуле, как кошка в засаде, но сдержалась и сказала, что, поскольку адресата найти не удалось, шаль вручили другой русской матери, у которой сын погиб на войне. Я поинтересовалась фамилией и местом проживания этой русской матери и по градусу накала заподозрила, что, по всей вероятности, шаль осела в гардеробе самой начальницы — тем более что фамилию осчастливленной она назвала после некоторого колебания.

А роза?

Розу мне показали: она была прелестна и трогательна, но больше самой розы меня потрясло приложенное к ней письмо. Оно было написано по-русски — или, вернее, писавший его думал, что пишет по-русски — и по всему периметру листа, по самому краю его были нарисованы крохотные цветочки. От этого, честное слово, перехватывало горло! Вот оно, это письмо, — я переписала его очень старательно, со всеми его особенностями, и можете быть уверены — сохранию навсегда:

Письмо Луиджи Вигано из Милана Русской Маме

Спасибо тебе, русская мама!
Мы не забыли твою доброту!
Ты в нас увидела своих сыновей,
истощенных от голода, изнеможенных,
страдающих, нуждающихся в помощи.
Прими эту розу
в знак благодарности
от итальянского солдата.
1943–1985

ПОСВЯЩАЕТСЯ РУССКОЙ МАМЕ, КОТОРАЯ В ДАЛЕКОЙ ДЕРЕВНЕ ЛИМАН ВО ВРЕМЯ НАШЕГО ОТСТУПЛЕНИЯ СТАЛА ДЛЯ НАС, ХОТЬ И НА НЕКОЛЬКО ЧАСОВ, МАМОЙ.

Были чужеземцами, врагами против нашей воли, и все же сколько доброты в твоих глазах, мама!!!

Твой сын, плоть твоего тела, солдат, как и мы, защищая страну от вражеского нашествия, пропал без вести. Уже много месяцев не было от него никаких известий. Может быть, погиб от вражеской пули, и все же ты по отношению к нам, несмотря на то, что мы считались вражескими захватчиками, твое сердце смогло

преодолеть все барьеры, человеческое негодование, и увидела в нас несчастных сыновей другой матери, страдающей, как и Ты, по своему пропавшему сыну, чувствующей ту же самую боль.

Твои слезы слились с нашими, Ты обняла нас, как может обнимать только Мать своего собственного сына!

Накормила и приютила на ночь в той же комнате, рядом с твоими детьми, потому что в нас ты не видела чужеземных врагов, а видела сыновей, истощенных от голода, изнеможенных, страдающих, нуждающихся в помощи.

Ты, маленькая Мать неизвестной далекой деревни Лиман, которую мы трое никогда не забудем, помогла нам со всей сердечной добротой, и, надеюсь, судьба вознаградила тебя, дала тебе счастье вновь обнять Твоего живого и здорового сына, о котором Ты пролила, в то далекое время, немало слез.

Не спросили твоего имени, Ты для нас была и останешься МАМОЙ.

Где бы Ты ни была, будь благословенна!!!

Пока я, вежливо испросив разрешения, переписывала это, дама, не скрывая раздражения, перекладывала какие-то бумаги, звонила куда-то по телефону, всячески демонстрируя занятость, по меньшей мере, государственной важности. Но дело надо было доводить до конца, поэтому я, поставив последний восклицательный знак и подавив волнение, снова приняла официальный вид и тон и заявила, что хотела бы также ознакомиться с письмами, которые приходят из Милана.

— С письмами! — высокомерно фыркнула дама. — Так они по-итальянски!

— Ничего, — небрежно обронила я, — это не проблема.

Уязвленная дама прикусила губу: такого нахальства она не ожидала. Честно говоря, я от себя — тоже, но что поделаешь: назвался груздем — полезай в кузов! Смелость, как говорится, города берет!

Писем было пять — по числу прошедших месяцев. Опираясь на сохранившиеся в памяти крохи французского факультатива и скудную университетскую латынь, я все-таки кое-как их одолела. Писал их все тот же Луиджи Вигано — и ни на одно, по-видимому, не получил ответа.

— А что вы хотите, — рванулась в контратаку дама, — в Харьковской области пять поселков под названием Лиман. К тому же мы не знаем ни имени, ни фамилии этой женщины. Как прикажете ее искать?

— Ну, положим, вернее всего, это Лиман Змиевского района — так они шли, — бодро возразила я, — но это не так уж важно. Можно обратиться в районные газеты, объявить в нашей передаче по областному радио, рассказать эту историю...

— Только попробуйте, — взвилась дама, — только попробуйте — и это будет ваша последняя передача! Может, эта женщина не погибающих пожалела, а сознательно оказывала содействие врагу!

Ох, определенно шаль у нее пригрелась — иначе откуда такая страстная бдительность? Ну, ладно — я сдержанно попрощалась и ушла, оставив даму в растрепанных чувствах. Теперь, в конце концов, можно было и позавтракать.

Предисловие к новелле (вступление к передаче) я написала в тот же день, но решила не дразнить гусей — написала вполне обтекаемо. Сами подумайте: разве я могла подставить под удар моего жаворонка? Уж больно агрессивна эта дама была настроена — «не чіпай лиха», как говорится! Но для себя я составила четкий план действий: я найду ее, эту женщину! Если нет ее в живых, детей ее найду! И все очень просто: этот Вигано (кстати, у него оказалось аж три имени — живут же люди!) — так вот, этот Луиджи Виктор Марио Вигано написал, что у хозяйки было

четверо детей: двое сыновей и две дочери. Старший сын где-то на фронте — от него не было вестей с начала войны, а старшая дочь Дуся, двадцатилетняя красавица, перед войной была учительницей младших классов сельской школы. Мой план был прост, как дважды два: имя Евдокия не такое уж частое; надо обратиться в архивы рай- или облоно и искать учительницу младших классов по имени Евдокия, которой в то далекое время было двадцать лет. И начинать с поселка Лиман Змиевского района. Вот и все.

Передача прошла с успехом и без осложнений. Грозная дама не подавала никаких признаков жизни, Владлена цвела, как майская роза: и ей, и мне слушатели просто обрывали телефон. Последний звонок прозвучал вечером, с вокзала.

Звонила столичная журналистка. Имя ее было мне знакомо — назовем ее Ирина: она училась в нашей школе, несколькими классами старше меня, а после школы как-то быстро продвинулась куда-то вверх по комсомольской линии.

— Это твой рассказ передавали по радио?

Я подтвердила: мой.

— Целый день не могла к тебе пробиться. Успех! А ты ее разыскивать не собираешься, эту женщину?

Ну как это не собираюсь! Я четко — и, честно говоря, не без тайной гордости — изложила свой план, на что она не менее четко отреагировала:

— У меня через двадцать минут поезд. Ты без меня ничего не предпринимай. Я через неделю приеду, и мы ее найдем.

Признаться, меня несколько озадачили командные нотки в ее голосе — руководящий работник, понятное дело! — я хотела было сказать, что и сама справлюсь, все продумано — но в трубке зазвучали гудки. Ну конечно: ей же на поезд!

Через неделю она приехала. План мой сработал: мы без особого труда нашли учительницу младших классов Евдокию Скубинь, а с ней и всю семью. Матери, к сожалению, уже не было в живых, но пропавшего было без вести сына она еще успела дожидаться и даже успела понянчить внука. Дуся по-прежнему работала в школе. Ни она, ни младшие брат и сестра не слышали нашей передачи, но без труда вспомнили тот далекий зимний вечер, когда к ним в окно постучались трое — три обмороженных, оголодавших чужака в зеленых шинелях — и как мать, взглянув на младшего, всплеснула руками — ой, лышечко! — и заплакала, и кинулась в чулан за картошкой, а потом, глядя, как они, стыдясь, торопливо и жадно ели, все вздыхала и вытирала глаза краешком платка.

Дуся дала нам две фотографии — довоенную всей семьи и послевоенную, матери с внуком на руках, — и мы послали их в Милан, благо я заблаговременно списала адрес, когда читала письма. Собственно, «мы послали» звучит не совсем точно — столичная журналистка сразу провозгласила словами Великого Комбинатора: «Командовать парадом буду я!» Еще бы: как журналисту упустить такой сюжет! Я все понимала и, честно говоря, испытывала некоторую ревность к ходу событий: ведь это с моей подачи, по моему плану они развивались, — но, в конце концов, какая разница, кто стоит во главе угла? Главное, что план оказался успешным — мы ее нашли! Письмо полетело в Милан, и вскоре пришел взволнованный ответ: Луиджи, он же Виктор, он же Марио узнал на фотографиях Дусю и ее мать и непременно приедет! И не случайно — нет-нет, не случайно его спасительницу зовут так же, как его мать и как Матерь Божию — Мария! И сам он, как многие итальянцы, тоже носит это имя — это тоже не случайно! Он приедет, он должен приехать, и возложить цветы на ее могилу, и сказать ей все слова, которые столько лет носит в своей душе!

В большой столичной газете вышла большая волнительная статья под названием «Серебряная роза». Справедливости ради должна сказать, что в ней упоминались и я, и моя новелла, с которой все начиналось, но, правда, только так — в качестве элементов композиции.

Прошло еще некоторое время — и в моей квартире действительно зазвучал звонок междугородки. Это была Ирина, та самая журналистка: «Такого-то числа мы приезжаем. Будь готова». — «Кто — мы?» — «Ну, как кто — я и Луиджи!» Двое других, старших, приехать уже не смогли

Ну вот — конечно, все правильно! Разве я сумела бы так быстро добыть переводчика, вытребовать у городских властей две машины, чтобы повезти Луиджи в Лиман и организовать ему торжественную встречу в школе, где работала Дуся? И все-таки немножко обидно, что мне было сказано: «А ты садись во вторую машину» — так, что до самого Лимана я не успела даже парой слов обменяться с гостем. Он ехал в первой машине с Ириной, переводчиком и каким-то не то районным, не то городским начальством. Во второй — я, завуч лиманской школы и кто-то еще. По дороге завуч рассказала, что незадолго до нашего приезда Дуся скорострительно умерла, и похоронены они с матерью на разных кладбищах. Вот почему за задним стеклом идущей впереди машины маячат два огромных букета желтых роз: прежде чем заехать в поселок, Луиджи хотел поклониться обеим могилам.

На первом кладбище, где была похоронена Мария, к могиле мы подошли все вместе, нас провела завуч, но в первые же минуты мной овладело мучительное чувство неловкости: наше присутствие здесь, при встрече этих двоих, было не просто неуместно — оно было почти кощунственно. Я невольно попятилась — вместе со мной без слов отошли и другие. Мы стояли в стороне и молча смотрели, как взволнованно и нежно немолодой, невысокий, седой человек гладил выцветшую фотографию на памятнике, как опраивлял цветы на могиле и бормотал на голубином своем языке им одним понятные тихие слова. Наговорившись с Марией, он обратился к Богу. Он говорил с Ним так страстно и убедительно, прижимая руки к лацканам серого пиджака, что было ясно: Тот должен услышать его молитву!

Потихоньку, стараясь не хрустеть гравием, мы отошли к машинам, чтобы не мешать. Минут через пятнадцать Луиджи присоединился к нам. Размягченное, помолодевшее от волнения лицо его горело пятнами румянца.

Еще одно кладбище, еще одна могила. Еще один букет желтых роз и долгая молитва. На этот раз мы благоразумно остались у машин: пусть поговорят наедине — им есть что сказать друг другу. А нам было о чем подумать. Да, нам было о чем подумать и что и с чем сравнить.

Прямо с кладбища нас повезли в школу. На пороге нас встретила кучка нарядных женщин: директриса, завуч младших классов и несколько учительниц разного возраста, но удивительно похожих друг на друга праздничным — нет, *парадным* выражением лица. Одна из них, явно волнуясь, выступила вперед: это была Дусина сестра Рая, самая младшая в семье, теперь уже тоже учительница. Вы бы видели Луиджи в эту минуту! Растерянно всплеснув руками, он отступил было на шаг — и бросился обнимать ее, что-то восклицая и оглядываясь на нас, словно призывая нас быть свидетелями чему-то невероятному.

— Он говорит, — подсказал нам переводчик, — он говорит, что, когда впервые ее увидел, ей было шесть лет. Измученные, замерзшие, они, уже без надежды, постучались в окно, где, как им показалось, в щелочке мелькнул слабый свет. На стук чья-то маленькая рука отогнула уголок одеяла, которым было занавешено окно, и они увидели детскую головку в светлых кудряшках. Луиджи говорит, он подумал, что, наверное, уже умер и видит ангела на пороге рая.

Кто-то засмеялся, но мне почему-то не было смешно.

Нас повели в Дусин класс — так попросил Луиджи. После Дусиной смерти класс приняла Рая.

Дети во все глаза смотрели на первого в их жизни настоящего иностранца, слушали его быструю, взволнованную речь, которую через пень-колоду торопливо передавал им переводчик. По команде учительницы несколько записных отличников очень громко и очень старательно продекламировали какие-то стихи, из которых гость, конечно, ничего не понял; потом ему поднесли альбом, в котором он как почетный гость должен был что-то написать им на память. Тут он совсем разволновался — он так ответственно отнесся к этой обязанности! Весь класс, затаив дыхание, следил, как он, прикусив губу и поминутно о чем-то советуясь с переводчиком, царапал страницу непослушным пером. А потом, совсем неожиданно — для меня, во всяком случае — произошло нечто, наверное, не предусмотренное сценарием: гость водрузил на стол большую сумку, которую все время таскал за ним переводчик — класс немедленно насторожился! — и стал раздавать детворе подарки в память о Дусе — о первой учительнице, ушедшей от них навсегда. Класс зашевелился и зажужжал, как потревоженный улей. Еще бы — вдруг какие-то подарки, да еще заграничные! И притом разные — кому что достанется? Хотя подарок — любой — вот так, ни за что — все равно приятно! Хотя непонятно — ну, пустили его когда-то погреться, ну, накормили картошкой — и что? Чтобы вот так, через столько лет ехать куда-то за тридевять земель, тратить кучу денег на подарки каким-то чужим детям? Зачем?

Однако постепенно на некоторых мордашках радостное оживление стало сменяться напряженной работой мысли: почему у этого странного гостя срывается голос и дрожат губы, когда он гладит их стриженные головенки?

У меня тоже сдавило горло и предательски зашекотало в носу, и я поняла: нет, недаром этот человек — этот Человек сюда приехал! И может быть, недаром не только для себя — для нас и для этих детей...

А потом мы сидели за столом, в той самой хате — добротнo ее выстроил хозяин перед тем, как ушел на войну! — и Луиджи снова, волнуясь, вспоминал над тарелкой со стынувшим винно-золотым борщом, как они шли в трескучий голубой мороз по мертво молчащей стылой деревне. Ни голоса, ни лая собак — только хруст снега под ногами да натруженное дыхание из простуженной груди. И вдруг — щелочка живого света в окне, как последний луч надежды... Вот в этом? Нет, в этом, наверное...

И Рая, удивляясь, подтверждает: да, в этом... Кажется, в этом.

Наш переводчик с трудом продирается сквозь путаницу их воспоминаний. Да он, оказывается, и не переводчик вовсе, а так — мелкий бизнесмен, как это модно сейчас называть. Просто отец у него был итальянец; они с матерью познакомились в Германии, куда она была угнана на работу. Отсюда имя — Марио — да кой-какое знание итальянского языка. Откуда Ирина его выудила, не знаю — все-таки она молодец! Куда там мне до ее оперативности!

На столе появляются вареники — и тут вдруг все почему-то оборачиваются ко мне. А-а, это Луиджи спросил, с чего все началось — откуда узнали о том, что они втроем приезжали в Харьков, о шали, о серебряной розе, и как удалось разыскать Марию и Дусю.

И я рассказываю, как родилась моя невыдуманная новелла: как в далекую, суровую, голодную зиму сорок третьего довелось мне заночевать у своей подружки. С наступлением комендантского часа, то есть после четырех, ходить по городу не

разрешалось. У подружки топилась «буржуйка», и воду они брали не из проруби — сравнительно недалеко была колонка, так что меня даже напоили чаем из вишневых веточек с паренками вместо сахара. Знаете, что такое паренки? Это харьковское изобретение. Зимой сорок первого—сорок второго фронт стоял под Роганью, в каких-то двадцати километрах, из города никого не выпускали, и свекла в прифронтовых полях так и осталась необранной. Потом фронт откатился, и люди, кто посмелее, стали выкапывать эту перезимовавшую свеклу. Ну, какая погнила, а какая все-таки уцелела — так вот эту, перемерзшую, нарезали соломкой, как для борща, и пекли, а потом с кипятком — вместо сахара...

Одним словом, почаевали мы, угрелись и собрались было уже и спать ложиться, чтобы коптилку зря не жечь — как вдруг стук в дверь. Спрашивается, кто это может быть — в такое время? А стук все настойчивей. Немцы, что ли? Или полицаи? Этим не откроешь — сломают двери! А зима ведь — как проживешь без дверей? Бедная тетя Шура, сама не своя от страха, открыла — а там итальянцы. Двое! Тряпками какими-то обмотаны, грязные — но карабины при них. А как увидели, что «буржуйка» топится — у них аж слезы на глаза навернулись! Ну что с ними делать? Впустить — так за это ж расстрел. Нет — так у них же карабины! Не знаю, что уж там взяло верх — страх или жалость, только оставила их тетя Шура, и кипятку дала с паренками — больше-то и не было ничего, и даже воды дала умыться. А потом они расстелили на полу у печки свои шинелишки и улеглись спать, счастливые. А рано утром, еще затемно, ушли, чтобы не накликасть на нас беды. Уходя, один из них поцеловал тете Шуре руку и, сняв с себя распятие, надел ей на шею.

Вот, собственно, и вся история. Не знаю, насколько полно Марио ее перевел, но у Луиджи навернулись слезы. Он что-то заговорил — быстро-быстро, взволнованно, оборачиваясь то ко мне, то к переводчику, прижимая руки к груди: оказывается, он просит — он очень хочет повезти этот рассказ в Италию! Неважно, что он не может читать по-русски: там найдутся люди, знающие язык. Его обязательно переведут: это очень важно для Alpini, для тех, кто еще жив! Его товарищи — те, что приезжали с ним, — они уже не в состоянии приехать, у самого старшего был инсульт, второй тоже болеет — но как они будут рады! Как это важно, чтобы мы — здесь — поняли их! Ведь мы, наверное, не знаем — а ветераны Alpini, те, что еще живы, обратились к правительству Италии с тем, чтобы их не хоронили на общих воинских кладбищах — они не хотят лежать рядом с фашистами!

Господи, как хорошо, что я случайно прихватила с собой свою книжку! Да нет, не случайно — я ее для Ирины захватила, но обойдется Ирина, как-нибудь в другой раз подарю! Я передаю ее со своего дальнего конца стола, небольшую, неказистую — и если бы вы видели, как вспыхивает, как освещается радостью его лицо! Как ребенок, он гладит мягкую серую обложку, поднимает на меня глаза — и на секунду возникает ощущение, что мы с ним одни здесь из того страшного, того священного времени, непостижимо породнившего нас. Он что-то произносит — беззвучно, но я читаю по губам: *grazia!* Спасибо! И меня обдает горячей волной, как глоток церковного вина — святое причастие! Короткая пауза — словно полет в машине времени, — и вдруг Луиджи стремительно срывается с места, бежит куда-то к двери — нет, к своей сумке, приютившейся в уголке, — что-то достает и оборачивается к нам, нестерпимо сияя мохнатыми глазами. В руках у него тощенькая тетрабочка — что это? Прижимая тетрабочку к груди, он обрушивает на переводчика поток счастливо взволнованных слов.

Марио-переводчик беспомощно барахтается в этой лавине, но главное мы понимаем: эта тетрабочка — ксерокопия дневника, который восемнадцатилетний солдат пытался вести в то грозное время. Тут даже есть фотография: такими они

пришли домой! Он думал подарить эту тетрабочку Дусе, но теперь он дарит ее мне, чтобы я донесла до людей всю правду о том, как это было.

Я смотрю на эту фотографию: три темных фигуры на тусклом сером фоне — то ли ксерокс никчемный, то ли фотография плохая; лиц не различить, но мне кажется, что это скульптурная группа — монумент под названием «Возвращение с войны»!

Ирина непроизвольно передергивает плечами — видимо, ее задело, что она вдруг оказалась не в фокусе. Голос ее звучит резковато и громче, чем нужно, когда она хвалит вкусный обед и благодарит хозяйку; к ней присоединяются остальные, а я смотрю на Раечку — и мне видится детская головка в освещенном окне, какой ее увидел Луиджи сорок с лишним лет назад.

Марио предлагает: он попросит мать перевести эти записи — она лучше его владеет итальянским, — и тогда уже я смогу привести их в порядок. Луиджи благодарно трясет его руку и оборачивает ко мне растроганное лицо. Я киваю: да-да, конечно, я постараюсь! Я обещаю, я сделаю все, что смогу!

Все, что говорится потом, как-то стирается в сознании — не то чтобы оно было незначительно, а просто оно служит фоном основному. Потом Ирина поднимается: пора возвращаться. Серебряная роза наконец обретает положенное место: Раечка любовно кладет ее на полочку перед портретом матери.

Мы выходим на темнеющую улицу, рассаживаемся по машинам, но на этот раз Луиджи просит, чтобы я ехала с ними. По дороге он рассказывает мне о своих внуках, показывает их фотографии — удивительные детские лица с прекрасными, горячими глазами, словно с картин старых итальянских мастеров. Вот этот, старший, уже хорошо играет на скрипке. Дед, оказывается, сам скрипач — вот откуда пронзительная тональность его писем!

Мы обмениваемся адресами — но я ведь не знаю итальянского!

— Ничего, — говорит Луиджи, — я выучу английский.

Марио, наш переводчик, смеется.

Всю дорогу Ирина молча слушает наш разговор. Я рассказываю Луиджи о городе и немного — совсем немножко — о себе. На углу Совнаркомовской Ирина останавливает водителя и говорит мне:

— Выходи. Тебе ведь отсюда недалеко? Мы поедем дальше. Водителю пора возвращаться.

Я несвязно, торопливо прощаюсь и вылезая из машины, машина трогается, но, дернувшись, останавливается снова. С коротким восклицанием Луиджи выскакивает из машины, хватая меня за руку и двумя руками зажимает в моей ладони какой-то мягкий комочек. Я не успеваю ни понять, ни сказать ничего. Еще секунда — и, махнув мне рукой, он захлопывает за собой дверцу «Жигулей». Ариведерчи!

Я растерянно раскрываю ладонь. На ладони, в слабо пахнущем незнакомыми духами скомканном носовом платке — распятие. Строгое распятие на цепочке белого металла, еще сохраняющее тепло другой, не моей, груди.

Сережа Петухов и медаль

Нет, дневника Луиджи я так и не получила. Марио, наш волонтер-переводчик, сказал, что мама его обещала перевести дневник недельки за две. Ну, если человек оказывает тебе любезность, неудобно наступать ему на пятки. Я позвонила в конце третьей недели. Мне ответил милый, несколько удивленный голос:

— Как, разве Ирина вам не передала? Она все забрала — и перевод, и сам дневник. Сказала, что вам передаст.

Ну да: «Казав пан: „Кожух дам!“ — та слово його тепле!»

Видно, слишком велико было искушение — ну как журналисту упустить такой сюжет!

Написать об этом Джулио у меня не хватило духу — но история на этом не кончается.

Прошло некоторое время — немалое время, — и вдруг звонок из редакции, местной газеты: тут, говорят, нам из гостиницы «Харьков» звонили. Приехали из Москвы какие-то итальянцы, разыскивают писательницу, которая об итальянцах писала, — вас, наверное?

Ну, говорю, может, и меня, а может, еще кто-нибудь писал, я же не знаю.

Оказывается, тележурналисты, аккредитованные в Москве, готовят материал об Альпини. Труба зовет!

Приехала в гостиницу. Там уже полно и газетчиков, и телевизионщиков — суета! Вроде бы телемост предполагается. Не люблю я эту режиссуру: вы садьте сюда, а вы сюда, вы спросите это, а вы скажете это — и так далее, и тому подобное. Это не по мне, мне тут делать нечего — и я потихоньку слиняла.

Но где-то недельки через две или три — звонок из Интуриста. Это уже адресно — мне. Молодой жизнерадостный баритон отрекомендовался референтом римского журналиста Пино Скачча, аккредитованного в Москве, который в настоящее время пишет книгу об Альпини. Пино убежден, что мы можем быть полезны друг другу — ведь я тоже о них писала. Когда мы можем встретиться?

Это уже было по-настоящему интересно! Встретились. Их оказалось трое: звонивший мне референт-москвич с бессмертным именем Борис Корнилов, сам Пино Скачча и какая-то странная фигура — русский, но из Италии, видимо, потомок белоэмигрантов, вроде бы тележурналист. Пино, в отличие от приезжавших до него телевизионщиков, скользивших по верхам, был, как говорится, «в теме». Он рассказал, что работает над книгой уже несколько лет. По числу погибших от голода и холода по дороге домой в ту морозную зиму в снегах Украины навечно осталась целая дивизия. Отсюда и название книги. Борис затрудняется точно перевести эпитет, но не все ли равно: «утраченная», «потерянная» или «исчезнувшая дивизия»?

Эти люди никогда не вернуться домой, их так много, что ими можно было бы населить целый город, пусть небольшой, но ГОРОД, — а сколько людей их не дождалось? Матери, жены, невесты, дети — это сколько же еще городов? Я не поняла, как Пино вышел на меня — единственное, что было ясно, это то, что к нему как-то попала моя книга — та, которую я подарила Луиджи? Наверное.

Три дня мы делились друг с другом всем, что знали. Русский итальянец больше молчал и слушал, по временам украдкой вытирая глаза. Мы его понимали: у него болели две страны, две Родины! Борис, молодой парень, не знавший войны, тоже заразился нашим волнением — он с каждым днем открывал для себя что-то новое о стране, в которой родился, о людях, среди которых жил. Расставались мы трудно — как люди, случайно, при встрече, обнаружившие свое родство. На прощание я подарила Пино свою книжку. Название — «Когда не было лета» — ему не надо было объяснять. Он дал слово, что как только выйдет его книга, он непременно мне ее пришлет — просто передаст через Бориса.

Кто же знал, что пройдет не так много времени — и между мной и Борисом ляжет государственная граница!

Покатались обыкновенные дни, несчитанные, хлопотливые, — и вдруг однажды меня оторвал от вечерней работы требовательный междугородный звонок. Звони-

ла Москва: Борис сообщил, что Пино вернулся в Рим, что книгу свою он закончил и буквально на днях она должна выйти большим тиражом. А еще — что моя тоже переведена на итальянский и вышла в печати, только я не поняла, вся или только то, что касается Альпини? Слышимость была плохая: последнее, что Борис прокричал сквозь треск и шипение, было, что он снова позвонит в ближайшее время.

Оно наступило довольно скоро, это время, но еще раньше произошло непредвиденное: в рубленой баньке, после ладного сугрева, тремя распаренными богатырями было принято судьбоносное решение, и могучая держава, за которую было пролито столько крови, в одночасье перестала существовать.

Все смешалось, все перепуталось: время (московское, киевское?), деньги (рубли, купоны?), почтовые марки и тарифы... Борис еще раз прорвался по телефону: книга вышла, он успел ее получить для меня — но неизвестно, как ее переслать. Так и оборвалась эта ниточка. Ни адреса, ни телефона Бориса я не знала.

Общаться с Ириной я не могла — что-то внутри меня категорически этому противилось. Она, по вполне понятным причинам, мне тоже не звонила. Все как будто замерло без движения — только совесть, как настырная, злая свекровь, все пилила и пилила меня: ты же обещала человеку написать о нем, он ждет — что он о тебе подумает? А я малодушно и, что греха таить, неискренне пыталась ее успокоить: а может, Ирина усовестится и пришлет мне дневник? Или признается Луиджи, что дневник у нее и что я так его и не получила?

Так оно и тянулось — стыдно сказать, как долго.

Но однажды... Вы заметили, как оно все у меня случается: вдруг, однажды? Так вот, однажды — как всегда, вдруг — зазвонил телефон: на этот раз Совет ветеранов. Серьезно настроенный женский голос уточнил, что я — это я, и с немотивированным вздохом облегчения сообщил, что вообще желательно, чтобы я явилась к ним, в Совет ветеранов, который находится по такому-то адресу. Зачем? Небывалая вещь: через Харьков в Россошь следует из Италии автопоезд ветеранов войны. Остановка будет в кемпинге, и Совет ветеранов Альпини просил обеспечить им встречу с вами (со мной то есть!).

Ничего себе! Ну, ладно, телевизионщики, Пино Скаччо, наконец — но целый автопоезд? Что от меня нужно автопоезду?

Усталая немолодая женщина в Совете ветеранов коротко объясняет ситуацию: Альпини едут в Россошь, чтобы там торжественно отметить пятидесятилетний юбилей принятия решения о выходе из войны. Харьков принимает их в кемпинге. Группа наших ветеранов встречает их хлебом-солью на окружной дороге, остальные ожидают в кемпинге. Автопоезд прибывает в пять. Мне предлагается ждать в Совете — за мной пришлют машину.

Ждем. Очень долго ждем. Смеркается. До кемпинга неблизкий путь, а до пяти уже всего ничего! Наконец отчаянный звонок: сейчас за мной придет машина! Наши старики с хлебом-солью уже который час мерзнут на окружной! Какое-то столичное начальство задерживает автопоезд в Чутово.

Едем в кемпинг. Во дворе кемпинга в густеющих сумерках топчется беспокойная толпа: ждут! Меня приглашают в какое-то служебное помещение. На массивном письменном столе — красивый, вкусно пахнущий большой каравай с блестящей корочкой и кокетливая, затейливой ручной резьбы, деревянная солоночка. Очень хочется есть!

Сию, никого не знающая, не понимающая: зачем я тут? Наконец в коридоре торпливые шаги, кто-то заглядывает в комнату: едут! И тут — опять же вдруг! — по всему кемпингу гаснет свет! Ничего себе — Deus ex machina! И уже почти в темноте

на территорию вползает целый поезд невиданных двухэтажных автобусов. Из автобусов высыпают говорливые, взволнованные люди. Переводчик! Где переводчик? Переводчика нет. Кто-то, пробегая мимо, сердито бросает: «Киевская переводчица где-то спряталась!» А у нас что — не нашлось?

Какое-то шевеление в толпе ветеранов. Оказывается, есть у нас один — он в свое время бежал из немецкого плена и сражался в итальянском Сопротивлении. Его извлекают из толпы, но он конфузливо кается, что то небольшое, чему научился в Сопротивлении, он уже подзабыл. И тут меня запоздало осеняет: английский! Кто знает английский? Ко мне проталкивается высокий — для итальянца даже очень высокий — Наверное, северянин — в тирольской шапочке с пером и отдельно произносит: «Я — Сережа Петухов».

Наверное, у меня вид клинического идиота, потому что он смеется и милосердно поясняет, уже по-английски: «My name is Sergio Gallo». Я знаю, что gallus — по-латыни «петух», но это не слишком проясняет дело. Тогда Серджио берет меня за руки, как будто собирается проговорить детскую считалочку «энеки-бенеки ели вареники», и терпеливо внушает: он русский итальянец, или итальянский русский — об этом подробно потом, — но по-русски ему трудно, а по-английски — пожалуйста. Поэтому общение можно наладить. Правда, цепочка получается сложная, но мы справимся. Он будет переводить с итальянского на английский и обратно, а я, соответственно, с английского на русский и наоборот. Интересное кино, правда? Тем не менее все как-то наладилось — процесс пошел!

Вокруг нас сбилось столько народу, что я начала путаться, кому на какой язык переводить. Группка взволнованных пожилых итальянцев атаковала Серджио — что такое? Оказывается, им надо проехать в город, им очень надо проехать в город! Ведь они были здесь в то далекое, то грозное время! Им непременно надо — но как? Действительно, как? Троллейбусы не ходят — тока нет! Кто знает, надолго ли его вырубил! Такси? Но у них нет наших денег. Скажите им, пусть утром съезжают. Какое там — утром! Они в шесть утра уезжают!

Ну что с ними делать?

Седой ветеран, тяжело опираясь на палку, сердито говорит:

— Да все это по команде из Киева: и свет вырубил, и в Чутово их задержали, Харьков им как кость в горле — мы же, видите ли, «схидняки»! А переводчица?

Видно, это один из тех, что мерзли на окружной: еще не оттаял!

Я не успеваю ответить: в толпе какое-то шевеление. Возникает кто-то с фонарем, кто-то окликает: «Синьора экривана! Синьора экривана!»

Синьора экривана — это я. Вслед за фонарем подходит высокий, худощавый военный. Он четко берет под козырек и так же четко говорит по-английски, без тени акцента:

— Разрешите представиться: генерал Чезаре де Гато. Я — еще молодой генерал и не принимал участия в той войне, но мне доверили честь командовать этим автопоездом. И еще: от Ассоциации Альпини я уполномочен поблагодарить вас и вручить вам эту медаль — юбилейную медаль Альпини — медаль, которую я сам с гордостью ношу.

Слова застревают у меня в горле, я лопочу что-то несусветное, а он протягивает мне маленький синий футлярчик и снова берет под козырек. Минутку мы молча смотрим друг на друга, потом он широко, совсем неофициально, улыбается, говорит: «Grazia!» — и, наклонясь, целует мне руку.

Кругом приветственно-восторженный шум, а у меня одна забота — не зареветь! Здесь, дома, меня никто из своих официально не погладил по головке — кто я? Даже не член Спилки, а тут вот — Италия, чужая страна! — и вруг медаль! И эти

усталые после дальней дороги, чужие, для меня безъязыкие люди улыбаются мне, гладят по рукаву и говорят непонятные, но добрые, благодарные слова!

Я не помню, что еще говорит де Гато — я даже не знаю, как правильно пишется его имя: может быть, Дегато? Не знаю, что должна делать и говорить — я просто открываю футлярчик и почтительно целую темную бронзовую медаль. Толпа одобрительно шумит, и я понимаю, что сделала то, что должна была сделать, и эти люди больше мне не чужие и никогда не будут чужими. Генерала зачем-то отзывают; жесткая, должностного вида дама берет меня за локоть и шершавым голосом зачем-то мне говорит: «Адреса своего никому не давайте. Если захотят написать, пусть пишут на Совет ветеранов». Я не успеваю спросить почему.

Вот теперь Серджио объясняет мне, почему он Сережа Петухов. Очень давно, двести лет назад, из России в Италию приехала большая группа людей. Осев на чужой земле, они сохранили родные названия тех мест, из которых приехали. Деревня, из которой родом он сам, называется как-то похоже на Чарники — «Черненькая», что ли? За двести лет многое подверглось изменениям, но сознание того, что они должны воевать против своей бывшей родины — *Drang nach Osten!* — было для них трагедией и для многих одним из мотивов выхода из войны. Он, Серджио, учит русский, он может читать — правда, не очень хорошо; он и детей своих учит. Сам он не Альпини, но попросился в автопоезд водителем, чтобы побывать на этой земле, и у них — у русских! — к нам большая просьба: они пришлют нам названия своих деревень, чтобы мы определили, где это, откуда они родом! Он мечтает привезти своих детей на родину своих предков.

Я пытаюсь втолковать ему, что это почти нереально, потому что то, что было большой Россией двести лет назад, распалось на куски и что названия сто раз менялись, — а он твердит: но ведь не все же? А вдруг какие-то сохранились!

Он так горячо меня убеждает, что мне уже самой хочется верить — а вдруг?!

Света по-прежнему нет. В темноте приезжих зовут куда-то ужинать, откуда-то снова возникает должностная дама и сердито сообщает, что меня давно уже ждет машина и, если я не потороплюсь, мне придется пешком добираться до центра, а люди (приезжие) из-за меня могут остаться без ужина.

Серджио отмахивается — Бог с ним, с ужином! — но дама неумолима. Он только успевает крикнуть нам вдогонку: «А куда же писать?» И я обреченно роняю: «В Совет ветеранов! Они меня найдут». Дама, толкая меня в спину, удовлетворенно заключает: «Ну, правильно».

Уже в машине она возмущенно сообщает кому-то из сидящих: «Представляешь, трое все-таки рванули в город. Поймали какую-то машину, водителю один вместо денег часы свои отдал. А вот как они возвращаться будут?»

Вот уж, действительно, — кто это сказал — Баратынский, кажется? «О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной...»

Где-то через полгода кто-то между делом мне сообщил:

— Знаешь, там в Совет ветеранов какое-то странное письмо пришло — список каких-то деревень, муть какая-то!..

— Господи, а где оно, письмо это?

— А кто ж его знает! Это давно уже было...

Так я и его не получила. Прости нас, Сережа Петухов!

Проходит еще много времени, нескладного, тревожного, бестолкового времени, и вот в июне — почти ко дню рождения (совпало?) — я получаю небольшой пакетик: «Просили передать». Я не стала разворачивать — не до того было! — поблаго-

дарила, да так и принесла домой. Дома развернула — и сначала ничего не поняла: серая коробочка с надписью на четырех языках:

AURORA

L'intramontabile mito della scrittura. The legendary tradition in writing.

Le mythe eternal de l'écriture. El mito eterno de la escritura.

«Легендарная традиция письма». Да еще eterno — «вечная»?

А в коробке — черный футляр со строгой, изящной авторучкой и, самое главное, трогательный конвертик с коротеньким письмом на немислимо корявом английском языке. Вот это письмо — я храню его с нежностью:

June 1994

Dear Inna

I remember us meet in Charkov and Liman.

Again thank you for all/ Please, accept this small present, with best wishes, for to write beautiful story, for to increase love, peace, and comprehension, too among different people and nation.

Sincerely you

Mario Viganò

Не знаю, почему он подписался здесь своим третьим именем, не знаю, как передать в переводе его ошибки, но в общем на русском это выглядело бы примерно так:

Июнь 1994

Дорогая Инна!

Я помню нашу встречу в Харькове и в Лимане. И снова — спасибо Вам за все.

Пожалуйста, примите этот маленький подарок с моими наилучшими пожеланиями, чтобы писать прекрасные рассказы, чтобы увеличивать (*это его слово!!!*) любовь, мир, а также понимание между разными людьми и народами.

Искренне Ваш

Марио Вигано

И нет обратного адреса — а Ирина говорила, что он переехал из Милана. Куда? И подписался почему-то своим третьим именем...

И как мне теперь жить и маяться, что я в долгу перед ним, перед Альпини, перед Сережей Петуховым и всеми сегодняшними итальянцами, чьи предки двести с лишним лет назад привезли в Италию названия родных деревень и мешочки с родной землей? Как мне быть, скажите!

Прости меня, нет — прости нас, Италия! Прости — и прими этот сбивчивый рассказ!

ВЫПИСКИ из дневников Александра Константиновича Гладкова. 1962 год

[РГАЛИ. Фонд А. К. Гладкова 2590. Оп. 1. Ед. хр. 102. Листы сшиты, машинопись, 1-й экз-р: с 1 янв. и до 22 дек., заполнено около 100 стр.]

1 янв.

До вечера в Загорянке: перечитываю рукопись Ильи Григорьевича [Эренбурга]. Потом еду в город к Штоку¹, куда был заранее и настойчиво приглашен. Не надо было ездить: скучно, натянуто и неинтересно. Он был какой-то фальшивый. Шура [жена Штока] была со мной почти невежлива (из-за Т.)².

2 янв.

[в ЦДЛ.]

Там пьяный и унылый Миша Светлов³ без копейки денег. Редкий случай — просит заказать ему мясное блюдо. Рассказывает о своих семейных неурядицах. <...> даже говорит о самоубийстве. <...>

Со всех сторон слышу вопросы: когда же выйдет ваша книга о Мейерхольде? Только в последние дни меня об этом спрашивали Д. Данин, З. Паперный, В. Катанян⁴. Что я могу ответить? Книгу я мог бы закончить месяца в два, если б была реальная издательская перспектива. Конечно надо сделать это и без этой перспективы — как я писал уже опубликованные части: просто писал, а потом искал возможности напечатать... Так нужно сделать и с книгой.

6 янв.

Встреча с С. Лариным⁵.

Слух о новом обострении «дела Эльсберга»⁶. В редакции «Вопросы литературы» Николаев ему при всех не подал руку. Слухи, подобные слуху об Эльсберге, — о Самарине, Лесючевском, Никулине⁷.

¹ Шток Исидор Владимирович (1908–1980), драматург и актер, друг юности АКГ, с которым они потом разошлись, в последние годы АКГ относился к нему с откровенной неприязнью.

² Она выступала, очевидно, на стороне Т., Тони, жены АКГ, с которой тот не живет.

³ Михаил Аркадьевич Светлов (настоящая фамилия Шейнкман; 1903–1964), поэт и драматург.

⁴ Даниил Семенович Данин (настоящая фамилия Плотке; 1914–2000), прозаик, сценарист, литературный критик, популяризатор науки. Зиновий Самойлович Паперный (1919–1996), литературный критик, литературовед, писатель. Василий Абгарович Катанян (1902–1980), литературовед, биограф Владимира Маяковского.

⁵ Сергей Иванович Ларин (род. 1925), критик, переводчик, сотрудник «Нового мира», друг АКГ, занимавшийся публикацией его статьи.

⁶ Яков Ефимович Эльсберг (настоящая фамилия Шапирштейн; псевдонимы Шапирштейн-Лерс Я. Е., Лерс Я., Эльсберг Ж.) (1901–1976), литературовед и критик; см. ниже: зап. от 9 фев. и 2 марта.

⁷ Роман Михайлович Самарин (1911–1974), литературовед, профессор МГУ, доктор филологических наук, специалист по зарубежной литературе; Николай Васильевич Лесючевский (1908–1978), литературный деятель, критик и публицист, директор издательства «Советский писатель». «В литературной среде держался слух о сотрудничестве Н. В. Лесючевского с 1930-х гг. с органами госбезопасности и его причастности к арестам ряда писателей, в частности, Н. А. Заболоцкого и Б. П. Корнилова, что ныне подтверждено документами» (Невский проспект. 1990. № 1–2) — из дневника Твардовского (2009. 1. 592); Лев Вениаминович Ни-

Решаю в понедельник ехать в Тарусу, куда давно зовет Оттен. Даю им телеграмму⁸.

10 янв. Третий день в Тарусе.

Гуляю, читаю, отдаю в ремонт ботинки, много говорю с Над. Яковл. [Мандельштам⁹.] К ней приходят с лыжами интересные ребята: внук и внучка Г. Шпета и их друг Женя, отчаянный книжник и стихолоб¹⁰. Хорошие, тонкие и интеллигентные, на редкость эрудированные в поэзии люди. Над. Як. дарит мне несколько страничек, исписанных карандашом: автограф О. Мандельштама — отрывок из моего любимого «Шума времени». В субботу в Политехн. музее был вечер Эренбурга и меня Нат. Ивановна [Столярова¹¹] искала по множеству телефонов, чтобы пригласить по поручению Ильи Григорьевича, но разумеется не нашла. <...>

13 янв. Третьего дня приехали с Оттенем из Тарусы, и два дня я ночевал у него на раскладушке. Встречи с Панченко¹².

Вышел первый номер «Нов. мира», где напечатана большая и убедительная статья Марьямова о романе Кочетова «Секретарь обкома» с точным разбором и разномом¹³. <...>

кулин (1891–1967), писатель и журналист, автор романа «России верные сыны» (1950). Своим положением в советской литературе обязан лишь своей административной деятельностью в СП и близости к органам НКВД.

⁸ Оттенны — Николай Давидович Оттен (Поташинский) (1907–1983), кинодраматург, переводчик, сценарист, критик, соавтор АКГ по сценарию «Бумажные цветы», редактор сборника «Тарусские страницы» (1961); его жена, Елена Михайловна Гольшева (1906–1984), известная переводчица с английского; ее сын (от первого брака), переводчик Виктор Гольшев. Многие годы семья жила в Тарусе, в их доме бывали К. Паустовский, Н. Мандельштам, А. Солженицын и многие другие, некоторое время жил Александр Гинзбург.

⁹ Мандельштам Надежда Яковлевна (девичья фамилия: Хазина; 1899–1980), жена поэта Осипа Мандельштама, сохранившая большую часть его литературного наследия, автор знаменитых и широко обсуждаемых в 60–70–80-х гг. мемуаров о нем; запись о знакомстве с ней в дневнике АКГ от 16 янв. 1960 г. (она часто упоминается там сокращенно — как *Н. Я.* или *Над. Як.*).

¹⁰ Внук Шпета — очевидно, Михаил Константинович Поливанов (1930–1992), физик, автор воспоминаний о Н. Я. Мандельштаме (опубл. сперва в «Юности», потом в его посмертной книжке «Тайная свобода». М., 2006) и автор предисловия к московскому изданию книги Н. Я. Мандельштам «Вторая книга». Внучкой Шпета — могла бы быть в данном случае названа сестра М. К. — Анна Константиновна Поливанова, но она в тот раз в Тарусу не ездила, а за внучку Шпета Гладков по ошибке принял жену М. К. Поливанова — Анастасию Баранович-Поливанову. Женя — Евгений Семенович Левитин (1930–1998), искусствовед, друг и одноклассник М. К. Поливанова, многолетний друг Н. Я. Мандельштам.

¹¹ Столярова Наталья Ивановна (1912–1984), дочь народоволки Натальи Сергеевны Климовой (участницы предпоследнего покушения на Столыпина, приговоренной к повешению), переводчица, училась в Сорбонне (1929–1934), была музой и главной любовью поэта и писателя русской эмиграции Бориса Поплавского; увлекалась левыми идеями, участвовала в организации в Париже общества «Молодежь за возвращение на родину»; в 1934 г. репатрировалась в СССР и через два с половиной года стала узницей сталинских лагерей (1937–1945); после выхода на свободу вела скитальческое существование (1945–1953), то устраиваясь на работу, то теряя ее; в 1956-м переехав в Москву, была секретарем Ильи Эренбурга до самой его смерти в 1967 г. (Григорий Семенович Кан. Наталья Климова. Жизнь и борьба. СПб.: Изд. им. Н. И. Новикова, 2012. С. 172–178). Ей посвящена глава в книге «Бодался теленок с дубом» А. И. Солженицына (5-е дополнение. Невидимки. Гл. 9).

¹² Панченко Николай Васильевич (1924–2005), поэт, участник войны, муж Варвары Викторовны Шкловской-Корди; будучи редактором Калужского книжного издательства, стал в 1961 г. инициатором и членом редколлегии знаменитого альманаха «Тарусские страницы».

¹³ Эзра (Александр) Моисеевич Марьямов (1909–1972), писатель, литературный критик, драма-

15 янв. Сижу в Загорянке. <...> Еще перечитывал свой лагерный дневник. Интересно, но может быть только мне одному.

На днях прочел повесть Л. Чуковской «Анна Сергеевна» о тридцать седьмом году¹⁴. Картина точная до жути. Вряд ли ее напечатают. «Нов. мир» уже отказал. Написана она в 39–40 гг. Тогда для этого требовалось немало мужества. У авторши в те годы погиб муж. Есть картины, точно связанные с Реквиемом, части которого мне читала Анна Андреевна (дежурство женщин на Шпалерной)¹⁵.

16 янв.¹⁶ Сегодня было заседание Худ. совета 2-го Объединения Мосфильма с просмотром актерских проб и утверждением исполнителей. Не пришел заболевший Пырьев и утверждение не состоялось, хотя долго обсуждали. Из «Шур» смотрели Забару, Гурченко и Голубкину. Пожалуй, большинство было за Голубкину, хотя и многие по каким то особым внутренним счетам были за плохо снявшуюся Гурченко. Так же многие «свои» были за В[я]ч.Тихонова, хотя явно Юрский был ярче и талантливей. Мы с Рязановым были за Юрского и Голубкину, и к нам присоединился Шавкуненко. <...> Получил записку от некой пышной брюнетки о том,

тург, сценарист, печатал очерки в журнале «Новый мир»; Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973), одиозный советский писатель, в 1955–1959 гг. главный редактор «Литературной газеты», в 1961–1973 гг. гл. редактор журнала «Октябрь», вокруг которого, по представлениям либеральной интеллигенции, группировались консервативные силы «душителей» литературы. (В романе «Секретарь обкома» противопоставлены два типа партийных работников — положительный и отрицательный, Денисов и Артамонов.)

¹⁴ Первое издание «Софьи Петровны» по-русски — это «Опустелый дом» (Париж, 1965). Как туда попало — неизвестно. Рукопись до 1962 г. была тетрадкой, написанной от руки. Когда Л. К. дала ее перепечатать и давала в редакции, вероятно, были сняты копии. Ее не обрадовала эта парижская книга (она пишет об этом в «Процессе исключения»). Издатель самовольно переименовал героиню и название повести, так как в Париже в это время шел какой-то спектакль, где героиней была Софья Петровна. И в результате многие переводы на иностранные языки тоже вышли под этим неавторским названием. О выходе русского издания Л. К. узнала от Корнея Ивановича, которому написал об этом по почте в письме (к К. И. в 1965 г. еще письма доходили) его давний знакомый и иллюстратор его сказки «Мойдодыр» Юрий Анненков. (Письмо это сохранилось.) И после такого неудачного начала Л. К. сознательно (хотя и тайно) передала выверенный экземпляр в «Новый журнал» и там повесть была напечатана в правильном виде.

¹⁵ Поэма «Реквием», первые наброски которой относятся к 1934 г. Сначала Ахматова планировала создать лирический цикл, который через некоторое время был переименован в поэму. Наиболее плодотворно она работала над поэмой в 1938–1940 гг. и вернулась к ней позже — в 1960-е гг. Ахматова сжигала рукописи «Реквиема» после того, как прочитывала людям, которым доверяла (в частности, Лидии Чуковской). Поэма существовала лишь в памяти самых близких лиц, заучивавших строфы из нее наизусть. В 1960-е гг. «Реквием» начал распространяться в самиздате.

¹⁶ Сохранилась стенограмма заседания худ. совета по обсуждению постановочного проекта картины «Гусарская баллада» от 16 янв. 1962 г., где обсуждались кандидатуры Голубкиной и Гурченко на роль Надежды Дуровой, Юрского и Яковлева — на роль Ржевского и Свердлина, Тихонова — на роль Кутузова (но в результате в фильме последнего играл Ильинский). В своем выступлении Шавкуненко назвал жанр фильма «киноводевилем» и сказал, что он «полностью на стороне г. Gladkova. <...> Должен сказать, что я много видел спектаклей этой пьесы, вся жизнь спектакля „Давным-давно“ в ЦТСА прошла на моих глазах» (Л. 35). Рязанов на упреки в том, что декорации выглядят слишком красочно и декоративно, возразил: «Нам хочется показать страну с красивым пейзажем, с хорошей архитектурой, снять все это поэтически <...> в несколько условной картине» (РГАЛИ. Фонд «Мосфильм». 2-е творч. объединение. № 2453. Оп. 4. Ед. хр. 605).

что мы были знакомы двадцать пять лет назад — это оказалась Оля Шульгина из Театра Мейерхольда, дублировавшая Райх в «Даме»¹⁷...

18 янв. <...>

Третьего дня в Лит. газете» два стихотворения Ахматовой, которые она дала мне в больнице, а я по ее просьбе передал в Москве (через Корниловых) в газету.

19 янв. [от Оттена узнает про письмо Дымшица¹⁸, в котором тот ругает «Тарусские старницы», но при этом — хвалит в них статью АКГ.]

Дымшиц — это сейчас главный критический рупор кочетовской партии и его мнение любопытно. Он человек типа Толи Тарасенкова¹⁹, т. е. реакционен не из-за бескультурия, а по каким то сложным психологическим вывертам души. <...>

20 янв. <...>

Странный город Москва. Недавно за обедом в ЦДЛ Б. Райх²⁰ рассказывал мне, как он учился в гимназии с повешенным в Нюрнберге Зейсс Инквартом²¹, с семьей которого его семья была хорошо знакома, а вчера один человек (журналист) рассказал мне, что он в Краснодаре встретил Матиаса Ракоши²², который там тихо живет и пишет книгу об истории Венгрии (а м. б., мемуары). А Гере²³ будто бы живет в высотном доме на Котельнической и чуть ли не в одном подъезде с Паустовским. Его можно часто встретить в ресторане «Будапешт».

28 янв.²⁴ <...>

Вчера говорил по телефону с Рязановым. Завтра повторное заседание Худ. совета по утверждению ролей. <...>

<...>

Письмо от В. Португалова²⁵, получившего «Тарусские страницы», телеграмма от «Театральной жизни».

¹⁷ В спектакле театра Мейерхольда «Дама с камелиями» Зинаида Райх играла Маргариту.

¹⁸ Александр Львович Дымшиц (1910–1975), литературовед, литературный и театральный критик.

¹⁹ Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909–1956), литературовед, литературный критик, поэт, библиофил, собравший большую коллекцию русской поэзии первой половины XX века.

²⁰ В данном случае это Бернард Фердинандович Райх, прежний владелец квартиры в Москве, в писательском доме на Красноармейской улице, которую АКГ в 1971 г. у него купит (см.: РГАЛИ Ф. 2590. Оп. 1 № 334. Письма А. К. Gladkova от Райха Бернарда Фердинандовича 1970–1972; 12 п. 17 л.).

²¹ Артур Зейсс-Инкварт (*нем.* Arthur Seyß-Inquart, настоящее имя Артур Зайтих, 1892–1946), австрийский политик и юрист, после аншлюса 1938 г. немецкий государственный деятель Третьего рейха, национал-социалист, правитель Австрии, оккупированных Польши и Нидерландов. Нюрнбергским трибуналом объявлен «военным преступником» и приговорен к смертной казни.

²² Матяш Ракоши (урожд. Матяш Розенфельд, 1892–1971), венгерский политический деятель, революционер.

²³ Эрне Гере, урожд. Эрне Зингер (*венг.* Ernő Singer, 1891–1980, родился в еврейской семье), венгерский политический деятель, который сменил Матяша Ракоши после отставки с поста генерального секретаря Венгерской коммунистической партии.

²⁴ В изд. Шумихин, 2000. 558–559 еще записи от 22 и 24 янв.

²⁵ Португалов Валентин Валентинович (1913–1969), поэт, переводчик. Учился в Литературном институте, в 1931–1934 гг. актер Моск. реалистического театра. Был репрессирован. Срок отбывал на

<...>

Видел Нат. Ив. Столярову. И. Г. [Эренбург] был неделю в Париже: должен был вернуться вчера. Перед отъездом он говорил ей, что ему нужно меня видеть. М. б. завтра позвоню. Паустовский в прошлое воскресенье уехал в Ялту.

1 фев. [приезд Эммы — они вместе с АКГ едут в Тарусу²⁶.]

9 фев. 1962. <...>

Разговор с Чичеровым о деле Эльсберга²⁷, которое на днях должно разбираться на президиуме моск. организации. Собраны все документы (в том числе из архивов МВД), доказана провокация и доносы на Евг. Льв. Штейнберга, Пинского, М. Ю. Левидова²⁸, подписавшего все из-за страха перед побоями, кстати, точно совпадающие с тем, что еще в лагере мне рассказывал А. И. Казарин²⁹. <...>

10 фев. <...>

На улицу Грицевец не заходил очень давно, хоть и надо бы взять кое что из папок и книг³⁰. В этот приезд ночевал две ночи у Н. Д. [Оттена] на раскладушке и одну ночь в Загорянке. <...>

<...>

Колыме, работал забойщиком, лесорубом, трактористом, актером магаданского театра. После ареста — с 1937-го по 1942 г. и с 1946-го по 1952 г. — узник Колымы; до 1963 г. жил в Магадане, собирая фольклор Чукотки: *Вместе русский, гукга, эскимос / К промыслу готовятся всерьез...* Был другом АКГ; после 1963 г., переехав с семьей в Москву, где Валентину Валентиновичу выделили квартиру как реабилитированному, он руководил кафедрой литературного мастерства на Высших литературных курсах, выпустил несколько стихотворных сборников.

²⁶ В предисловии П. Нерлера 4 февраля 1962 г. АКГ отмечает в дневнике: «Н. Я. начала писать едва ли не самую важную главу в своей работе» (Н. Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Три квадрата. 2008. С. 8. (http://www.modernlib.ru/books/nadezhda_yakovlevna_mandelshtam/ob_ahmatovoy/read_3/).

²⁷ Иван Иванович Чичеров (1902–1971), критик. Сотрудник Главискусства, председатель Центрального совета ТРАМов, один из теоретиков трамбовского движения. Он вел заседание, на котором разбирался вопрос об исключении Я. Е. Эльсберга из Института мировой литературы, — за регулярное доносительство на своих коллег. «Самоотверженная — пишу без малейшей иронии — борьба Ивана Ивановича Чичерова за исключение Я. Эльсберга из Союза писателей ни к чему не привела. Хотя за исключение высказывались многие» (В. Кардин. Преданные без лести. <http://www.lechaim.ru/ARHIV/136/kardin.htm>).

²⁸ Евгений Львович Штейнберг (1902–1960), историк Китая, Индии, Ближнего и Среднего Востока, автор исторических романов. Во время «борьбы с космополитизмом» арестован по доносу и в 1952 г. осужден Особым совещанием при МГБ СССР «за антисоветскую агитацию» на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Каргопольлаге, работал в санчасти. Реабилитирован в 1954 г. Леонид Ефимович Пинский (1906–1981), филолог, педагог, специалист по истории западно-европейской литературы XVII–XVIII веков, мыслитель-эссеист. В 1951 г. по доносу арестован, осужден по статье на 10 лет лагерей и пожизненную ссылку в отдаленные районы Сибири (отбывал в унженских лагерях); в 1956-м реабилитирован. Михаил Юльевич Левидов (наст. фам. Левит; 1891–1942), журналист, писатель и драматург. В июне 1941 г. арестован по доносу, осужден «за шпионаж» и расстрелян.

²⁹ Личность установить не удалось. Очевидно, солагерник АКГ; он упоминается и в более поздней записи его дневника, где рассказывается о докладе Марка Поповского во Всесоюзном институте растениеводства, посвященном гибели Н. И. Вавилова: «26 нояб. 1965. <...> Мне о В-ве рассказывал А. И. Казарин, сидевший с ним в одной камере в саратовской тюрьме в 42-м году. Там же сидел Луппол и Левидов. Там же сидел и Стеклов».

³⁰ Улица *Грицевецкая* — старое название Б. Знаменского переулка, в центре Москвы, недалеко от Арбата, — адрес, по которому жили жена и дочь АКГ (с женой он расстался) и где за ним ос-

Сюда мне пришло письмо от Дымшица³¹ от 2 фев.

<...>

Это довольно занятно! Дымшиц почему то старается сохранить со мной отношения дружелюбия, возникшие во французской поездке, хотя мы явно в разных литературных лагерях. <...>

25 фев. Таруса. Живем однообразно, но мило. Работаю над сведением всех напечатанных моих статей о Мейерхольде в книгу. Многое дополняю и пишу заново.

2 марта. 27-го февраля президиум московской организации ССП исключил из членов ССП Эльсберга. Исключили его единогласно. Присутствовало 16 человек. Сначала его пробовали защищать А. Васильев и Б. Агапов³², но и они проголосовали вместе со всеми за исключение. <...> Это, конечно, эпизод исторический и, наверно, первый прецедент подобного рода. Стукачей начинает постигать возмездие³³. <...>

8 марта. <...>

Под Рогачевым³⁴ [тут строчка пишущей машинки «съезжает»] Рязанов снимает зимнюю натуру «Гусарской баллады».

13 марта. Вчера уехала в Ленинград Эмма. <...>

1 марта. <...>

Сдал на машинку все сделанное из «Мейерхольда», хотя не знаю, как буду расплачиваться. В общем — с середины февраля до 6 марта я сделал очень много. Еще бы месяц такой работы и вся книга была бы кончена.

26 марта. [Товстоногов берет Эмму в труппу БДТ.]

15 апр. Интересный разговор с М. Ю. Блейманом³⁵ о 1937 годе. Надо бы его подробно записать. Это всё уже история. Это о встречах с Петром Смородиным в начале 37 года³⁶. Он тогда был секретарем Сталинградского обкома. Блейман, Большинцев и Эрмлер приехали, чтобы встретиться с ним, так как это он был прототипом Шахова, героя сценария «Великий гражданин»³⁷ (какая ирония — судьба Смо-

тавалась формально одна комната (он держал там книги). Адрес Гладкова (по записной книжке Н. Д. Оттена. № 88. Л. 168): «пер. Грицевец, 8, кв. 24»).

³¹ См. выше зап. от 19 янв.

³² Агапов Борис Николаевич (1899–1973), писатель; первого, Васильева, установить не удалось.

³³ Эти ожидания АКГ оказались, как нам известно, преувеличенными.

³⁴ Рогачев (*белор.* Рагачоў), город в Гомельской области Белоруссии.

³⁵ Михаил Юрьевич Блейман (1904–1973), кинодраматург, сценарист.

³⁶ Петр Иванович Смородин (1897–1939), партийный деятель, член ВЦИК, один из создателей комсомола, генеральный секретарь ЦК РКСМ (1921–1924). Входил в состав «троек», выносивших в Ленинграде и Сталинградской области приговоры о расстреле. В 1938 г. снят с поста и арестован, приговорен к смертной казни и расстрелян.

³⁷ «Великий гражданин» — художественный фильм по сценарию Ф. Эрмлера, М. Большинцова и М. Блеймана (реж. Фридрих Эрмлер). В основу положена официальная точка зрения властей СССР на историю жизни и смерти Сергея Кирова. Фильм повествует об истории крупного партийного руководителя Петра Шахова (Николай Боголюбов). Его борьба с представителями троцкистско-зиновьевского блока и их лидером Карташовым (Иван Берсенев) становится делом всей жизни. Один из наиболее значительных фильмов довоенного времени, оказавший влияние на поддержку Большого террора в СССР в 1937–1939 гг. (сведения Википедии).

родина и образ Шахова!) Он в Стал-де пил горькую <...>. Начальник НКВД области Шаров (кажется), красивый интеллигентный еврей³⁸. Тоже познакомились. И он тоже запивал, но только в конце месяца почему-то. <...> [а его жена простодушно призналась] — это с ним каждый месяц, когда от Фриновского³⁹ разверстка на аресты приходит... потом его признание: — Я за полгода здесь в области столько шпионов эстонских посадил, сколько их за всю историю Эстонии у нее не было... <...> Тоже всё понимал. Тоска фатальности. Он — милый веселый молодой человек, любил книги, баб. И его, и Смородина посадили месяца через два. Блейман стыдился своей работы над «Великим гр-м» и говорит об этом прямо.

24 апр. Третьего дня скоропостижно (кровоизлияние в мозг) умерла Люся Фетисова⁴⁰, игравшая в двух моих пьесах в ЦТКА.

Смерть — чисто профессиональная: от укола зависти и самолюбия [:] Л. Касаткиной⁴¹ дали звание «заслуженной». <...>

<...>

В Шуре Азаровой она имела большой успех, хотя по моему играла грубовато. Люку Шергину она вообще не поняла. <...>

25 апр. <...> еду к Над. Як-не. Читаю ей лагерные стихи. Везжаю [в Ленинград] дневным поездом [описание пьянства на даче у Меркурьева⁴²].

4 мая. [АКГ уже снова в Москве] <...> За время моего отсутствия в «Веч. Москве» была напечатана вот эта заметка о «Давным-давно» [вырезка: «На экране — 1812 год» с датой — «26 апр. 1962»]. Надо повидаться с Рязановым и посмотреть снятый материал. <...>

7 мая. <...> Все время случайно встречаюсь с Нат. Ив. Столяровой. Илья Григ. сейчас в Брюсселе <...>. Надо бы записать интересные рассказы Меркурьева о 37-м годе! Вообще, всё время слышишь массу интересных рассказов и нет времени записывать⁴³. <...>

9 мая 1962. Вчера вернулся в Загорянку с последним поездом. А уехал в город в 8 часов. Весь день был набит встречами и делами, разговорами и пр. Смотрел на Мосфильме «зимнюю натуру» «Гусарск. баллады» вместе с Пырьевым и Шавкуненко. Ничего! Я думал (боялся), что будет хуже. И Пырьев тоже хвалил, хотя и сказал, что слишком размазано и подробно. Актеры еще не видны, но зима снята хорошо. Получил постоянный пропуск на студию. <...>

Сегодня отдыхаю на даче от вчерашней беготни и привожу в порядок рукописи. <...>

³⁸ Лицо установить не удалось.

³⁹ Михаил Петрович Фриновский (1898–1940), деятель органов госбезопасности, командарм 1-го ранга (1938). С 1937 г. депутат Верховного Совета СССР. Один из ближайших сотрудников Ежова и главных организаторов Большого террора. В 1939 г. снят со всех постов и арестован по обвинению в «организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД» (в чем признался). Содержался в Сухановской особой тюрьме. В 1940 г. приговорен к смертной казни.

⁴⁰ Людмила Михайловна Фетисова (1925–1962), драматическая актриса, играла в пьесах А. Гладкова «Давным-давно» — Шуру Азарову и «До новых встреч» — Люку Шергину.

⁴¹ Людмила Ивановна Касаткина (1925–2012), актриса театра и кино.

⁴² Возможно, имеется в виду — Василий Васильевич Меркурьев (1904–1978), актер театра и кино, театральный режиссер, педагог.

⁴³ К сожалению, и записи этих рассказов в дневнике отсутствуют.

Вчера в ДЛТ⁴⁴ со мной любезнейше поздоровался К. М. Симонов, который так хулил меня после моего ареста. Издалека шел ко мне с протянутой рукой и неописуемо обаятельной улыбкой. Я молча поздоровался и прошел⁴⁵.

10 мая. Сегодня приехал из города с поездом 17.35. а поезд, пошедший в 18 ч. с чем-то потерпел крушение почти у самой Москвы (между Москвой и Москвой 3-ей). Полностью разбиты два вагона. Масса жертв. Поезда не ходили потом до ночи. <...> И это как раз в те дни, когда в Кремле происходит всесоюзное совещание железнодорожников. <...>

14 мая. <...> Накануне прочел в Юманите заметку о подмосковном крушении. В наших газетах ни слова. Мой спутник железнодорожник [накануне, 13 мая, АКГ уехал уже в Ленинград, к Эмме] сказал мне, что версия о неисправности автоматической стрелки неверна. У машиниста (водителя) поезда, который налетел на другой[,] накануне была арестована жена, он волновался и его в таком состоянии нельзя было допускать к работе. Он и помощник убиты. Жертв очень много.

21 мая. <...> Говорят, что Македонов⁴⁶ написал предисловие к томику Мандельштама и скоро книга пойдет в производство. <...>

23 мая. Томительно-душный день. С утра на Мосфильме. Намечаем с Рязановым кое-какие сокращения (нужно сократить почти одну пятую так как метраж режисс. сценария оказался завышен)⁴⁷. Смотрю маленький кусочек с Кутузовым Ильинским и он мне не нравится. Какой то глуповатый Кутузов! Но подожду делать выводы: нужно посмотреть всё снятое. Потом гуляем по городу с Левицким⁴⁸ и заходим в Лит. газету. <...> Рассказы Сарнова⁴⁹ и Каржавина⁵⁰ о все той же гениальной повести, которая лежит в «Новом мире» — «День Ивана Денисова». Автор учитель из Рязани, сидел, это его дебют⁵¹. Повесть о лагере. Будто бы выдерживает сравнение с Толстым. Твардовский начал читать ее лежа ночью, прочел немного, вскочил, оделся и стал читать сидя, и прочел сразу два раза подряд. «Это нельзя

⁴⁴ Очевидно, повторяющаяся описка — вместо ЦДЛ.

⁴⁵ Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915–1979), писатель, поэт, общественный деятель. Но как именно он «хулил» АКГ после ареста, установить не удалось. И не вполне понятно: руки ему АКГ так и не подал — или все-таки пожал?

⁴⁶ Адриан Владимирович Македонов (1909–1994), видный геолог и одновременно писатель: выступал как ученый-исследователь в области советской литературы; писал книги о творчестве Твардовского, Мандельштама и др. (А. В. Македонов. Пути Осипа Мандельштама и его посох свободы // Русская литература. 1991. № 1. С. 42–60).

⁴⁷ Странно, но мемуары Э. А. Рязанова относят вроде бы это решение, о необходимости сокращения сценария, на год раньше по времени — так как уже к середине июля 1961-го (!) оно должно было быть завершено. И по его словам, сокращать нужно было не **одну пятую** часть, а — **в пять** раз. Видимо, все-таки это были разные этапы сокращения.

⁴⁸ Лев Абелевич Левицкий (Левинштейн; 1929–2005), или в дневнике просто *Лева*, литературный критик, литературовед, сотрудник «Нового мира», работавший в отд. поэзии, многолетний друг АКГ, сам оставил 2 тома опубликованных дневников: Утешение цирюльника. Дневник. 1963–1977. СПб., 2005; Термос времени. Вторая часть (1978–1997). СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2006.

⁴⁹ Бенедикт Михайлович Сарнов (род. в 1927 г.), литературовед, литературный критик.

⁵⁰ Правильно: Коржавин (настоящая фамилия Мандель; род. в 1925 г.), поэт, прозаик, переводчик и драматург (эмигрировал в 1974 г. в США).

⁵¹ Имеется в виду «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына.

читать лежат». Он же потом говорил, что идя в редакцию, куда вызвали автора, он волновался, как будто шел на свидание с Горьким или Толстым. Это всё делает ему честь. «Нов. мир» хочет это печатать в № 9 — если разрешат. Фамилию автора я забыл, кажется Ноженкин. Или что то вроде. <...> [далее о другом] Рассказы о Лесючевском, дело которого стараются замять. Он ловкий хладнокровный негодяй с большими связями. На нем кровь Бориса Корнилова⁵² и еще что то. Каржавин читал интересные стихи <...>. Всё это люди одного возраста [ранее также упоминались Левицкий, Сарнов и Балтер⁵³] и моложе меня примерно лет на 15–12–10. Но насколько мне с ними проще, легче, интереснее, чем с поколением Штока, Оттена, Арбузова. Те все — удачливые или неудачливые дельцы: злопамятны, пристрастны, эгоцентричны, недружны. Да, это поколение лучше нашего, и я рад, что я понимаю его, а они меня.

В Лавке писателей мне передают от Вали Португалова, что он в Москве и хочет меня видеть. <...>

25 мая. Утром переписываю набело сделанные ночью поправки в текст сценария. Еду в город. Отдаю Рязанову поправки и смотрю с И. В. Ильинским смонтированные куски с Кутузовым. [далее фраза из 3 или 4 слов — густо зачеркнута] <...> Встречаюсь с Португаловым. Долго сидим с ним в Александровском саду и он мне рассказывает о 37-м годе — как он выглядел с той стороны тюремной решетки. В недели тюрьмы и этапа перед ним промелькнули в камерах: поэт Иван Приблудный, В. Правдухин, А. Нейман (наркоминделевец, уже в августе) И. И. Радченко⁵⁴, старый большевик, А. Грамп⁵⁵, секретари обкомов тульского, орловского. **Никто ничего не понимал.** Старые большевики держали себя достойно, замкнuto. В одном этапе с ним и Лево́й [младший брат АКГ, Лев Гладков⁵⁶] ехал Мир-

⁵² Борис Петрович Корнилов (1907–1938), поэт и общественный деятель-комсомолец. В 1932 г. поэт пишет о ликвидации кулачества, и его обвиняют в «яростной кулацкой пропаганде». Приговорен к исключительной мере наказания.

⁵³ Борис Исаакович Балтер (1919–1974), прозаик.

⁵⁴ Иван Приблудный (1905–1937, расстрелян), поэт; настоящее имя Яков Петрович Овчаренко: служба добровольцем в дивизии Г. Котовского, получил прозвище, ставшее впоследствии поэтическим псевдонимом. Окончил три класса четырехклассной земской школы; нанимаясь в батраки, бродил по Украине. В декабре 1920 г. в поселке Тараща вступил добровольцем во 2-ю Черниговскую красную дивизию Григория Котовского. Летом 1921 г. Приблудного приняли в интернат для одаренных детей, а в 1922 г. — в литературно-художественный институт, руководимый Валерием Брюсовым. Прототип Ивана Бездомного в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Друг и ученик Сергея Есенина. В 1937 г. арестован за принадлежность к «террористической группе из среды поэтов». По некоторым свидетельствам, уже находясь в камере, сочинял ернические стихи в адрес наркома НКВД Н. Ежова. Валериан Павлович Правдухин (1892–1938, расстрелян), писатель, участник литературной группы «Перевал»; муж Л. Сейфуллиной. Алексей Федорович Нейман (1900–1938, расстрелян) зав. 3-м Западным отделом Наркомата иностранных дел СССР. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации. Возможно, Иван Иванович Радченко (1874–1942), политический деятель, член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1937 г. был арестован, умер в 1942 г. в соль-илецкой тюрьме.

⁵⁵ Александр Николаевич Грамп (Агаджанов Александр Иванович; 1903–1983), инженер путей сообщения, директор МИИТа, 1931–1933 командировка в Америку, женитьба на американке; первый арест и заключение — 1937–1945; повторный — 1950–1954. О нем в воспоминаниях сына и письмах жене: Грамп Е. А.: «...уже через год после ареста отца...» // О времени, о Норильске, о себе...: Воспоминания. Кн. 1 / Ред.-сост. Г. И. Касабова. М. : ПолиМедиа, 2001. С. 13–44.

⁵⁶ Гладков Лев Константинович (1913–1949(?)), родной младший брат АКГ, был арестован 16 июля 1937 г., а погиб через несколько лет после возвращения (1945) с Колымы.

ский⁵⁷. В пересыльном лагере у Владивостока встретили поэта В. Князева, прибывшего туда с ленинградским этапом, В. Нарбута, прибывшего с тем же этапом, что и они⁵⁸. С ними же ехал наш дальний родственник Шурик Кондратов, совсем мальчик, всё преступление которого заключалось в том, что он сказал в школе, что он больше интересуется Ницше, чем Марксом. Он погиб в ближайшие годы на Колыме. Князев и Мирский работали в гараже: открывали ворота машинам. Ворота тяжелые, но это была самая легкая работа. Среди начальства были опальные чекисты из Ленинграда: Медведь и Запорожец. Они исчезли в конце 37-го или в начале 38-го. Год. Диктатором был начальник Дальстроя Я. Берзин, потом [пробел для слова⁵⁹], затем появился Никишев. Первое впечатление, когда прибыли на пар[о]ходе в Магадан: «Неужели здесь могут жить люди?..[»] Пурга, ветра, морозы. Жили на берегу залива в палатках. Мирский мучался тем, что ему все время нужно было выходить на мороз: больной желудок и недержание мочи. Режим менялся, но были суровые годы и месяца, когда на разводах зачитывали списки расстрелянных в эту ночь. Конвоир мог не понравившегося зк отвести в сторону и застрелить, и ничего ему не было.

Валя поступает на Высшие Лит. курсы: он принят в Магадане в члены ССП. За два года надеется устроиться в Москве. Выглядит неплохо.

28 мая. <...> Вчера в «Кино-неделе» напечатано сие:
[Заметка «Гусарская баллада» за подписью «М. Посельская».]

30 мая. <...>

Вчера на Мосфильме на съемке эпизода: Ржевский и Шура-кузина. Масса неполадок. Почти как у Чапека⁶⁰.

⁵⁷ Дмитрий Петрович Мирский (кн. Святополк-Мирский, англ. D. S. Mirsky; 1890–1939: ОЛП «Инвалидный», СВИТЛ), литературовед, литературный критик, публицист, писал по-русски и по-английски; участвовал в Первой мировой (ранен в 1916 г., сослался за антивоенные высказывания на Кавказ) и в Гражданской войнах (на стороне Белого движения); с 1922 г. участник Евразийского движения. В 1931 г. вступил в компартию Великобритании; в 1932 г. при содействии Горького переехал в Советский Союз. В коллективной книге советских писателей «Канал имени Сталина» (1934), посвященной строительству Беломорканала силами заключенных, ему принадлежит глава «ГПУ, инженеры, проект». В 1937 г. арестован, приговорен по «подозрению в шпионаже» (ПШ) к 8 годам исправительно-трудовых работ, в июне 1939 г. умер в лагере под Магаданом.

⁵⁸ Василий Васильевич Князев (1887–1937), революционный поэт-сатирик, создатель (совместно с В. Володарским) «Красной газеты». Репрессирован. Несмотря на неоднократные просьбы и инвалидность, был отправлен в магаданские лагеря со специальным указанием использовать «исключительно на общих физических работах». Умер на тюремном этапе в поселке Атка, в 206 км от Магадана; Владимир Иванович Нарбут (1888–1938: расстрелян), поэт, прозаик, критик. Весной 1918 г. отправлен в Воронеж для организации большевистской печати; помимо этого, в 1918–1919 гг. издавал «беспартийный» журнал «Сирена». В 1919 г. жил в Киеве, где участвовал в издании журналов «Зори», «Красный офицер», «Солнце труда». 8 октября 1919 г., попав в занятый белыми Ростов-на-Дону, был арестован контрразведкой как коммунистический редактор и член Воронежского губисполкома. Освобожденный при налете красной конницы, официально вступил в РКП(б). В 1922 г. переселился в Москву, работал в Наркомпросе; от поэзии отошел. В 1936 г. арестован НКВД по обвинению в пропаганде «украинского буржуазного национализма». Расстрелян в карантинно-пересыльном пункте № 2 треста «Дальстрой».

⁵⁹ Пропуск в тексте; должна стоять фамилия *Гаранин* (Шумихин. 2000: 559–60).

⁶⁰ Имеется в виду, очевидно, книга Карела Чапека «Как это делается. Газета. Фильм. Пьеса».

1 июня. <...>

Вчера на Мосфильме. Там снимают панораму с колыбельной Светланы. В комнате группы висит приказ Сурина с выговорами: строгим Маслову и просто — Рязанову и Крайненкову⁶¹. Обедаю в ДЛТ. <...>

Вчера в «Веч. Москве» снова фото из снимающейся «Гусарской баллады».

6 июня. <...> Съемки идут бестолково, хаотично и навевают тоску, но Рязанов странно спокоен. Есть и красивые куски.

19 июня. Почти две недели живу в Ленинграде. <...>

<...> Сегодня смотрели в [театре] Комедии «Дракон»⁶² и это очень интересно: пьеса живет и дышит и едва ли звучит не острее, чем тогда, когда она появилась: я был на генеральной репетиции в 1944 г., когда спектакль сняли. <...> В антракте и после конца сидели у Н. П. [Акимова⁶³] в кабинете. Он бодр, но как то уже начал дряхлеть: уже не тот сгусток энергии, как раньше. Сделал сам инсценировку «Дон Жуана» Байрона (!) и собирается ставить.

<...>

В общем — мне сейчас для полного счастья нужны только деньги: всё остальное есть. Нужно как то продержаться пол-года, а там всё м.б. будет проще и легче.

[21 июня АКГ приезжает в Москву] Днем на Мосфильме. Уже снято 53 % фильма. Журнал «Сов. экран» на обложке напечатал фото Голубкиной в роли Азаровой. В павильоне идет съемка сцен французов в доме Азаровых. <...>

Весь вечер читаю рассказ А. Рязанского «Один день Ивана Денисовича» и «Село стоит праведником»⁶⁴ — те самые, о которых идет столько разговоров. Оба рассказа хороши не ухищрениями стиля и не фокусами зрения, а абсолютной прямой и правдой рассказа. Особенно поражает этим первый рассказ, описывающий лагерь. Я был в более легком по режиму лагере, но как всё это близко и похоже. Это большой талант. Я по рассказам многих ждал чего то из ряда вон выходящего и не разочарован. Не представляю, как это можно напечатать, хотя кажется, Твардовский и пытается это сделать.

Сокращен срок Ирине (забыл фамилию), дочери любовницы Пастернака. Она уже на свободе и будет восстановлена в институте. Ее матери лагерь заменили административной высылкой⁶⁵. <...>

23 июня. <...>

Сейчас ночь. Я сижу на террасе за освещенным висячей лампой столом и читаю

⁶¹ Владимир Николаевич Сурин (1906–1994), с 1959-го по 1965 г. — генеральный директор киностудии «Мосфильм»; Валентин Маслов — директор фильма «Гусарская баллада»; Леонид Крайненков — его оператор.

⁶² Первая попытка постановки пьесы Е. Шварца «Дракон» предпринята Н. П. Акимовым в Ленинградском театре комедии во время войны. Но сразу же после первого показа в эвакуации театра в Москве спектакль был снят. Пьеса попала под запрет на постановку и не ставилась в СССР до 1962 г. (18 лет). В 1962 г., уже после смерти автора, постановка «Дракона» осуществлена Николаем Акимовым в Ленинградском театре комедии (Википедия).

⁶³ Николай Павлович Акимов (1901–1968), театральный художник, режиссер и педагог, живописец и книжный график. Создал в 1935 г. в Ленинграде Театр комедии (с 1989 г. театр носит его имя).

⁶⁴ На самом деле — А. Солженицына (А. Рязанский — это псевдоним, под которым рукопись лежала в редакции); правильное название последнего рассказа: «Не стоит село без праведника».

Видимо, АКГ получил их в рукописи из редакции журнала, через Л. Левицкого.

⁶⁵ Речь об Ирине Емельяновой и ее матери Ольге Ивинской.

впервые «Доктор Живаго», которого мне дали на два дня. За окнами летняя гроза, то затихающая, то снова гремящая. В паузах сад чмокает и плещет. Мама уже легла спать. По радио что-то вроде Шопена. Удивительное соответствие этой книге: ее аромату. Прочел всего 60 страниц и немного удивлен. Ждал чего-то другого, м. б. более зрелого. Есть чудесные куски, но всё же... нет, подожду пока высказывать мнение: я слишком мало прочел.

24 июня. Целый день читал и дочитал «Доктора Живаго». Еще не могу сформулировать впечатление. Еще что-то перечту и подумаю. Но всё же — ждал большего...

25 июня. Пишу по просьбе Маслова либретто фильма и днем отвожу ее на студию. Сажу на съемках эпизода с встречей Шуры и Ржевского в разгромленной усадьбе. Рязанов репетирует прыжок Шуры и Сальгари с антресолей. Голубкина боится прыгать, но прыгает робко и невыразительно. Рязанов снимает три дубля недовольный, а на 4-м дубле у нее подвертывается при прыжке нога: не то растяжение, не то вывих и ее уводят. Если это серьезно, это может всё сорвать. Встреча с Шавкуненко. Уговариваемся, что увидимся вместе с Ремезом⁶⁶. Проголодавшись, еду в ДЛТ⁶⁷. <...>

Вернувшись под вечер на дачу, снова читал, вернее перечитывал отдельные места «Доктора Живаго». Завтра мне нужно книгу отдать.

Что же сказать о ней? Я скорее разочарован[:] есть удивительные страницы, но насколько бы их было больше, если бы Б. Л. написал не роман, а просто книгу исповедь о самом себе. <...> Но великого романа нет⁶⁸. И зарубежный успех книги явно политически спекулятивен⁶⁹. <...> Все евангельские ассоциации мне чужды: если уж сейчас и «Эрфуртская программа» кажется анахронизмом, то как же ветхо Евангелие! Мне кажется, что где то в 50-х годах (в начале их) у Б. Л. произошел какой то внутренний перелом и он вышел из него чем-то озлобленным и задетым.

26 июня. Днем на Мосфильме у Шавкуненко с Ремезом. Вроде бы Шавкуненко понравился мой старый замысел о гильзе с запиской и пр.⁷⁰ Надо писать заявку. Соавторство с Н. Д. [Оттенем] тут невозможно: его терпеть не может Пырьев, а с Ремезом — нет смысла. Договор на сценарий мог бы меня сейчас полностью выручить. Рязанов в павильоне снимает сегодня без Голубкиной, которую повезли на рентген. <...>

Обедал в ДЛТ [исправлено, уже чернилами, на ЦДЛ]. Ю. Трифонов принес мне переданный для меня А. Парнисом⁷¹ греческий журнал ТЕАТ, роскошно изданный,

⁶⁶ Оскар Яковлевич Ремез (1925–1989), театральный режиссер, писатель, ученый и театральный педагог.

⁶⁷ Переправлено карандашом на «ЦДЛ».

⁶⁸ Потом все это было перенесено в его книгу «Встречи с Пастернаком». В значительной мере оценка романа совпала с такой, например, эмигрантской рецензией на него (Ю. Иваска): «Мысли, замыслы Юрия Живаго развиваются, борются в нем, и именно они придают драматичность всей книге, столь неудачно „начиненной“ фабулой, но вдохновенной лирикой и философией. В смысле литературной книга удалась бы в целом, если бы Пастернак написал ее в форме дневниковых записей своего главного героя» (Ю. Иваск. Высота суждения. О двух книгах Пастернака: «Доктор Живаго» и «Автобиография» // Новое русское слово. 1959. 8 фев. С. 2 и 7).

⁶⁹ Следующий далее фрагмент есть в изд. Шумихин. 2000, 560–561.

⁷⁰ Какой именно замысел АКГ имеет в виду, непонятно. Впрочем, см. ниже.

⁷¹ Александр Ефимович Парнис (род. 1938), филолог, литературовед, исследователь русского футуризма.

где перевод моего «Мейерх.» с предисловием Парниса и фото: Пастернак, М-д и я. В предисловии Парниса есть что-то обо мне, но что именно, я прочесть, увы, не могу. Заметил, что там есть дата «1948 г.». Неужели он написал и о моем аресте. Надо бы прочесть. Не знаю, кого можно попросить перевести.

Ехал в город с живущим здесь А. Каменским⁷² и его женой. Он — умный человек и лучший наш художественный критик. <...>

26 июня <...> Перечитал написанное вчера о «ДЖ»⁷³.

[На л. 48–55 — вклейки из газет]

[Вклеена открытка с подписью: «Ленинград. Гостиница «Европейская».]

Здесь я прожил много недель и пожалуй даже месяцев в годы с 1958 по 1963. [т. е., по-видимому, это вклеено не ранее 1963!]

24 июля. Приехал сегодня из Ленинграда <...>.

Вчера в «Известиях» заметка М. Долгополова о съемках «Гусарской баллады»⁷⁴. Это был наш «юбилей» с Э. — 4 года. Накануне вечером поссорились, а утром 23-го помирились⁷⁵. <...>

<...> Я приезжал в Москву, вызванный телеграммой Шавкуненко. Утром 8-го приехал (в воскресенье), весь понедельник был на студии и переделывал текст, а утром 10-го снова улетел в Ленинград (вечером у Э. празднование ее поступления в БДТ) и мне нельзя было не быть. <...> Греческий журнал продолжает печатать мои воспоминания о М-де. <...> Парнис мечтает вернуться на родину.

Оказывается, на Студии мне не выписали зарплату на второй месяц. Я ограничился тем, что написал вопросительную записку Шавкуненко. Но меня это режет, так как я рассчитывал на эти деньги.

27 июля. В Загорянке. <...>

Думаю, что при том общем миноре, в котором все находятся, фильм по «Д. давно» мог бы иметь официальный успех, если бы он был хотя бы просто не бездарен. Но всё, что я видел, не обнадеживает⁷⁶.

30 июля. Третьего дня привел в порядок мысли по сценарию о старой гильзе с запиской, перепечатал и отвез Шавкуненко⁷⁷. Его не было <...>. Зашел в комнату «Гусарской баллады»: все на съемке, где-то на Истре. Какая-то дама, сидевшая там, ответила мне, что осталось снимать еще около 300 метров. <...> [Далее уже о другом.]

2 авг. <...> еду в город. <...> Звоню и еду на Мосфильм. Шавкуненко нет, но от секретарши и редакторов узнаю, что мое либретто ему и прочим понравилось и они будут со мной заключать договор. <...>

⁷² Александр Абрамович Каменский (1922–1992), искусствовед.

⁷³ Очевидно, о «Докторе Живаго». Далее фрагмент есть в изд. Шумихин. 2000, 561.

⁷⁴ На самом деле: 21 июля (Известия, с. 6) в рубрике «Экран и сцена»: *Киноленты расскажут* (подпись: *Мих. Долгополов*).

⁷⁵ Не вполне понятно, какой «юбилей» имеется в виду (4 года знакомства с Рязановым?) и из-за чего была упомянутая ссора.

⁷⁶ Здесь очевидно, что этот фильм АКГ оценивает, мягко говоря, не слишком высоко. Ср. характерную сцену в дирекции студии «Мосфильм», описанную ниже, и слова замминистра про *Тру-ля-ля*.

⁷⁷ Это сценарий уже для совсем другого фильма, не «Гусарской баллады», а «Офицер запаса» (см. ниже).

Договор на «Офицера запаса» мне сейчас не только очень кстати, это буквально мое спасенье.

4³ авг. [«4» переправлено на «3»]

Приехал в девять на Мосфильм к Шавкуненко, но подробному разговору с ним помешало появление нового только что назначенного зам. министра Баскакова (он раньше в ЦК занимался вопросами кино и возражал против постановки «Давным-давно» прошлой осенью. Молодой, высокий человек, резкий, вспыльчивый, неглупый и начитанный. Тон поразительно безапелляционный, грубоватый. При мне стал кричать на Сурина и Шавкуненко за то, что они ставят инсценировку рассказов Генри. При мне спросил Сурина — будет ли готов к «юбилею» фильм по «Давным-давно». Сурин и Шавкуненко хором ответили, что будет. Он спросил, посмотрев на меня (нас познакомили), нравится ли им самим фильм. Я промолчал, а Шавкуненко ответил, что ему нравится, что он серьезный, героический и там не будет тру-ля-ля. Но замминистра сказал, что немножко «тру-ля-ля» все-таки нужно. Тогда Сурин и Шавкуненко хором доложили, что «тру-ля-ля» будет. Он спросил о Голубкиной. Шавкуненко сказал, что в театре эту роль играли иногда лучше, но что Г-на ничего. Баскаков все время вопросительно взглядывал на меня, но я молча дымил трубкой. Глупостей этот Баскаков не говорил, скорее — наоборот, но оставил неприятное впечатление тоном, напомнившим незабвенного полковника Мелькина⁷⁸.

6 авг. Подписал сегодня договор на «Ковальчук, офицер запаса»⁷⁹.

7 авг. Письмо и открытка от Эммы [уехавшей в Новочеркасск]. В письме она пишет условленную фразу, что «Н. Д. ничего не преувеличил» — что означает, что слухи о демонстрациях и забастовках в Новочеркасске, о которых поговаривали, — правда⁸⁰.

9 августа [вклейка: «Гусарская баллада»] Настоящая заметка напечатана во вчерашней «Вечерней Москве». Я ехал в поезде, а против меня читали газету и я ее увидел. До этого был на Мосфильме, где получил немного денег за переработку сценария. <...>

14 авг. Вчера был на Студии. Рязанов просит переписать один кусок. В четверг 16-го должны картину сдавать директору Студии, а завтра он обещал показать ее мне.

15 авг. В первый раз полностью смотрю «Гусарскую балладу» вместе с группой. Собралось еще довольно много народу. Волновался. В тех местах, где неплохо, предательски слезились глаза. Какие то куски идут без звука и музыки, но целое все же видно. <...> Яковлев хорош сверх ожиданий. <...> Плохи очень старик Азаров — Ю. Кольцов и Давыд Васильев⁸¹ — какой то кошмарный актер. Не хватает тонкости, изящества и кое где элементарного вкуса⁸². Но местами есть темперамент и

⁷⁸ Мелькин — полковник, начполитотдела Каргопольлага — по отзыву АКГ, *тупой и спесивый*: в 1953 г. за какую-то провинность он изгнал его из лагерного театра, и некоторое время АКГ заведовал вещевым складом (зап. от 30 марта 1967 г.).

⁷⁹ Но на «Мосфильме» фильм с таким названием снят не был.

⁸⁰ Очевидно, о расстреле в Новочеркасске Эмме и АКГ рассказывал Н. Д. Оттен. Ср. подробно: Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3. Глава 3. Закон сегодня. С. 478–485.

⁸¹ Исполнитель роли Дениса Давыдова в фильме.

⁸² К сожалению, это истинная правда и касается не только данного фильма.

выдумка. Хорош эпизод с наступлением французов, переходящим в бегство под песенку Лепелетье — это целиком выдуманно Рязановым⁸³. И все же — это моя пьеса, и это главное. Все смотревшие поздравляют, сулят успех. Хорошо бы!

21 авг. [вклейка — заметка из «Литературной газеты»:] А. Gladkov. Героическое и комедийное.

[Заявление на имя Шевкуненко — о повышении гонорара за стихотворный сценарий — от него и Рязанова.]

«Уважаемый Юрий Александрович!

Когда мы подписывали договор на сценарий «Гусарская баллада», то, как вы наверняка помните, у нас существовала устная договоренность с руководством Объединения, что общая сумма гонорара за сценарий будет изменена впоследствии в зависимости от успешности нашей работы⁸⁴. <...>

27 авг. <...> Шавкуненко обещает нам с Рязановым увеличить сумму договора. Пишем заявление.

30 авг. Утром на Мосфильме. <...> смотрим с Хренниковым фильм. <...> Тихон смотрит фильм с волнением, со слезами на глазах. <...>

31 авг. [АКГ знакомится с С. Бондарчуком и смотрит с ним сцены из его фильма «Война и мир»]

3 сент. <...> У Левы тяжело больна мать — Тамара Казимировна Трифонова⁸⁵. Она лежит в Ленинграде в больнице.

14 сент. <...>

Мама от картины в полном восторге.

[Далее в дневнике — никак не комментируемое письмо (или даже заявление?), обращенное к «Елене Михайловне» по поводу ее рецензии на спектакли оперетты «Голубой гусар» в Иркутском и Красноярском театрах — с протестом против того, что имя АКГ там не упоминается⁸⁶.]

<...>

П. С.

Когда я находился в лагере, а в Москве шел «Голубой гусар» под фамилиями Гальпериных, то естественно я не считал возможным (т. е. реальным) выражать свой протест. Но согласитесь сами, что сейчас обстоятельства несколько изменились⁸⁷.

20 сент. 1962. Умер Н. Ф. Погодин⁸⁸.

⁸³ АКГ отдает должное Рязанову, который в мемуарах ставит это признание себе в заслугу.

⁸⁴ Видимо, это о нем в книге Э. Рязанова сказано: «К сожалению, Юрию Александровичу не удалось выбить те деньги, которые составляли резерв и были недобраны до потолочной суммы договора. Так что я влез в соавторство за счет Gladkova».

⁸⁵ Тамара Казимировна Трифонова (1904–1962), литературовед, сестра известной писательницы Веры Кетлинской; приемная мать друга АКГ — Льва Левицкого. 27 сент. АКГ напишет, что она умерла «вчера».

⁸⁶ Возможно, это Елена Михайловна Гольшева (1906–1984), переводчица с английского; жена Н. Д. Оттена, и имеются в виду ее рецензии на оперетту «Голубой гусар» (РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. № 430. Письма и телеграммы АКГ в ВУОАП и ВАПП по поводу помещения его имени на афише спектакля «Голубой гусар». 1962–1976. 7 л.

⁸⁷ Гальперины Михаил и Елена — авторы пьес «Мадемуазель Нитуш» и «Лев Гурыч Синичкин», а также либретто к музыкальной комедии «Голубой гусар» (1945) — последняя по пьесе Gladkova «Давным-давно» (РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 3. Ед. хр. 1028).

⁸⁸ Николай Федорович Погодин (настоящая фамилия Стукалов; 1900–1962), сценарист и драматург.

22 сент. Вечером радио в «Посл. известиях» сообщает о том, что сегодня умер Казакевич.

Жалко! Честный, настоящий писатель! Он оставил неоконченный большой роман, о котором рассказывал мне еще год-полтора назад, когда приходил ко мне, сначала с Алигер, а потом один брат у меня книги⁸⁹.

8 окт. <...>

Надо подробно записать рассказ Арбузова об ужасающей смерти Погодина: огромное, потрясшее его впечатление от Америки, понимание ложности замысла пьесы об Эйнштейне и ложности многих жизненных убеждений и установок, запой, отношения с сыном и женой, которые ушли из дома в виде протеста против его запоев, дочь от первой жены вдруг появившаяся, смерть в одиночестве, шофер, описанная дача и пр.⁹⁰ <...>

24 окт. Приехал сегодня и застал маму лежащей, не желающей звать врача и явно серьезно больной.

Еду в город <...> В «Новом мире» панические разговоры о возможности войны в связи с событиями вокруг Кубы⁹¹. Повесть о лагере Солженицина пойдет в № 11.

[С 10 нояб. по 19 дек. перерыв в записях — из-за болезни матери: она умерла 19 ноября, о чем в дневнике не сообщается!]

22 дек. <...>

Сегодня по рекомендации Беньяш⁹² снял комнату на улице Рубинштейна, маленькую, но кажется в хорошей квартире. <...>

[О письме Н. Я.] радуется посланному ей куплету песни про то, как «Фартовый парень Оська Мандельштам читает зека стихи Петрарки у костра» (из известного «Письма зека товарищу Сталину», текст которого растет на глазах)⁹³.

31 [дек.] Новый год у Эммы. Потом едем ко мне.

⁸⁹ Эммануил Генрихович Казакевич (1913–1962), писатель. Имеется в виду, очевидно, его незаконченный роман-эпопея «Новая земля» (опубл. в 1967), начатый с правдивого показа советской действительности 1930-х годов.

⁹⁰ Невестка Н. Ф. Погодина сведения Арбузова оценивает как «литературную сплетню».

⁹¹ Так называемый «Карибский кризис» в отношениях между СССР и США — международная конфликтная ситуация, возникшая после размещения на Кубе советских баллистических ракет, что рассматривалось руководством СССР в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции и Италии.

⁹² Раиса Моисеевна Беньяш (1914–1986), театровед и театральный критик.

⁹³ Это народное добавление к песне Ю. Алешковского «Товарищ Сталин, Вы большой ученый». Добавленное четверостишие, в котором упоминается Мандельштам (один из вариантов): «Для Вас открыт в Москве музей подарков, / И Исаковский пишет песни Вам. / А у костра читает нам Петрарку / Фартовый парень Ося Мандельштам».

Подготовка публикации, комментарии
Михаила Михеева

Публикатор дневника благодарит за помощь тех, кто принимал участие в комментировании текста АКГ: Елену Александровну Амитину, Дмитрия Исаевича Зубарева, Дмитрия Нига, Константина Михайловича Поливанова, Александру Александровну Раскину, Наталию Дмитриевну Солженицыну, Габриэля Суперфина, Валентину Александровну Твардовскую, Романа Тимензика, Елену Цезаревну Чуковскую, Юрия Львовича Фрейдина и, к сожалению, уже покойных — Виктора Марковича Живова и Сергея Викторовича Шумихина.

Юрий ПОЛЯКОВ

ДРАМЫ ПРОЗАИКА

1. Горкомовские кресла

В пору литературной молодости пьес я не писал. Даже не помышлял об этом. Драматурги казались мне небожителями. Я, начинающий поэт, забежав в ЦДЛ выпить пива, видел, как с антресолей Московской писательской организации величаво спускался председатель объединения драматургов Алексей Арбузов. И все вокруг шептали: «Смотрите — Арбузов!» Приезжал на белом «мерседесе», невероятном в Москве 70-х (второй такой имелся, кажется, только у Высоцкого), Михаил Шатров — автор пьес о Ленине. Лицо у него всегда было хмуро-брезгливое, словно он, озираясь, не мог смириться с тем, во что превратил великие замыслы Ильича наш неудачный народ. Совсем другое впечатление производил Виктор Розов, напоминавший доброго, лысого детского доктора, но и он был небожителем. Сама мысль сесть и сочинить пьесу казалось мне таким же странным намерением, как желание написать, скажем, конституцию. Написать-то можно, но какая страна захочет жить по твоей конституции? Точно так же не было надежды, что лохматый режиссер перенесет твои фантазии на сцену, люди с высшим актерским образованием выучат и будут декламировать твои диалоги, а художник измалюет краской полсотни квадратных метров холстины, чтобы отобразить коротенькую ремарку: «Нескучный сад. Входит Петр. Анфиса сидит на скамейке. Листопад». Остальное, казалось, вообще из области фантастики: купив заранее билеты, зал заполнят зрители и будут слушать, смеяться, плакать, хлопать, а в конце заругут: «Автора!» Тогда я в новом костюме выйду к рампе, поклонюсь и умру от счастья — в театре, как и завещал великий Белинский.

Но жизнь любит сюрпризы. Нет, не я пришел в драматургию, она пришла ко мне. Пьесами, точнее сказать, инсценировками обернулись мои «перестроечные» повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Работа над ошибками», «Апофегей». Это случалось как-то само собой: звонили из театра, спрашивали согласия (видимо, бывают странные прозаики, которые возражают против инсценировок!), а потом приглашали уже на премьеру. Именно так случилось с «Работой над ошибками», поставленной в 1987-м в ленинградском ТЮЗе Станиславом Митиным. Спектакль шел на аншлагах, вызывая бурные споры учащихся и учительствовавших зрителей. Я участвовал в этих диспутах, нес прекраснодушный перестроечный бред и очень удивлялся, что у мудрых пожилых педагогов есть сомнения в конечной цели начавшегося ускорения. Станислав Митин впоследствии перебрался в Москву, стал кинорежиссером и через четверть века поставил фильм «Апофегей» с Марией Мироновой, Даниилом Страховым и Виктором Сухоруковым в главных ролях.

Юрий Михайлович Поляков — советский и российский писатель, поэт, драматург. Родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский областной педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы. С 2001 года главный редактор «Литературной газеты».

Впрочем, случались ситуации и позамысловатей. Так, первым инсценировать мою на шумевшую повесть «ЧП районного масштаба» вызвался Марк Розовский в своей студии. Он взял с меня честное слово, что я больше никому не отдамся, и надолго исчез. А тут вдруг с лестным предложением позвонил сам Олег Табаков, он как раз открыл свою «Табакерку» и искал что-нибудь остросовременное. Острее «ЧП» тогда, в 1985-м, скажу без ложной скромности, ничего не было. Кстати, Олег Табаков и поныне любит все радикально новое, а точнее сказать, все то, к чему привешен яркий ярлык «новая коллекция». Однако настоящая новизна в театре — вещь редкая. Зато показательной новизной часто подменяют мастерство. Но искусство, как нож, нельзя вострить до бесконечности, лезвие однажды бесследно сточится, что мы и наблюдаем.

Верный данному слову, я бросился разыскивать Розовского и обнаружил его в писательском парткоме. Он платил взносы. Если когда-нибудь в Отечестве налоги будут платить так же аккуратно, как сдавали в свое время партийные взносы, страна накренится от изобилия. Помявшись, Розовский сознался, что горком ВЛКСМ одарил его театр-студию списанными креслами, и теперь ему неловко ставить что-то критическое о комсомоле. Сколько лет прошло, а отношение нашей либеральной интеллигенции к государству осталось тем же: вообще-то мы власть в принципе не любим, но если нам подарят просиженные кресла, потерпим.

В результате первым спектаклем «Табакерки» стало «Кресло» — сценическая версия «ЧП районного масштаба». Кстати, именно тогда мне впервые пришлось столкнуться с коварством театра как системы. Прочитав инсценировку, я горячо возразил против некоторых мест, искажавших, на мой взгляд, повесть. Ведь я-то хотел улучшить советскую систему, комсомол в частности. А мои сценические интерпретаторы мечтали сломать ее и развеять по ветру. Автор инсценировки жарко со мной согласился и обещал все исправить. Надо ли объяснять, что ни одно мое пожелание учтено не было. Это я и обнаружил, сидя на премьере и хлопая больше глазами, нежели ладошами. Вспомнив о гоголевских наставлениях господам актерам, я после премьеры простодушно объяснился с исполнителями. Кстати, в спектакле играли юная, незаавгустевшая Марина Зудина, заслуженный «доброволец» Петр Щербаков, Игорь Нефедов, который перевоплощался в заворга Чеснокова с таким веселым азартом, что невозможно было помыслить о скором самоубийстве молодого актера. Они слушали мои глупые, как я теперь понимаю, наставления, кивали и смотрели на меня с усталым недоумением. Позже мне стало ясно: автор в театре незащищен, как прохожий в зоне контртеррористической операции.

Но эти первые огорчения оказались пустяком в сравнении с тем, что ждало меня в Ленинграде. «ЧП» задумали поставить в Александринке. Впервые попав в золоченый зал, мало отличающийся от Большого театра, я испытал чувство неловкости: «Неужели моя простая история об украденном комсомольском знамени будет сыграна здесь, среди этой имперской роскоши? Не может быть...» Но меня успокоили: по этой сцене и комбайны рожь косили, и бойцы строем ходили, и вредителей обезвреживали... Худрук Александринки знаменитый Игорь Олегович Горбачев пригласил на постановку молодую режиссерскую даму, искрившую буйными идеями, которые происходят от не перебродившего в голове вузовского курса истории театра. Начать она решила со сцены штурма графского дома революционными матросами, хотя в повести кратко сообщалось, что райком помещался в старинном особняке. Но театр был академический — и средств не пожалели: революционные толпы бурлили на многометровом заднике-экране. Сейчас этот «кинотеатр» стал обычным делом, даже смешно: зачем живого актера заменять проекцией? Но тогда — в середине 80-х... Прорыв!

Мне тоже пришлось попотеть: год я буквально жил в «Красной стреле», переписывал сцены, переделывал диалоги, придумывал репризы, млея на репетициях: режиссерская дама иногда выпрыгивала из-за пульта, перемахивала оркестровую яму и показывала актерам, как надо играть тот или иной эпизод. Они слушали ее с плохо скрываемой иронией, как усатые фронтовики небреющегося лейтенанта. Опытный драматург сразу бы догадался: спектакль обречен, по крайней мере, с этой постановщицей. Но я был новичком и ничего не подозревал, хотя сидевший на репетициях Игорь Олегович Горбачев вздыхал, становясь все угрюмей. Однажды, когда на сцене два актера изображали воспитательный спор первого секретаря со злоумышленником, он вдруг тихо меня спросил: «Юра, как вы думаете, кто из них выше?» — «В каком смысле?» — «Ну, в ком росту больше?» — «В нем!» — я указал на молодого актера. «А вот и нет. Он на десять сантиметров ниже, а кажется вышеким, потому что талантливей. Это театр...»

И вот в Ленинграде расклеены афиши, я иду по Невскому проспекту, останавливаюсь около тумб и читаю: «Юрий Поляков. ЧП районного масштаба. Премьера». Спешащие мимо бледнолицые северные красотки не подозревают, что могут запросто познакомиться с видным драматургом средних лет и попасть на премьеру по авторской контрамарке. Однако премьера отменилась: из обкома КПСС поступило мнение: «Не надо!» На «Ленфильме» Сергей Снежкин как раз начал снимать одноименное кино, и руководство решило: для колыбели революции двух «ЧП» многовато. Тогда я, конечно, почувствовал себя жертвой врагов перестройки, засевших в Смольном, но теперь думаю иначе: Горбачев (не Михаил Сергеевич, потихоньку сдававший страну), а Игорь Олегович мог одним своим авторитетным словом спасти постановку, но не спас. Почему? Да уж больно слабый получился спектакль. Требовательное поколение! Так мне и не довелось выйти на поклон перед многоярусным зрителем Александринки.

Спустя четверть века я решил снова попытать счастья в этом легендарном театре и отдал новую пьесу худруку Владимиру Фокину, которого помнил еще любимцем московского комсомола, когда он поставил свою первую вещь в «Современнике». Главную роль исполнял Константин Райкин. Зал ждал, что он, как и его всесоюзно остроумный папа, начнет хохмить, а он начал страдать. Аплодисменты! Кстати, в 1977 году, вернувшись из армии, я обнаружил, что мое место преподавателя-словесника в школе рабочей молодежи занято, и пошел на работу в Бауманский райком комсомола. Как раз готовилась очередная отчетно-выборная конференция, мне поручили курировать выступление делегата Константина Райкина. Курировать — значит писать речь для оратора. Когда вместо обязательных идеологических мантр я предложил вставить в текст слова о том, что у молодого искусства должно быть «лица необщее выраженье», он глянул на меня, как на сторожевого пса, продекламировавшего стихи Боратынского.

Но вернемся к Фокину. Через какое-то время я спросил: «Ну как пьеса?» Он затуманился и ответил: была читка, вещь всем очень понравилась, много смеялись, хорошая работа... «А?» — спросил я, имея в виду возможность постановки. В ответ он лишь вздохнул, как мужчина, которому перелистывание «Плейбоя» давно уже заменило женщин. Я его понял и посочувствовал. К отказам мне не привыкать.

Но двадцать пять лет назад, узнав об отмене премьеры «ЧП», я, конечно, закручинился, жалея напрасно потраченное время. И тут в «Юности» вышла моя повесть «Апофегей», имевшая бурный успех. Мне позвонил обаятельный завлит Театра имени Маяковского с пушкинской фамилией Дубровский. Он сообщил с сакральным придыханием:

— Вас хочет видеть Андрей Александрович Гончаров. Лично!

Я помчался и познакомился с этим замечательным режиссером, похожим на орла, поседелого в комфортабельной неволе. Гончаров объявил, что влюблен в мою повесть и непременно поставит «Апофегей» на сцене Маяковки, но... Это «но», облагороженное рассуждениями о тонкостях эстетического сопряжения прозы и сценического действия, сводилось, как мне стало со временем понятно, к одному: в повести слишком уж ехидно изображены партработники, а они ведь тоже люди! Далее без малого два года я приносил один вариант за другим, и каждый, по словам завлита с пушкинской фамилией, оказывался лучше предыдущего, но... И мне приходилось снова дорабатывать текст, постепенно накапливая в душе яд «анти-сценизма» или «театрофобии». Это уж кому как нравится.

Но тут грянул август 1991-го. Я встретил его в Коктебеле, где украинские писатели, узнав о крахе ГКЧП, бегали по дому творчества с криками: «Крым наш!» Еще вчера они говорили исключительно по-русски, а тут перешли на мовояз — и наши споры о будущем многонациональной страны стали напоминать диалоги Торопуньки и Штепсея, весьма популярных в СССР. «Бедные мы, бедные!» — вздыхал директор дома творчества с простой украинской фамилией Петров. Вскоре его посадили.

Еще не успели отликовать победившие демократы (совсем недавно они так же радовались, получив отпуск из СССР на ПМЖ за границу), как я, сойдя с самолета, бросился в Театр имени Маяковского к своим мучителям: мол, теперь-то можно все-все-все! И снова услышал «но». Только на сей раз сквозь умные рассуждения о сценическом инобытии прозаического образа сквозили иные печали и опасение: а не слишком ли мягко изображены в «Апофегее» номенклатурные монстры? Мы с ними как с людьми... А ведь, в сущности, партия — преступная организация. Говорят, будет даже суд над КПСС. Опытные люди уже готовятся: один главный режиссер перед телекамерами сжег свой партбилет, правда, говорят, не настоящий, а дубликат, предусмотрительно сработанный в бутафорском цеху. В общем, я понял: Гончаров, конечно, — великий режиссер, но с веком-волкодавом предпочитает не ссориться. Призрак горьковских кресел всплыл в моем сознании, и я поклялся никогда больше близко не подходить к театру. Разумеется, в качестве автора.

2. За что Соленый убил Тузенбаха?

Никогда не говори «никогда». После выхода в 1996-м моего романа-эпиграммы «Козленок в молоке» мне позвонил Вячеслав Шалевич и завел речь о постановке в Театре имени Рубена Симонова, что на Старом Арбате. Писать инсценировку, помня бездарно потраченные силы, я отказался, и ее поручили профессиональной драматургессе — даме с голосом проснувшейся девочки. Но она выдала такую беззатейную халтуру, что пришлось садиться и переписывать, а точнее, сочинять пьесу по мотивам собственного романа. И так, несмотря на зарок, мне довелось снова стать драматургом. Эдуард Ливнев доработал текст и поставил блестящий спектакль, который идет вот уже семнадцатый сезон и всегда при переполненном зале. Актер Игорь Воробьев, игравший Акашина, стал на Арбате легендарной личностью: завидев его, говорили: «Вон Витёк пошел!» Несколько лет главную мужскую роль исполнял Игорь Гаркалин, а спектакль играли в огромных, тысячных залах.

Но и это радостное событие вряд ли заставило бы меня всерьез заняться сочинением пьес, если бы я, как всякий нормальный человек, не ходил в театр. А что я мог там увидеть? Чаще всего — новаторски оскверненный труп классики. Как-то мы с женой отправились на «Трех сестер» и узнали, что Соленый застрелил своего любовника Тузенбаха за то, что изменщик решил жениться на «натуралке». Ей-

богу! Можно было так же налететь в солидном театре на современную драму про обитателей городской помойки, которые, матерясь, мечутся между промискуитетом, вечностью и наркотой. Сплошь и рядом шли прокисшие антисоветские капустники в духе Коляды. В лучшем случае давали импортную комедию, очень смешную, но ее содержание намертво забывалось в тот момент, когда гардеробщица с моим номерком шла к вешалке, с которой начинается театр.

Непостижимо, но российский театр словно и не заметил жуткую социально-нравственную катастрофу, потрясшую Россию в 90-е. Он прошел мимо, «не повернув головы кочан», как сытый банковский клерк проходит мимо побирающегося ветерана. Это нежелание признавать центральный конфликт эпохи — между обманувшими и обманутыми — фантастически нетипично для нашего театра. Всегда, и при самодержавном присмотре, и в самые подцензурные советские годы, реальные, а не фантомные боли общества прорывались на подмости. А ныне... Куда девалась, скажем, сатирическая комедия, жанр, уцелевший даже в 30-е годы и словно специально предназначенный для нашего гомерически нечестного времени? Неужели спонсоры оказались страшнее следователей НКВД? Эту мину брезгливого равнодушия к реальности, ввевшуюся в лицо отечественной Мельпомены, нельзя было прикрыть никакими «золотыми масками», канонизировать никакими госпремиями и триумфами. Самое грустное, что произошло это в годы, когда власть в кои-то веки дала российскому театру «вольную». Впрочем, в результате все оказались как бы «временно обязанными». Может, именно в этом суть проблемы? Конечно, конечно, были исключения, были настоящие, честные пьесы и блестящие режиссерские работы. Но я — о тенденции. Судьбы русского театра мы еще коснемся.

И тогда я решил попробовать сочинить пьесу, такую, какую сам, как зритель, хотел бы увидеть на сцене. Современную комедию. Так в 1997-м появилась «Левая грудь Афродиты». Но ее ждала странная судьба. Не успел я показать пьесу театрам, а кинорежиссер Александр Павловский попросил почитать и... немедленно снял по ней двухсерийный телефильм с Ларисой Шахворостовой, Сергеем Моховиковым и Андреем Анкундиновым. Ленту показали по телевизору и «засветили» сюжет. Лишь несколько театров потом поставили пьесу, так сказать, «испорченную» коварным кинематографом. Но думаю, театры к ней еще вернуться. Подождем.

Тем временем я задумал новый сюжет — «Халам-бунду»... Но тут Станислав Говорухин, закончив работу над фильмом «Ворошиловский стрелок», где я прописывал диалоги, сказал мне: «Давай напишем пьесу! Ульянов очень просит. Жалуются: ставить нечего, один мат, чернуха и совокупления при отягчающих обстоятельствах...» Я согласился и предложил оттолкнуться от моих набросков к «Халам-бунду»: конфликт «старых советских» с «новыми русскими». «Отлично! — кивнул Говорухин. — Старая советская квартира, орденосный дед, никчемные дети, мятущаяся внучка, за которой ухлестывает нахрапистый бизнесмен. Но остальное надо придумывать заново!» Придумали. В моем архиве хранится первый вариант «Смотрин» с роскошно-нецензурными замечаниями Говорухина. Пьесу закончили в 2000 году и отдали, как договаривались, в Театр имени Вахтангова. Прочитав, Михаил Александрович грустно молвил: «Слишком остро. Меня не поймут...» — и показал в сторону Кремля, где досиживал последние месяцы всенародно избранный дирижер немецкого оркестра. Да, экранный Ульянов, будучи Жуковым, не боялся даже Сталина! Впрочем, мне и потом приходилось сталкиваться с актерами, чей экранный образ отличался от жизненной позиции, как шахид от хасида. «Подумаешь! — хмыкнул Говорухин. — В Москве театров до хрена, академические сосчитать — пальцев не хватит!» Он предлагал наш горький плод другим, показывал своим влиятельным друзьям, реакция везде была примерно одинаковая: «Стасик,

ну ты уж совсем!» Один замахал руками: «Ты с ума сошел!» У меня эти Корзубы (отрицательный герой в „Смотринах“) на лучших местах сидят, а вы его мерзавцем изобразили! Не поймут. Обидятся...»

В конце концов пьесу взяла Татьяна Васильевна Доронина. Социальная жесткость и горькая ирония ее не смутили, а, напротив, вдохновили. Правда, по поводу Корзуба она заметила: «Какой-то он получился симпатичный. А ведь это же конечный мерзавец!» Я согласился, но оставил все как есть. Спектакль ставил сам Говорухин. Это была его первая в жизни сценическая работа, и протекала она в бодрящем конфликте с руководством театра. Будучи председателем Комитета по культуре Госдумы, он иной раз срочно уезжал на заседание и приказывал мне: «Репетируй без меня!» — «Я?.. Как?.. Я же не умею!» — «А что тут уметь? Ори на актеров и говори, что Станиславский их вообще убил бы!» В канун премьеры все нервничали. Татьяна Васильевна предсказывала полный провал, намекая на то, что служение сразу двум богам (Театру и Политике) до добра не доводит. Заразившись сомнениями, Говорухин потребовал придумать интригующее название, чтобы зритель валом повалил. Напоминаю: дело было в 2001-м, когда интерес к театру после варваризации 90-х только восстанавливался. Я предложил назвать спектакль «К нам едет олигарх!». «Неплохо, но думай еще!» — был ответ. Я напрягся и родил «Контрольный выстрел». Так назывался роман, сочиненный филологической старушкой, чтобы заработать на жизнь обнищавшей семье. «Пойдет!» — кивнул мэтр.

Есть два типа режиссеров. Первые (Говорухин из них) знают, чего хотят от писателя. Они будут ругаться, отвергать предложенное, стыдить, унижать, грозить разрывом и возвратом аванса, но как только ты выдашь требуемое, они в зависимости от характера тебя обнимут, поведут в ресторан или скупой похвалят, чтобы не избаловать «писарчука». А вот ко второму типу относятся те режиссеры, которые не знают, чего хотят. С авторами они обращаются, как недееспособные мужчины с женщинами, требуя от несчастных чего-то невероятного, что вернет силы и способность к любви. С такими лучше не связываться. Результат всегда один: измочаленные нервы и выпотрошенное подсознание, а на выходе то же самое, что и на входе.

После генерального прогона Станислав Сергеевич закурил трубку и сказал: «Поляков, мы с тобой два м...ка, я старый, а ты молодой!» — «Почему?» — удивился я. «У нас нет концовки, коды. Удара под занавес нет!» Всю ночь я ворочался, перебирая варианты, а под утро понял: в квартиру должен войти телохранитель олигарха и сказать: «Господа, машины поданы. Спускайтесь! Босс ждать не любит!» Это и есть — контрольный выстрел. Не случайно первый исполнитель роли академика Кораблева народный артист Николай Пеньков всегда добавлял от себя: «Вот вам и контрольный выстрел. В лоб!» Хотя в тексте «лба» в помине не было. А какой замечательной бабушкой-писательницей, сочинявшей под псевдонимом Ричард Баранов (потому что все читатели — козлы), была народная артистка Луиза Кошукова! Когда она говорила: «Напьемся до синих зайцев!» — зрители падали под кресла. Талант актера в чарующем преувеличении. Талантливый актер не только кажется выше ростом, но и выше, значительнее кажутся произносимые им слова. Однако как только драматург начинает писать в расчете на это «преувеличение», то получается халтура.

Премьеру приняли на ура. «Интересно, она слышит эти овации?» — спросил ворчливо Говорухин. «О да! У Татьяны Васильевны в кабинете радиотрансляция!» — с трепетом ответила завлит. Но Доронина сидела в глубине директорской ложи и загадочно улыбалась. Не только у Говорухина были методы выдавливания из соавтора результатов, но и у художественного руководителя тоже имелись свои хитрости, чтобы постановщика, утомленного разной общественной деятельностью, «завести»,

подвигнув на художественный рекорд. Так и вышло: вот уже пятнадцатый сезон в МХАТе имени Горького играют «Контрольный выстрел», а любой спектакль идет, пока на него идет зритель. В марте нынешнего года давали благотворительный «Выстрел» в поддержку Крыма, возвращенного в Россию. На сцену вышел подводник Леша и стал рассказывать совсем не о том, как непросто служит в Севастополе, как власть бросила ржаветь Черноморский флот, как даже русских книг не стало на независимой Украине, а исключительно «только про то, какие все москали — сволочи»... И зал, встав, зааплодировал. «А я-то думал, все это давно устарело! — повернулся ко мне Говорухин. — Хорошо мы тогда с тобой написали!»

3. А у вас по-настоящему...

Окрыленный и кое-что понявший во время репетиций «Контрольного выстрела», я досочинил комедию «Халам-бунду» и показал Вячеславу Шалевичу, а он предложил ее продюсеру Юлию Малакянцу. Был приглашен режиссер Сергей Кутасов, и вышла роскошная антреприза с участием Сергея Никоненко, Кати Климовой, Дмитрия Харатьяна... Играли спектакль в больших залах, например в Центре на Язуе — бывшем телевизионном театре. Как-то с друзьями мы сидели в ложе, и я, млея от авторского восторга, шептал: «Погодите, то ли еще будет во втором акте!» А во втором акте бесследно исчез один из персонажей — Костя, отец главной героини. Его текст актеры поделили по-братски, от чего на сцене начался антисюжетный ужас. Я ждал, когда зрители начнут свистеть, как на стадионе, если мазила нападающий бьет мимо пустых ворот. Но зал, включая моих друзей, с интересом наблюдал за происходящим на сцене, хохоча над репризами. Едва сошелся занавес, я помчался в гримерку, чтобы устроить скандал, и узнал: исполнителя роли Кости в антракте увезли с сердечным приступом. Выбор не велик: выйти к публике — извиниться — или доигрывать как ни в чем не бывало. Они выбрали второе. Я понял и побежал в магазин за выпивкой — снять общий стресс.

Дальнейшая судьба этой антрепризы печальна и показывает, насколько хрупка судьба любой постановки. Это тебе не кино: снял, нашлепал копий и крути до одури. Один из основных исполнителей страдал запоями, недугом более характерным для писателей, но встречающимся и среди актеров. Когда в третий раз он сорвал гастроль и обрек продюсера на серьезные убытки, проект прогорел и закрылся. Но пьеса вскоре была поставлена в МХАТе имени Горького все тем же Сергеем Кутасовым. В спектакле блистал народный артист Михаил Кабанов, игравший предводителя районного дворянства Лукошкина. Он загримировался под Никиту Михалкова, надел широкополую шляпу и говорил неповторимым амвоным тенорком Никиты Сергеевича. Едва Кабанов-Михалков появлялся на сцене и произносил несколько слов, зал заходил от хохота.

Пьеса «Халам-бунду» по сей день широко идет в России и СНГ. Посещая премьеры, я невольно исполнил наказ Гоголя: «проездили по России». Я увидел множество постановок, хороших и разных. Но одна запомнилась особенно. Художественная руководительница, встретив меня у поезда, таинственно шепнула: «Юрий Михайлович, мы приготовили вам сюрприз!» Весь спектакль я томился в ожидании. «Сейчас, сейчас!» — интимно шептала мне худрукиня в темноте директорской ложи. Наконец сыграли предпоследнюю сцену. Многообещающе опустился занавес. «Что же они там такое придумали? — гадал я. — Наверное, что-то фантастическое, если так долго меняют декорации. Может, саванну сооружают?» Занавес открылся, и актеры вышли на поклон. Последняя сцена, где молодые герои сливаются в пыльном «халам-бунду», была просто выброшена. Сюрприз! «Ведь правда же, так луч-

ше?» — спросила худрукиня голосом женщины, сделавшей новую прическу. Я только вздохнул в ответ, ибо к тому времени понял: спорить с режиссером, как спорить с инспектором ГАИ. Прав тот, у кого полосатый жезл, а в театральном деле жезл всегда у постановщика. Но об этом мы еще поговорим...

На премьере «Халам-бунду» я познакомился с Александром Ширвиндтом. Он предложил мне написать что-нибудь для Театра сатиры, и через год я принес ему «Хомо эректус, или Свинг по-русски». Пьеса его озадачила, но понравилась. Стали искать режиссера, кандидатуры появлялись и отпадали. Наконец сговорились с худруком окраинного московского театра. Сделали распределение. Но случилось невероятное: заслуженный артист, который должен был играть диссидента, ставшего депутатом-жуликом, отказался от роли по идейным мотивам, мол, пьеса — клевета на светлые идеалы демократии. Вообще такие слова в устах актера звучат примерно как рассуждения боксера о бесценности каждой клетки головного мозга. К идейно возбужденному артисту примкнули другие предполагаемые исполнители. Стало ясно: детей просцениума кто-то накрутил. Они обратились к Ширвиндту с петицией: пьеса Полякова не в демократических традициях театра. В общем, бунт на корабле.

Ширвиндт железной рукой подавил мятеж, сделал новое распределение, и состав получился звездный: Валентина Шарыкина, Алена Яковлева, Юрий Васильев, Олег Вавилов, Светлана Рябова. Но тут, озабочась своей либеральной репутацией, отказался от постановки окраинный режиссер. Поговаривали, Минкульт (им тогда руководил мой давний соратник по бюро Краснопресненского райкома ВЛКСМ) обещал ему взамен финансовое вливание. Я к тому времени пришел в «ЛГ» и за позицию главного редактора расплачивался как драматург. Но об этом ниже. Итак, пьеса зависла на два года, первоначальный азарт стал угасать, а в театре, как и в любви, отложенное желание ни к чему хорошему не ведет. Руководство при встрече улыбалось мне все шире, но в глаза смотрело все реже: верный признак агонии проекта. Предполагаемые постановщики время от времени появлялись, но, обнюхав материал, убегали в норки.

Напоследок позвали Андрея Житинкина. Он взялся за дело решительно и быстро сбил пьесу в мощный спектакль. В отличие от Говорухина, заставлявшего сидеть на репетициях, Житинкин лишь позволил мне прочесть пьесу актерам. После читки ко мне подошла интеллигентная девушка, похожая на тихую мученицу сольфеджио, и прошелестела: «Мне поручена роль Кси. Проститутки... — она покраснела. — Но в этом образе мне не все понятно...» — «Еще бы!» — подумал я в тоске, а потом навел справки: ко мне подходила Елена Подкаминская. Она недавно в труппе, ученица Ширвиндта, он возлагает на нее большие надежды. Катастрофа! В следующий раз я увидел актеров только на показе «для пап и мам». Особенно мне понравилась Кси, зажигавшая зал своим простодушным бесстыдством. Я склонился к Андрею и шепнул благодарно: «Молодец, что заменил Подкаминскую! Новая — что надо! Как ее фамилия?» — «Подкаминская», — был ответ.

На заседании художественного совета, принимавшего спектакль, Ольга Аросева сказала:

— «Хомо эректус» — сатира, которую мы ждали в театре почти двадцать лет. Мечтали о такой сатире. Мы так долго ждали, что сразу и не поняли, что это она! Чуть не упустили такой материал...

Кстати, ничего странного тут нет. Сатиру часто принимают за клевету, а клевету, наоборот, за сатиру. А то, что мой совсем неразвлекательный «Эректус» собирает зрителей не меньше, чем коммерческий «Слишком женатый таксист» Куни, идущий на той же сцене, подтверждает известный факт: современникам нужна современ-

ность! На сегодняшний день сыграно около трехсот спектаклей. Покажите мне хоть одну «новодраматическую» пьесу с такой судьбой! Не покажете! Кстати, много лет спустя я случайно перемолвился с одним из участников бунта на корабле, назовем его «Ф». «Что же вас так тогда смутило? — спросил я. — „Совесть русской интеллигенции“ пришла на свинг со студенткой, которая приторговывает собой? Разве в жизни такого не бывает? Я же видел вас в постмодернистской чернухе. Вы там такое вытворяете, что можно смело писать в афише: детям до тридцати лет не рекомендуется!» — «Э-э! — махнул рукой Ф. — Там-то все понарошку, а у вас по-настоящему!» Он невольно сформулировал коренное отличие постмодерна от реализма.

Для Театра сатиры я написал еще пьесу «Женщины без границ», которую поставил сам Ширвиндт и где играли Светлана Рябова, Зиновий Высоковский... Идет она и в других театрах, но с трудом. Видно, опять виноват мой реализм. В этой пьесе, рассказывая о запутанной личной жизни нашей современницы, я довольно деликатно затронул лесбийскую тему, изъезженную постмодернизмом вдоль, поперек и наискосок. Но, видимо, воздействие слова, идущего от жизни, а не от литературной игры, воздействует на людей значительно сильнее. И то, что у Виктюка — все лишь изыск, у меня — культурный шок. Худрук одного театра, расположенного в казачьей области, сказал мне: «Эх, как же мне нравятся ваши „Женщины без границ“! А поставить не могу. Народ у нас строгий, правильный. Могут и нагайками выпороть!»

4. Мастера и самовыраженцы

Но поговорим наконец о том, что происходит с нашим театром. Он, по-моему, оказался пленником ложно понятой новизны и вседозволенности, застрял в своего рода «дне сурка». Он не может оттуда выбраться. А как выберешься, если под обновлением языка понимается матерщина, под творческой дерзостью — генитальная развязность, а под остротой подразумевается мучительная, как зубная боль, неприязнь к собственной стране. Многие режиссеры уверены: театр — это своего рода «майдан», место неадекватной самореализации, где можно воплотить любую самую бредовую грезу. Зрителям дозволено при этом присутствовать, критикам разрешено хвалить, а несогласных объявляют мракобесами. «Передовой» театр — это культ, и у него есть свой телец — «Золотая маска». Имеется и символ веры — неверие в Россию как самобытную цивилизацию.

Любой, отказывающийся молиться на новизну как цель, становится изгоем. Но ведь есть разная новизна. Сделать хуже, чем предшественники, тоже новизна, но зачем она такая? Недаром ехидный Михаил Булгаков язвил, что Мейерхольд погиб под трапециями с голыми боярами, рухнувшими во время репетиций «Бориса Годунова». В новизне, как и в голизне, важна мера, пропорция! Иначе нож сточится. Помните? Кстати, послереволюционный театральный авангард и его кураторы в Наркомпросе напоминали нынешних обновителей сцены. Одно время театральным отделом (ТЕО) заведовала жена Зиновьева — она же сестра Троцкого. Об этой даме, провизоре по образованию, с бешенством, облагороженным сарказмом, вспоминал Владислав Ходасевич. Почитайте! Так вот, тогдашние кураторы ТЕО считали «Дни Турбиных» не столько злостной белогвардейщиной, сколько устарелой «чеховщиной», по недоразумению пережившей революцию и Гражданскую войну. То ли дело «Оптимистическая трагедия»! И где она теперь, эта «новая драма» тех буйных лет? А Булгакова ставят и будут ставить. Чтобы быть современным, надо оставаться немного старомодным.

По-настоящему самовыразиться в искусстве можно только через мастерство. Как-то я побывал во Пскове на «круглом столе», посвященном состоянию россий-

ского театра. Вел его президент Путин. Вместо серьезного разговора, как всегда, просили помочь материально, полагая, что единственное, чего им не хватает для полной творческой нирваны, так это — денег. Перед «круглым столом» Путин обошел реконструированный театральный комплекс, стоивший казне почти миллиард рублей, и остался доволен. Эдакий олимпийский объект в ведомстве Мельпомены. Потом была премьера «Графа Нулина». Неюные тети, выряженные как пионерки, дурными голосами пели, бормотали и глумливо декламировали пушкинский текст. Потом, конечно, разделись. Оставшиеся на премьеру московские и губернские начальники сидели с лицами, искаженными двумя сильнейшими чувствами: ужасом от спектакля и радостью, что этот кошмар по занятости не увидел «сам». Реакция могла быть непредсказуема, ведь такой «Граф Нулин» — то же самое, что тараканьи бега на новеньком олимпийском стадионе. Больше всего запомнилась безысходная тоска в глазах псковских театралов, пришедших на премьеру.

Нет, я не против нового прочтения Пушкина. Я — за. Но где здесь новое прочтение? Взрослые дяди и тети, переодетые в пионеров, это же фишка конца 80-х. Ни один советский капустник не обходился без мужиков, которые, дрыгая голыми волосатыми ногами, изображали под хохот коллег танец маленьких лебедей. Воля ваша, но новаторство многих современных режиссеров — это волосатые ноги маленьких лебедей. Не более. Кстати, нарядить героя в костюм «не по эпохе» почему-то считается признаком новизны. Но если углубиться в историю театра, выяснится: до XIX века актеры играли классику в костюмах своего времени. Агамемнон мог выйти к зрителям в камзоле и парике. Скрупулезное воссоздание давней эпохи на сцене стало открытием, прорывом, революцией. А теперь, обув Гамлета в кроссовки «Nike», изнемогают от чувства собственной гениальности. Смешно!

Семен Франк считал: любая революция влечет за собой варваризацию, которой подвергается прежде всего творческая интеллигенция. Сегодня в кино, драматургии, литературе, журналистике орудуют уже два поколения людей, не владеющих профессией в должном объеме. Увы, современные драматурги не умеют строить сюжет, диалог, не понимают, что герои должны говорить по-разному, отличаться лексикой, интонацией, ритмом речи, что сценическое слово отличается от трамвайной брани. Свой непрофессионализм они почему-то называют новаторством. Такое уже было, и не раз. В начале прошлого века не умевших рисовать, но желающих быть художниками именовали «матиссятами». На любое критическое замечание они отвечали: «А как же Матисс?» Видимо, новодрамовцев следует называть «беккетятами»...

Ведь что происходит? Автор прочел пьесу (точнее, то, что он считает пьесой) друзьям, обрел восторг критиков, неискренних, как продавцы гербалайфа, получил премию, желательную заграничную, и на этом все заканчивается. В репертуар такие пьесы если и попадают, то не задерживаются. Зритель не идет. Кстати, сегодня пьесы в обычном смысле, как законченные литературные произведения, почти не пишутся. «Новая драма» — это скорее «драматургический материал». Есть вино, и есть винный материал. Спутать невозможно. Но такая ситуация вполне устраивает режиссеров: их самовыражение не сковывается ничем — ни жанром, ни сюжетом, ни характерами, которых попросту нет. В итоге нынешний театр напоминает мне лабораторию, где занимаются не научным исследованием, а придумыванием диковинных по форме пробирок.

Я бы вообще сценические инсталляции не стал именовать театрально-драматическим искусством. Это другое, скорее это можно назвать индивидуально-провокативным творчеством (ИПТ). Творчество? Конечно! Люди сидят, что-то придумывают, озаряются, объявляют друг друга гениями. Индивидуальное? Разумеется!

Человек жаждет выразить свою индивидуальность, иной раз неадекватную. А цель? Цель — провокация. Плодоносный эпатаж. Питательный скандал. Эстетические переживания зрителей интересуют авторов меньше, чем судьба ушастых обезьян Амазонии. Многие молодые талантливые люди в душе понимают, что делают в искусстве не то и движутся не туда. Но художник нацелен на успех. Он видит, за что дают «Золотую маску», за что вывозят на фестивали, за что поддерживают грантами. Им кажется, это веселая игра, никак не связанная с судьбами людей и страны. Какие проблемы? А проблемы-то серьезные. Вот, к примеру, разбомбили в Славянске молокозавод — и не стало в городе молочных продуктов. Все понимают: надо срочно восстановить производство. При разрушении национальных культурных кодов на первый взгляд катастрофа сначала не заметна. Но проходит десятилетие, и родители удивляются: почему дети какие-то странные? Мы их учим разумному-доброму-вечному, а они как зверьки с другой планеты. Ответ прост: дети выросли в мире, где, в частности, вместо настоящего театра — ИПТ...

Напомните какому-нибудь «самовыраженцу» о воспитательной роли сцены. Он вас поднимет на смех, хотя отлично знает: театр всегда воспитывал. Античный показывал гражданам полиса, к чему ведут нарушения табу — тогдашних норм общественного поведения. Позже на площадях ставили «миракли» по евангельским сюжетам и учили христианскому миропониманию. В нашей российской традиции сцена уподоблялась проповеднической кафедре. А нынешний передовой театр хочет избавиться от любых социальных «нагрузок», сохранив с обществом лишь одну скрепу — финансовую. Талант тоже не обязателен, главное — верность своему «классу», своей тусовке и умение присосаться к бюджетному вымени. В этом, кстати, «самовыраженцы» достигли заоблачного мастерства.

Но при всем знойном желании жить за счет казны и быть независимыми от общества современный российский театр жестко идеологизирован, куда жестче, чем советский. Называется эта идеология «агрессивной толерантностью». Она исключает патриотичность, уважение к традиционным и национальным ценностям, художественную адекватность, социальную и нравственную ответственность. Эта идеология, заметьте, не приемлет как раз те качества, что сделали русский театр мировым явлением. Насаждается она, поверьте, достаточно жестко. Как говорится, чужие здесь не ходят. Некоторое время назад один питерский худрук принял к постановке мою «Одноклассницу», но ему объяснили, что с пьесой Полякова его на «Золотую маску» никогда не пригласят, а с пьесой Улицкой — примут немедленно. Думаете, он испугался? Нет, нисколько. Он смелый человек. Просто ему очень хотелось попасть на «Золотую маску»...

Должен ли театр развлекать? Конечно, но не как цирк. Театральное действо должно быть интересно зрителю. Почему у Шекспира реки крови и горы любви? Да потому, что ему надо было переманить народ с площади, где тому показывали бородатых женщин и представляли душераздирающие средневековые комиксы. И Шекспир словно говорил: «Мужики, идите ко мне, я вам расскажу страшную историю про принца датского. Вообразите, этот парень сначала заколол отца своей невесты, и та сошла с ума. Но это еще не все! Он прирезал родного дядю, а тот отравил своего брата, отца нашего принца, и женился на его вдове, матери все того же Гамлета. Там у меня много всякого. Приходите!» Зритель приходил, платил, а ему предлагали заодно поразмышлять на тему: «Быть или не быть?» Современный драматург оказался в похожей ситуации: ему надо оторвать зрителя от телевизионного мыла, вытащить из стереопустоты формата 3D.

Будучи прилежным учеником великих, я тоже в меру отпущенных мне способностей пользуюсь этим приемом. Я говорю: «Вы хотите узнать, как меняются же-

нами? Тогда приходите ко мне на „Хомо эректус“!»! Люди приходят, но речь-то на сцене не о свинге, а о более серьезных вещах. Не раз, сидя в зале на этом спектакле, я наблюдал одну и ту же ситуацию. Минут через двадцать после начала первого акта какая-нибудь строгая дама средних лет громким шепотом бранит своего спутника: «Куда ты меня привел? Я не могу смотреть на это безобразие!» И уводит беднягу. А в начале второго акта обычно молодой мужик с пивным животом говорит подруге: «Не-а, свинга точно уже не будет. Пошли отсюда!» И они тоже уходят. Остальные, увлеченные интригой, сидят, затаив дыхание. Занимательность — вежливость писателя. Но большинство «передовых» драматургов этого просто не умеют. Ошарашить — да, взбесить — да, утомить — да. Увлечь — нет. Угодив на спектакль младореформатора Богомолова, чувствуешь себя застрявшим в тоннеле метро, куда прорвалась канализация. Но в отличие от узника зафекаленной подземки можно встать и выйти из зала, что люди и делают.

Станиславский назвал свой театр «художественно-общедоступным», имея в виду, конечно, не цены на билеты. Речь о другом: театр должен говорить со зрителем на одном языке. При внешней очевидности это очень непросто. Куда легче бредить на личном эсперанто. Эксперимент и метафизику превращает в искусство и делает увлекательными только дар. Однако само слово «талант» исчезло из околотеатрального обихода как графа «национальность» из паспорта. Чувствуя свою художественную недостаточность, многие хотят отгородиться от зрителя с его неоспоримым критерием «интересно — неинтересно» железным занавесом, а не четвертой стеной. И вот уже пьесу не ставят, а просто читают в узком кругу «трансляторы», окончившие ГИТИС.

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Думаю, есть. Веками в театре центральной фигурой был драматург, именно автор определял происходящее на сцене. Потом началась эра режиссерского театра. С конца XIX века мы видим усиление режиссерского диктата. Сначала постановщик определял, и то отчасти, игру актеров, ансамбль. Затем он стал влиять на решение пространства, костюмы, музыкальное оформление. Наконец, ему стало тесно в рамках выстроенной пьесы. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда режиссер ради хронометража сокращал текст в первом акте, а во втором терялась мотивация поступков. Когда я обращал на это его внимание, он смущался, дескать, мы как-то уже отвыкли, что у драматурга все продумано... В результате сложилась «новая драма», которая не является жанром литературы. Это не пьесы в строгом смысле слова, это темы для режиссерских импровизаций, иногда оригинальные, чаще — вздорные. Но если в пьесе нет диалогов, нет характеров, нет интриги, нет проблем, нет языка, кроме мата, постановщику остается придумывать «новаторскую» форму, чтобы оправдать отсутствие смыслов. Однако с помощью косметики можно подправить недостатки лица. Отсутствие лица не подправить никакой косметикой, даже той, которой пользуются в морге. Разумеется, в прошлое вернуться нельзя, но на какое-то время на сцене снова главным должен стать драматург, писатель. Подчеркиваю: драматург, а не «новодрамец». «Что» снова должно стать важнее «как». Профессионально написанная пьеса, адресованная зрителю, а не соратникам по эстетическому помешательству, способна ограничить бесплодный произвол режиссеров и помочь выскочить из затянувшегося «дня сурка».

5. Нарушитель конвенции

Сюжет «Одноклассницы» я таскал в голове лет десять. Впрочем, ничего особо оригинального я не придумал. «„Традиционный сбор“ Розова?» — спросил кто-то,

прочтя пьесу и намекая на преемственность темы. «Нет, — ответил я. — „Двадцать лет спустя“ Дюма-отца». И это нормально. Как говорится, плоха та песня, которая не похожа ни на какую песню. Новое — это понятое старое. Собрать десятиклассников 1961 года в 1984-м, когда им стукнуло сорок, и собрать выпускников 1984 года в 2007-м — не одно и то же. Да, в обоих случаях прошла целая жизнь. Но в первом она уместилась в благословенном застое, а во втором совпала с жестокой, революционной ломкой мироустройства. Выпускник 1961-го не мог стать олигархом, а выпускник 1984-го — мог. Это было поколение, угодившее в эпоху глобальной перемены участи, и мне захотелось собрать их вместе, чтобы они поглядели друг на друга, а зритель — на них. Но у меня не было того, что называется «ходом». Ну, встретились, ну, поохали, как изменилась жизнь и они сами вместе с нею... А дальше? Достоевскому в поисках сюжетных поворотов помогали газетные разделы судебной хроники. Мне помог телевизор. Я увидел сюжет о несчастном генерале Романове, взорванном в Чечне и потерявшем почти все человеческие свойства, кроме обмена веществ. Так в пьесе появился Иван Костромитин, любимец класса, умница, смельчак, воин-интернационалист, раненный в Афганистане и ставший «теловеком», как с пьяным прямодушием назвал его спившийся поэт Федя Строчков. И сюжет сразу закрутился.

Авторы склонны к самообольщению, но есть какая-то внутренняя жилка, которая безошибочно трепещет, если вещь получилась. Я сразу почувствовал: «Одноклассница» удалась. Однако реальность оказалась сурова, мне вернули пьесу тринадцать московских театров. Одни без объяснений, вторые с лестными отзывами и сожалениями, что планы сверстаны на пятилетку вперед, третьи сокрушались, что такого количества хороших сорокалетних актеров, нужных для постановки, в труппе просто нет, а приглашенная звезда нынче стоит дорого — не 90-е на дворе. И то — правда. В 1999 году покойный ныне Леонид Эйшлин, экранизируя «Халамбунду», собрал за совершенно смешные деньги фантастический ансамбль: Вера Васильева, Лазаревы, отец и сын, Светлана Немоляева, Владимир Назаров, Полина Кутепова, Виктор Смирнов, Ирина Муравьева... Сегодня за такие деньги лысину Гоши Куценко не купишь.

Почему пьеса не увлекла ведущие московские театры, в репертуаре которых зачастую вообще нет современной русской темы? Напомню: Малый театр поднимался на пьесах остросовременного драматурга Александра Островского. Художественный театр начинался с актуальных пьес Чехова, Горького, Андреева, Найденова. «Современник» — это Рошин, Розов, Арбузов, Володин, Вампилов. А где нынешние властители зрительских дум? Не считать же таковым Дурненкова с его дихлофосными сумерками. Почему так случилось?

Попробуем разобраться. В 90-е разговор о главном конфликте эпохи был опасен для власти, ломавшей страну через колено. Либеральная творческая интеллигенция, самый чуткий флюгер Кремля, это уловила и учла. А дальше заработали классовые интересы, ведь худруки, лишённые строгого партийного присмотра, превратились в рантье, живущих с доходов от своего зрелищного бизнеса. Не случайно в современном российском законодательстве то, что делают деятели культуры, называется услугой. Я не шучу! В России буржуазный театр появился раньше буржуазии. Удивительная ситуация: фабриканта Алексева (Станиславского) судьбы униженных и оскорбленных волновали больше, чем, скажем, наследника «комиссаров в пыльных шлемах» Олега Табакова. Режиссеры, в прежние времена не прощавшие советской власти малейшей оплошности, рыдавшие над каждой слезинкой ребенка, не заметили, что после 1991-го в Отечестве появились толпы беспризорных неграмотных детей. Они и в самом деле стали так похожи на рантье, что им не хватает только серебряной цепочки с ножницами — стричь купоны.

Но вот общество осознало наконец глубину своего нравственного падения, а власть поняла, что без морали не бывает модернизации. Государство напомнило театральному бомонду о гражданской и воспитательной составляющей творчества. И по рядам «худрантъе» пробежал нервный ропот. Так во времена СССР роптали директора гастрономов, узнав, что новый начальник главторга взяток не берет. Пока. Так что моя «Одноклассница» не подошла многим столичным театрам прежде всего по классовому признаку. «Мы разноклассники!» — как справедливо заметил пьющий, но думающий поэт Федя Строчков.

Есть и еще важная причина неприятия моих пьес. На встречах читатели часто спрашивают: не мешает ли моему творчеству «Литературная газета», которую я возглавляю без малого 15 лет? Нет, не мешает, даже помогает — и вот почему. Если литератор занимается только писательством, отгородившись от реальной жизни, он очень скоро становится однообразным, скучным, даже мертвым. Это как писать пейзажи, не выезжая хоть изредка на пленэр. Облака в конце концов станут похожи на вату. Классики отнюдь не чудили, когда покидали письменный стол ради земных трудов. Лев Толстой руководил своим родовым «колхозом» в Ясной Поляне, Дюма-отец пытался выращивать ананасы под Парижем, Чехов лечил крестьян и обозревал жизнь каторжников, Горький готовил революцию, Некрасов издавал журнал, Дельвиг с Пушкиным затеяли «Литературную газету»... Это важно! Жизнь без писателя обойдется, писатель без жизни — нет.

Но если лечение крестьян и выращивание ананасов носит, так сказать, внеидеологический характер, то руководство периодическим изданием, хочешь ты того или нет, — идеология. У газеты или журнала всегда есть направление, и определяет его главный редактор, разумеется, настоящий, а не фуршетный. В мае 2001 года «Литературная газета» поменяла направление, превратилась из оголтело-либерального издания в просвещенно-патриотическое. Газетное дело — политика, даже если речь о делах и людях минувшей эпохи. Ах, какой крик в либеральных кругах подняли, когда «ЛГ» отметила юбилей крупнейшего предреволюционного публициста Михаила Меньшикова! А когда к столетию Анатолия Сафронова мы напечатали сочувственную статью об этом незаурядном литераторе, Дмитрий Быков едва оправился от потрясения. Кроме того, возглавив «ЛГ» и поменяв направление, я нарушил еще одну конвенцию. С конца 80-х в информационном пространстве была выстроена тщательная виртуальная картина культурной жизни России. И от реальности она отличалась куда больше, чем передовая статья «Правды» от будней страны. В этой картине был МХТ имени Чехова, но не было МХАТа имени Горького, радовали читателя Аксенов и Бродский, но канули в небытие Юрий Бондарев и Юрий Кузнецов, был Андрей Сахаров, но не было Игоря Шафаревича, была Лия Ахеджакова, но не было Татьяны Дорониной и так далее. В виртуальных полях паслись тучные общечеловеческие коровы, о которых можно было говорить только хорошо или очень хорошо. И вдруг «ЛГ» нарушила это договорное благолепие. После публикации в рубрике «Кумирня» фельетона «Прогнувшийся» ко мне на каком-то мероприятии подошел Макаревич и спросил навзрыд:

— За что вы меня так не любите?

Ему даже в голову не пришло, что кто-то может иметь критический взгляд на его песни или передачу о жратве «Смак», которую он вел в ту пору на ТВ. Его убедили: он совершенство. И вдруг... Кто виноват? Конечно, главный редактор! «Худрантъе» брал в руки пьесу не драматурга Полякова, а нарушителя конвенции главреда или, если хотите, «главвреда» Полякова, непонятно зачем испортившего «Литературную газету», приятную прежде во всех отношениях.

А вот другой «случай», как говаривал дед Щукарь. Театральный критик Анна

Кузнецова показала «Одноклассницу» директору Театра Ленинского комсомола. Прочитав, тот просиял, и вот почему. Все, конечно, помнят трагедию, случившуюся с актером Николаем Караченцовым — человеком уникального темперамента. Я помню, когда он выступал на совете творческой молодежи в ЦК ВЛКСМ, от его страстных слов, смысл которых не всегда был ясен, вибрировал и подпрыгивал графин с водой. И вдруг — автокатастрофа, неподвижность, коляска, полунемота, но при этом страстное желание остаться на сцене родного театра, играть, а значит — жить. Сначала театр хотел даже заказать пьесу для актера «с ограниченными возможностями». И вдруг приносят вещь, словно специально написанную для этой трудной ситуации: главный герой недвижно сидит в коляске, молчит и только в финале хохочет, будучи при этом главным героем всего действия. Директор обрадовался: «Очередь за билетами выстроится до Кремля! Вот вернется из командировки Захаров — и начнем репетиции!» Вернулся Захаров, тоже загорелся, но, узнав, кто автор пьесы, передумал — от природы печальное лицо его вовсе померкло:

- Поляков? Никогда!
- Почему?
- А вы «Литгазету» почитайте!

Пересказываю коллизию со слов очевидцев, не сомневаясь в достоверности. На то есть основания. Одно время я вел на канале «Культура» информационно-аналитическую передачу «Контекст». Чтобы быть в курсе художественной жизни, я ходил на премьеры, вернисажи, презентации, творческие вечера... Однажды побывал в Ленкоме на спектакле «Пер Гюнт». Из зала я выходил со странным чувством: Ибсен, конечно, — гений, но живем-то мы в России, про которую в этом театре, кажется, совсем забыли. Буржуазия! Кстати, именно Ленком одним из первых вписался в рынок и на заре 90-х в своем помещении открыл SPA-центр «Бич-клуб», название которого я использовал в пьесе «Хомо эректус». В «Сукин клуб», если помните, ходит Маша. И вот на следующий день я готовлюсь к эфиру, сижу в кресле, меня обмахивают гримерными кисточками. Вдруг влетает бледный редактор и говорит взволнованно:

- Юрий Михайлович, начальство очень просит не ругать «Пера Гюнта»!
- А с чего начальство взяло, что я собираюсь ругать «Пера Гюнта»?

Оказалось, Марк Анатольевич дозвонился до самого высокого руководства, отдохавшего в теплых краях, и пожаловался, что видел, с каким лицом выходил «этот Поляков» из зала, а значит, предстоит эфирный погром, которого он, человек пожилой и ослабленный вдохновениями, не переживет. Кстати, я и не собирался разносить премьеру, ибо спектакль был из тех, которые не за что ни хвалить, ни ругать. Но какова бдительность! Да, дорогой читатель, репутации иных творческих небожителей добываются с помощью вполне земной суеты и связей наподобие тех, которыми так гордилась мачеха Золушки. Помните у Шварца? Один писатель-классик, лауреат всех премий, начиная с квартальной, узнав, что готовится суровый разбор его очередного романа, каждый раз объявлял себя смертельно больным. Но едва сердобольный редактор снимал из номера строгую рецензию, заменив ее теплым прощальным откликом, классик выздоравливал. Жив он и поныне.

В общем, «Одноклассница» стала первой моей пьесой, которая пошла сначала в провинции. Я слетал на премьеры в Тобольск, Владикавказ, Владивосток, Ереван. Еще куда-то... Аншлаги. Выхожу, как грезилось в молодости, на сцену, беру за руки героев-любовников, и мы с поклоном идем к рампе. Вдруг дают свет в зал... Ничего не понимаю! Кажется, осветили ночной росистый луг. А это блещут слезы в глазах зрителей. «Ну, да, конечно, а на театральном подъезде еще сорок тысяч курьеров топчутся! — улыбнется ироничный читатель. — М-да, зазвездил наш Юрий Михай-

лович...» Если и зазвездел, то совсем немного, а если и прихвастнул, то чуть-чуть. Как без этого в искусстве? Но мы живем в эпоху Интернета. Кликните, скажем, «Вечерний Владивосток», «Правду Кавказа» или «Армянские вести», прочтите, что писали там о моих премьерах, а потом радуйтесь или скрежещите зубами, что «нарушителя конвенции» любит зритель!

Впрочем, «Одноклассница» добралась вскоре до столицы. Я где-то столкнулся с главным режиссером Театра Российской армии Борисом Морозовым.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил он.

— Есть, — ответил я, соображая, почему не показал ему «Одноклассницу» раньше.

— Пришли!

Придя домой, я тут же отправил пьесу. А не показал я ему «Одноклассницу» раньше из-за того, что там довольно иронически изображен военкомовский чиновник, который приносит парализованному ветерану Афгана к сорокалетию протезы, сначала — руку, потом — ногу. Я решил: военные все равно не пропустят. Но вежливые люди в погонах оказались гораздо терпимее к инакомыслию, нежели наши либеральные худранты. А может, причина в другом: спектакль выпускали в тот год, когда военное ведомство под водительством министра-мебельщика окончательно превратилось в «оборонсервис», где никого не интересовали вопросы, не связанные с извлечением прибыли из безопасности страны. Кстати, с Б. Морозовым в начале нулевых я вел переговоры о постановке «Халам-бунду». Он взял у меня пьесу, а позвонил через полгода, когда уже шли репетиции на сцене МХАТа им. Горького, и поезд, как говорится, ушел. Итак, вечером того же дня я отправил ему «Одноклассницу», а рано утром раздался звонок, и я услышал голос Морозова:

— Никому больше не отдавайте! Начинаю репетиции. Я двадцать пять лет после «Смотрите, кто пришел!» не ставил современных пьес. Ждал. И дождался...

«Одноклассница» шестой сезон идет в Театре армии на аншлагах. Ко мне подходила зрительница, смотревшая спектакль в пятый раз. С таким же успехом пьеса идет по всей стране. Вы думаете, ее отметили хоть какой-то премией? Ничуть. Повторю: современное театральное пространство — майдан, где чужие не ходят. Я и тут стал нарушителем конвенции. Ведь мои пьесы — живое отрицание модной идеологии. Суть ее проста: социально-нравственный театр умер, массовый зритель атомизировался, настало время лаборатории и эксперимента, большие залы может собрать только Куни в хлорвиниловом переводе Мишина. Нынешняя драматургия — дело камерное, в зале достаточно десятка единомышленников. Не больше. А лучше пьесу вообще не ставить — прочитать по ролям в узком кругу. Да и актера следует теперь называть «транслятором». Я не шучу и не впадаю в гротеск. Так оно и есть! Но мои пьесы идут от Калининграда до Владивостока, годами собирают полные залы, играют по несколько раз в месяц и дают сборы. Ведь это надо как-то объяснить, вписать в теорию театра для немногих или признать: большинство модных драматургов просто элементарно не владеют профессией. Если вы не способны сочинить пьесу, собирающую сотни зрителей, это ваша личная проблема. Не надо объявлять пустые залы тенденцией, сваливая вину на зрителей. Зритель у нас хороший, он гораздо лучше драматургов. Но тогда что делать с «золотыми масками», которыми они обвешаны, как вожжи ацтеков? Проще объявить нарушителя конвенции недоразумением и забыть. Так и поступают. Однако Параолимпийские игры существуют не вместо, а параллельно с нормальной Олимпиадой. Новая драма хочет быть вместо нормальной драмы. Увы, агрессивное дилетантство — болезнь нашего времени, поразившая все сферы деятельности.

Сегодня, когда я пишу эти строки, моя новая пьеса «Как боги» пошла по стране. Я уже побывал на премьерах в Пензе, Белгороде, Владикавказе, Туле, Ереване... В

Москве ее поставила на сцене МХАТа имени Горького Татьяна Доронина. Кстати, у этой пьесы занятая судьба. Сюжет давний. Много лет назад мы даже попытались с Владимиром Меньшовым написать сценарий по этой идее. Придумал я и название — «Зависть богов». Но сценарий не пошел. Впоследствии создатель «Ширли-Мырли» использовал это название для своего фильма, поставленного по сценарию Мареевой «Последнее танго в Москве». Сценарий, кстати, хороший, но антисоветский на вегетативном уровне. Владимир Валентинович звал меня принять участие в переработке материала, но я, поблагодарив за доверие, сказал, что чужими фобиями не занимаюсь.

Невостребованный сюжет долго хранился в запасниках моей памяти, пока вдруг не очнулся, соединяясь с китайской темой, а она пришла мне в голову, когда я на Тайване в музее разглядывал бронзовый жертвенник, отлитый три тысячи лет назад...

Золотомасочный критик, прочитав пьесу «Как боги...» в журнале «Современная драматургия», раздраженно воскликнул:

— Но ведь так сейчас никто не пишет!

Я воспринял это как похвалу...

Константин ФРУМКИН

ЛИЧНОСТЬ ВЛАСТИТЕЛЯ

А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
Из фильма «Кавказская пленница»

Самый мучительный социальный вопрос — вопрос, который хочется назвать вечным социальным вопросом, социальной проблемой всех времен и народов — есть вопрос о неравенстве.

Вопрос этот, при всей его запутанности, можно назвать несложным по своей постановке, поскольку действительно подавляющее большинство человеческих коллективов — включая даже коллективы гипотетических обезьяноподобных предков человечества — естественным образом приобретают иерархическое устройство. Неравенство, таким образом, возникает потому, что в человеческих сообществах начинают действовать носители власти.

То есть в основе проблемы равенства и неравенства лежит вопрос о власти — разумеется, не государственной власти, а власти в предельно широком смысле слова, поглощающем, в частности, вопрос о собственности — как определенного рода власти над вещами.

Ну а вопрос о власти возникает в человеческом обществе в столь острой форме потому, что коллективная человеческая деятельность нуждается в координации, и координацию эту могут осуществлять и осуществляют отдельные люди, выделенные в качестве элиты «управленцев» и носителей власти. Как пишет об истоках неравенства один из российских социологов, социальная практика «неизбежно приобретает форму иерархии, так как даже простейшая координация требует делегирования, концентрации полномочий»¹.

Большинство великих политических мыслителей, обосновывавших необходимость общества с высокой степенью неравенства — такие, как Платон, Фома Аквинский, Томас Мор, в меньшей степени Аристотель, — руководствовались именно необходимостью сосредоточения власти в руках наилучшего меньшинства. Даже Руссо был сторонником неравенства, основанного на авторитете и опытности. Эти проекты, по сути, представляли собой идеализированную эссенцию реальных принципов организации власти в человеческом обществе: власть всегда в руках тех немногих, кто по тем или иным причинам может управлять наилучшим для данной ситуации образом.

Если можно абстрактно, в отрыве от любых условий места и времени, в равной степени для всех времен и народов, поставить вопрос о том, какие человеческие свойства позволяют занимать сильные социальные позиции, верхние ступени в

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а так же социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

¹ Ильин В. И. Социальное неравенство. М., 2000. С. 79.

иерархиях неравенства, то ответ на этот вопрос будет простым: способности к координации коллективной деятельности, то есть способности к власти. Но, разумеется, «способность к власти» квалифицируется в разные политические эпохи по-разному, и в иные из них кровное родство с правящей династией считается куда более важным свойством, чем «способности» в узком смысле, — и считается не зря, поскольку династическая легитимность обеспечивает стабильность всей политической системе.

Наличие лиц-координаторов в сильнейшей степени отличает общество людей от муравейников и других сообществ общественных насекомых, где коллективные действия совершаются исключительно на основе процессов самоорганизации, где неравенство, если о нем вообще можно говорить, проистекает из разделения труда, из телесной неодинаковости, но не из власти одной особи над другой.

Известно, что власть одновременно есть рабство у подвластных. В человеческом обществе носитель власти фактически предоставляет обществу свой мозг в качестве публичного сервера, осуществляющего координационную функцию в важных социальных процессах. Все злоупотребления и проблемы, возникающие в связи с властью, вызваны тем, что мозг управляющего оказывается стоящим перед не свойственными ему задачами: будучи аппаратом, выработанным природой для обслуживания исключительно индивида, то есть — субъективно — «самого себя», будучи созданным только для решения проблем жизнеобеспечения своего носителя, мозг становится мозгом не только своего индивидуального, но некоего абстрактного коллективного тела, даже порою «мозгом нации».

Столь неустойчивая ситуация, как показывает человеческий опыт с непреодолимой обязательностью порождает смешения личного и общего — так называемые «злоупотребления властью», поэтому приписываемая Людовику XIV фраза «Государство — это я» была не только пароксизмом гордости, но и попыткой преодоления когнитивно сомнительной двойственности, тяготевшей над «королевским мозгом» или, говоря шире, над личностью всякого носителя власти, превратившейся в аппарат решения чужих, не своих проблем.

Носитель власти не может не чувствовать своеобразного «предательства собственного мозга», ибо его мысль и душа вынуждены служить посторонним, абстрактным системам связей, которые предстают то как «государственные заботы», то «заботы о бизнесе». К положению всякого носителя власти прекрасно подходят слова Сартра: «В мире отчуждения победитель не узнает о своей победе и становится ее рабом»².

Как рассказал Эрнст Канторович, средневековые породило концепцию двух тел короля — тела естественного, смертного, и тела бессмертного, политического³. Но оба тела присущи одному человеку, и при жизни данного короля его естественное тело вынуждено выступать в роли политического — не жалуясь, что шапка Мономаха тяжела, причем тяжела порою именно в физическом смысле. Носитель власти вынужден колебаться между тем, чтобы, как условный «Людовик XIV», рассматривать управляемые им социальные системы — например, государство — как продолжение своей личности, и тем, чтобы осознавать, что сам он оказывается лишь рабом и винтиком этой социальной системы, хотя и привилегированным винтиком. Можно сказать, что правящий сдает свою личность и свой мозг в аренду обществу, превращая их в диспетчерский пункт для многочисленных социальных связей.

² Сартр Ж.-П. Проблема метода. М., 1994. С. 18.

³ Канторович Э. Два тела короля. Исследования по средневековой политической теологии. М., 2013.

В марксизме существует тезис о так называемом «основном противоречии капитализма» — противоречии между общественным характером производства и частным способом присвоения его продуктов. Данное противоречие — лишь частный случай более общего, проходящего через все исторические и доисторические эпохи неустойчивости, которую в марксистском стиле можно было бы назвать великим противоречием управления — противоречием между общественным характером управления и индивидуальным характером его осуществления.

Это противоречие ярко проявляется в вопросе, находящемся в центре внимания и психологии, и метафизики, — вопросе о режиме употребления притяжательного местоимения «мое». Границы своей собственной личности, границы того региона бытия, который мы называем «моим», и, в частности, границы «моего» тела зависят от различным образом определяемой степени близости окружающих реальностей к сознанию, и важнейший «индикатор интимной близости» есть подчиненность моей воле: рука «моя» до тех пор, пока я могу ею управлять, а хорошо управляемая машина становится продолжением моего тела⁴.

Между тем человек, получающий руководящую позицию в некоей социальной иерархии, получает большое количество новых объектов, подчиняющихся его воле. В силу чисто психологических закономерностей руководитель начинает воспринимать их как «свои», как некое «кваситело». Государство есть тело монарха, и удар по государству воспринимается монархом как ущерб его личности. Для руководителя естественно и закономерно путать управляемое (в социально-функциональном смысле) со «своим» (в смысле экзистенциальном и личностном). Даром взывает герой «Кавказской пленницы»: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной!» Символическим выражением этой порожденной властной позиции иллюзии могла бы служить мифология Даниила Андреева: в его видениях демонические сущности, начиная с мечты о власти над миром, приходят к мечтам о его «инвольтации», то есть поглощении своей личности. О чем мечтает верховный демон Гагтунгр? «Насколько Гагтунгр может вообразить космическое грядущее, он рисует самого себя как некое солнце, вокруг которого бесчисленные монады вращаются по концентрическим кругам, одна за другою падая в него и поглощаясь, — и постепенно вся Вселенная приходит в это состояние вращения вокруг него, погружаясь, мир за мирами, в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообразить дальнейшее демонический разум бессилён»⁵.

В сущности, сюрреалистическая галлюцинация Даниила Андреева лишь выпукло представляет собой положение всякого собственника, судьба которого — быть человеческим сознанием, окруженным тяготеющим к этому сознанию и интимно связанными с ним вещами и людьми. Правовое понятие собственности могло возникнуть только как продолжение экзистенциальной, психологической способности человека к присвоению окружающего мира и отождествлению с ним. У этого отождествления есть эстетический аспект, оно заложено в самом восприятии — человек, как это любил подчеркивать Валентин Катаев, отчасти отождествляет себя со всем, на что смотрит, всякое восприятие оказывается отчасти и импатией. Техническая подвластность окружающих вещей, их хотя бы внешняя и поверхностная послушность моей — именно моей — воли — усиливает и подкрепляет эту странную способность к отождествлению с ближайшим окружающим простран-

⁴ См. об этом: Тхостов А. Ш. Топология субъекта (опыт феноменологического исследования). Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1994. № 2. С. 3–13; № 3. С. 3–12.

⁵ Андреев Д. Л. Роза мира. http://www.booksite.ru/localtxt/and/reev/andreev_d/roz/roza_mira/9.htm

ством. Право и политика фиксируют эту способность к отождествлению в социально-эффективных, хотя и весьма уязвимых для критики концепциях. Юридическое понятие собственности превращенным образом продолжает те первичные импульсы, которые движут человеческое сознание, только встретившееся с миром в младенчества.

Итак, мы видим три очень интересных экзистенциальных феномена, относящихся к взаимоотношениям индивидуума-руководителя с социальной системы, и эти феномены можно было бы назвать «отчуждением», «злоупотреблением» и «смешением».

1. Отчуждение: личность носителя власти отчуждается в пользу общества, которому руководитель вынужден служить «сервером» и «диспетчерской службой» — и служить, по выражению императора Николая I, а также президента Владимира Путина, «как раб на галерах».

2. Злоупотребление: хотя личность руководителя служит общественным сервером, она остается просто биологической особью, запрограммированной на индивидуальное выживание, то есть остается индивидуальностью, настроенной на удовлетворение своих эгоистических интересов. И соответственно, она использует для этого те возможности, которые открываются в рамках выполнения общественных диспетчерских функций. В сущности, проблему злоупотребления можно назвать проблемой ренты — ренты, извлекаемой носителем власти из своей властной позиции.

3. Смешение: поскольку управляемые социальные системы подчиняются воле носителя власти, для него естественно смешивать личное и общественное, принимая управляемые социальные системы за продолжение своей личности — причем наиболее ярко и характерно такое смешение для формы управления, которое в праве называется «собственностью». Местоимение «мое» в равной степени характеризует юридические отношения собственности и фундаментальные экзистенциальные отношения, например «мое сознание».

Все три этих феномена — отчуждение, злоупотребление и смешение, — по сути, представляют собой различные формы перехода индивидуального в социальное и обратно на почве власти, в этом смысле три этих пункта образуют «экзистенциальную диалектику власти». Суть этой диалектики проста: в первом переходе личность правителя, отчуждаясь, становится общественным достоянием. В двух следующих переходах правитель пытается вернуть себе обратно отнятую у него личность.

В случае злоупотребления он возвращает ее объективно, перенастраивая целевые ориентиры социальной системы на свои собственные узкоэгоистические интересы.

В случае смешения он возвращает ее субъективно, поддаваясь «иллюзии», что социальная система, которой он служит и на которой он почти что распят, есть продолжение его личности, и галера, на которой он служит рабом, есть тело раба.

Однако взаимоотношения трех переходов сложнее, поскольку они чрезвычайно важны друг для друга.

Именно благодаря смешению, преодолевающему (или хотя бы смягчающему) последствия отчуждения на субъективном уровне, носитель власти получает мотивацию добросовестно выполнять роль «публичной диспетчерской службы», заботясь об интересах руководимой социальной системы как о своих собственных. То есть смешение позволяет поставить мотивационные ресурсы злоупотребления на службу отчуждению. Если диктатор верит, что могущество государства есть его личное могущество, он, злоупотребляя своим властным положением и стараясь

удовлетворить только свои эгоистические интересы, начинает наращивать могущество государства. Возникающий в такой ситуации «управленческий стиль» довольно сильно отличается от управленческого стиля, порожденного злоупотреблением в чистом виде — то есть злоупотреблением, осуществляемым на фоне резкого различия управляемой системы и личности правителя. Если в первом случае «злоупотребление» будет выражаться в увеличении военной мощи и наращивании военных расходов, то во втором случае — в присвоении доходных бизнесов и переводе казенных денег на личные банковские счета.

Но в реализации механизмов власти злоупотребление важно еще и потому, что оно стимулирует смешение: именно в той степени, в какой управляемая система является для правителя источником потребительских благ, он будет склонен считать управляемое социальное пространство своим личным достоянием. Говоря на языке психологии, рента, которую правитель может получить благодаря злоупотреблениям властью, играет роль *позитивного подкрепления* смешения частного и общего до степени неразличимости. Если король видит, что, расширяя обширность своего королевства, он увеличивает роскошь, в которой живет со своим двором, он начинает заботиться об обширности королевства — но это политика с большой вероятностью быстро отрывается от проблемы королевской роскоши.

Стимулируя смешение, злоупотребление в некотором смысле подрывает свою собственную основу. Подкрепляя отождествление личности правителя с надличной системой, оно тем самым меняет целевые ориентиры правителя и возвращает его отчуждению — из лап которых злоупотребление пыталось вырвать попавшего во власть человека. Злоупотребление соблазняет короля роскошью — а король, поддавшись соблазну, начинает убивающую роскошь войну. Злоупотребление властью есть явление человеческое, слишком человеческое, это явление даже гуманизирующее, поскольку злоупотребление возвращает человека, ставшего носителем власти, самому себе. Но поскольку источником злоупотребления есть все-таки власть — то есть надличный механизм, — то в этой «гуманизирующей функции» она не может быть стабильной: вдохновленный возможностями, которые ему предлагает злоупотребление, правитель начинает терять себя, отождествляя свою личность с далекими и превосходящими масштабы человека реалиями.

«Смешение» как необходимая обществу иллюзия носителей власти, дегуманизирующая их поведение и заставляющая их принимать отчуждение за злоупотребление, вызвала к жизни огромную традицию критики — стоической, христианской, гуманистической, — разоблачающей неточность применения местоимения «мое» к подвластным и подконтрольным вещам. Монтень смеялся над испанским королем, считавшим себя повелителем Америки, в которой ни разу не был, Эразм Роттердамский призывал богачей считать себя лишь управляющим вещами, временно данными им Богом. Но когда смешение подкрепляется возможностями коррупционных доходов, то в реальность смешения верят и сами носители власти, и их критики и завистники из демократических слоев.

Дискуссии о равенстве и неравенстве часто ставят вопрос в плоскости обоснованности вознаграждения за труд. Но с рационально-прагматической точки зрения вознаграждение должно в первую очередь стимулировать труд более интенсивный и более высокого качества, а между тем, как видно из предыдущего анализа, стимулирование управленческого труда устроено особым образом и связано со «смешением», то есть личностным отождествлением управляющего с управляемым. Высокий уровень вознаграждения управляющего должен обеспечить «когнитивную ошибку» — заставить принимать общее за свое.

В современном бизнесе к этой задаче подходят с открытыми глазами, вознагра-

раждая менеджеров не только по итогам их работы, но и прямо акциями управляемых ими компаний. Однако вознаграждение любых управляющих вольно или невольно, преднамеренно или вопреки чьим-то желаниям имеет черты «присвоения доли» — управляемое воспринимается как «свое» и даже отождествляется с личностью управляющего.

В претензиях, предъявляемых представителям власти, слишком часто не учитывается их специфическая психология, специфическое безличное отношение к вещам — иными словами, недоучитывается фактор смешения. Попытки элитариев увеличить свои доходы и капиталы в народе обычно истолковывается как злоупотребление в его чистом, то есть понятном на бытовом уровне, виде. Именно поэтому наибольшую критику со стороны последние двести лет вызывает именно экономическое неравенство — поскольку именно тут момент злоупотребления в наибольшей степени выставлен напоказ, а момент отчуждения скрыт.

Между тем объективно, с точки зрения социальных последствий, когда элитарий максимизирует контролируемый им поток доходов и капиталов, он не столько расширяет доступные ему потребительские блага, сколько расширяет сферу своей деятельности в качестве общественного сервера, то есть расширяет область доступного его управлению социального пространства — хотя субъективно для него это может восприниматься как некое подобие злоупотребления.

Именно поэтому революции обычно направлены против злоупотребления, против склонности к злоупотреблениям, против институтов и законов, поощряющих злоупотребления, в частности против зафиксированной Т. Вебленом склонности к демонстративной праздности. Власть, предстающая в наготе своего отчуждения, неприкрытого личными интересами носителей власти, становится гораздо более терпимой.

Тоталитарные революции, очистив позиции носителей власти от признаков смешения, от поводов для применения местоимения «мое», представили власть как в чистом виде отчужденную, как служение народу, нации и партии. Это был величайший в истории акт сокрытия внешних признаков злоупотребления и подчеркивания внешних признаков отчуждения. Это была произведенная на уровне идеологии очистка идеи власти как общественной системы от элементов эгоистической человеческой индивидуальности. Мечты о такой очистке волновали политических мыслителей давно — об этом же мечтал Макиавелли, считавший, что республики нуждаются в истреблении дворянства. Макиавелли мечтал об отладке публичного сервера. Однако, противопоставляя моменты отчуждения и злоупотребления, все теоретики и практики чистой, безличной власти не учитывали и диалектического перехода друг в друга злоупотребления и отчуждения, в частности при посредничестве смешения.

В частном бизнесе коррупции гораздо меньше, чем в государственном, где работают «слуги народа», но происходит это потому, что в бизнесе злоупотребление преобразовано смешением: интересы фирмы иллюзорно отождествляются с личными интересами хозяина. Однако формально злоупотребление остается в силе, и поэтому в глазах недоброжелательных критиков частный бизнес все равно остается коррупционным: он не пытается скрыть признаки злоупотребления, ведь носитель власти демонстративно преследует свои личные интересы. Поэтому в глазах наблюдателя, руководствующегося бытовой психологией, тоталитарная система, которая подчеркивает момент отчуждения, всегда выглядит более выигрышной, чем капиталистическая, которая подчеркивает момент злоупотребления.

Разумеется, все три пункта экзистенциальной диалектики власти есть в любой системе управления, но подчеркиваются и скрываются они по-разному. В тотали-

тарной системе прежде всего от народа скрываются злоупотребления: он не должен думать, что номенклатура коррумпирована. В капиталистической системе от самих капиталистов маскируется момент смешения: несмотря на критику стоиков и христиан, они должны думать, что преследуют действительно свои интересы.

Если существует какой бы то ни было путь устранения господствующего в человеческом обществе неравенства, то этот путь может быть связан только с устранением его основы — то есть организации координации коллективной деятельности в форме предоставления координирующей функции немногим выделенным управляющим лицам. Речь при этом идет не только о государственном управлении, но о любом управлении, включая власть менеджеров в кафе и магазинах. После того как носители высокого социального статуса утрачивают управленческую функцию, исчезает фундаментальная основа для всех наиболее важных и значимых проявлений неравенства в нашем обществе.

Сегодня на «идейном рынке» имеются два «предложения», которые могли бы устранить управление посредством элиты.

Первое «предложение» может называться «прямой демократией», и оно связано с вовлечением как можно большего числа людей в процесс обсуждения и принятия решений, замены индивидуального разума коллективным.

Второе предложение связано с заменой человеческого управления автоматизацией и ресурсами искусственного интеллекта.

Идея «прямой демократии» сегодня находится, по всей видимости, в начале своего исторического подъема, что прежде всего объясняется прогрессом средств коммуникации. Даже в науке культ гениев медленно отступает перед реалией «широкого фронта исследований», ведущихся большим количеством ученых. Растет мода использовать экспертов в форме массового «краудсорсинга», «мозгового штурма», «форсайта». В этой сфере дополнительное и совершенно специфическое значение получает идея равенства — а именно значение условия организации дискуссии. В политике это понималось давно, и считалось, что политическая дискуссия возможна только при признании равенства ее участников⁶, но если дискуссия приобретает индустриальный характер разнообразной по форме эксплуатации коллективных интеллектуальных ресурсов, то равенство становится лишь техническим моментом этой индустрии. При этом речь идет даже и об интеллектуальном равенстве, прогресс которого был в 1917 году смело предсказан Питиримом Сорокиным: социолог уверял, что «с поступательным ходом истории мы можем и должны видеть интеллектуальное уравнение»⁷. Если прогноз об интеллектуальном равенстве сегодня имеет актуальность, то не в смысле уменьшения различий интеллектуальных способностей людей, а в уменьшение значимости этих различий: в большой сети «интеллектуальность» отдельного элемента не играет большой роли, а значит, исчезают поводы дискриминации по интеллектуальному признаку. Равенство же возникает не из одинаковости, а из устранения использования различий в качестве источника дискриминации и привилегий.

Начавшуюся в конце XVIII века успешную борьбу за политическое и правовое равенство можно истолковать как борьбу за то, чтобы всякий гражданин потенциально мог бы оказаться небольшим «сервером», координирующим какой-то участок общественного пространства. Как говорит Зигмунт Бауман, исходно свобода была социальной привилегией, свобода по Бауману «отделяет лучших от остальных»⁸, и

⁶ См.: Бехабиб С. Притязания культуры: равенство и разнообразие в глобальную эпоху. М., 2003. С. 44–46.

⁷ Сорокин П. Социализм и социальное равенство // Социологические исследования. 2001. № 5.

⁸ Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 22.

освобождение гражданина в рамках концепции политико-правового равенства теоретически означало его освобождение для власти. Но поскольку все не могут стать носителями власти, то встает вопрос о потенциальной власти, что в демократической практике означает возможность избирать и быть избранным. Однако развитая демократия предполагала не только выборную элиту, но и общественное мнение и вообще некоторое участие граждан в общественных дискуссиях — что было реальной возможностью участия широкого круга граждан в общественных делах, несмотря на элитарную и иерархическую организацию аппарата власти. И политико-правовое равенство наилучшим образом гарантировало именно эту слабую, но все-таки реальную форму участия в политическом вопреки иерархии бюрократии и капитала. Идея «прямой демократии», таким образом, есть идея активизации и увеличения роли этой исходно заложенной в западной демократии компоненты — массового участия избирателей в дискуссиях, участия, требующего равенства.

В сущности, сегодня принцип равенства должен уже истолковываться как принцип гомогенности сети.

Важно, что массовое и сетевое обсуждение различных проблем, по сути, четко не отделено от другого сходного явления — массового и сетевого взаимодействия участников какой-либо практики как в рамках механизмов рынка, так и в сфере волонтерской активности. Самоорганизация свободно взаимодействующих субъектов также может заменять и вытеснять координацию коллективной деятельности отдельными носителями власти. То есть «прямая демократия» как коллективное информационное действие и сетевое взаимодействие как практическая самоорганизация вместе представляют собой способы вытеснения «классической», построенной на элитарном меньшинстве системы власти коллективным действием. Куда в этих условиях денется экзистенциальная диалектика власти, чем в этих условиях обернется злоупотребление и смешение — еще только предстоит увидеть, когда развития сетевых взаимодействий сделают производные этих явлений в сети более выпуклыми.

Владислав БАЧИНИН

«БЕСЫ»-2014.

Теология катастроф

Тревожные совпадения

Фильм «Бесы», созданный нашим кинематографическим достоевсковедом Владимиром Хотиненко, активно обсуждается зрителями и критиками. Не буду касаться его художественно-эстетической стороны. О ней сказано и написано довольно много. Хотелось бы обратиться к той содержательной грани сериала, которая режиссером едва задета, а основной массой современных знатоков кино либо игнорируется, либо удостаивается лишь мимолетных реплик. Я имею в виду взгляд на «Бесы» как на религиозную трагедию русского духа, требующую не столько литературоведческих и философских прочтений, сколько анализа с позиций социально-политической теологии. К необходимости такого подхода подводит целый ряд странных сближений, примечательных параллелей и символических совпадений, необъяснимых средствами литературоведения и философии.

Ровно сто лет тому назад, в 1914 году, русский религиозный мыслитель Сергей Булгаков оказался в ситуации, похожей на ту, в которой сегодня находятся критики, обсуждающие фильм «Бесы». Посмотрев в Малом художественном театре инсценировку романа Достоевского, спектакль под названием «Николай Ставрогин», он вскоре после этого, в феврале 1914 года, выступил в Московском религиозно-философском обществе с докладом о «Бесах», а затем написал на его основе статью «Русская трагедия», вошедшую в золотой фонд русской мысли XX века.

Примечательно, что тогда Россия и европейский мир находились накануне до толе не виданных катастрофических перемен. И сегодня, в 2014 году, мы, похоже, вступаем в полосу непредсказуемых социальных эксцессов и геополитических катаклизмов. Тогда русское сознание испытывало повышенный интерес к проблематике «Бесов», и сегодня, после чрезвычайно продолжительного затишья аналогичный интерес резко актуализировался. Тема бесовщины как будто внезапно вынырнула на поверхность нашего гуманитарного сознания. Тогда этому поспособствовал визуальный художественный феномен — театральная постановка. Сегодня это произошло во многом благодаря тоже визуальному ряду впечатлений в виде фильма-сериала.

Все эти многозначительные совпадения наводят на ряд довольно тревожных соображений, требующих серьезного осмысления и обсуждения.

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии литературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институтом философии РАН). Живет в Санкт-Петербурге.

Русский лабиринт «вечных» вопросов и «проклятых» проблем

На первый взгляд может показаться, что социально-политическая проблематика «Бесов» осталась в далеком прошлом и лишь религиозная суть романских коллизий сохранила свою значимость. Но это не совсем так. Спустя почти полтора столетия после выхода романа мы имеем возможность убедиться, что неразрешимыми остаются не только «вечные», экзистенциальные вопросы бытия, поднятые в нем, но и тяжелые, поистине «проклятые» проблемы социально-политического существования. Оттого, вероятно, «Бесы» продолжают сохранять свою актуальность.

К сожалению, фильм Хотиненко выстроен так, что религиозный смысл «бесовщины» оказался не прочитан его создателями. Слово *бесы* осталось чем-то вроде внешней метафоры, не обремененной смыслами и потому не работающей ни в фильме, ни в зрительском восприятии. Между тем оно — ключ к пониманию трансцендентной подоплеку того, что происходит не только в романной и кинематографической реальности, но и в «российском мире», сбившемся с пути и заскользившем по наклонной неотвратимого вырождения.

Хотим мы того или нет, но приходится признать, что Достоевский задал своим романом вопросы, о которые мы до сих пор спотыкаемся, которые и сегодня бьют не в бровь, а в глаз. Их самые лаконичные формулировки выглядят так: «Как удастся нескольким господам с задатками отъявленных нечестивцев и провокаторов заварить кашу, которую потом долго не могут расхлебать ни современники, ни потомки?» Или: «Как это у них все так ловко получается, что благодаря им жизнь множества людей превращается в настоящий кошмар?»

Фильм «Бесы» еще раз убеждает зрителя в том, что до боли знакомая стратегия растления, оболванивания и запугивания обывательской массы кучкой негодяев имеет давнюю традицию и отчетливо просматриваемую генеалогию. Зритель, переместившийся с помощью собственного воображения в катастрофическую реальность совершающегося духовного, морального обвала, наблюдает роковую логику неумолимого расползания зла. Локальная коллизия провинциального города демонстрирует одну из загадок жизни и очерчивает труднейшую проблему морально-политической антропологии: оказывается, можно быть абсолютным духовным нулем, полным моральным ничтожеством и при этом заполучить нешуточную власть над умами и душами многих, казалось бы, разумных и вполне приличных людей.

Изумляет разительная асимметричность исходной антитезы между силами зла, хаоса, вырождения с одной стороны и силами цивилизованного порядка с другой. Ничтожное меньшинство и гигантское большинство вроде бы несопоставимы. Но каким-то невероятным образом меньшинство наносит большинству сокрушительное поражение.

Как это происходит? Почему не срабатывают защитные механизмы, способные заблокировать динамику этой разрушительной энергии? Что мы знаем об этих механизмах? Почему не используем их на всю мощь, когда угроза надругательств и гибели нависает над всем, что нам дорого, а заодно и над нами самими? Все эти вопросы невольно возникают, стоит только вступить на территорию «Бесов».

Знание о бесах

В Библии утверждается, что главной действующей силой в драме вселенского бытия выступает благой Бог с Его ангелами и что Ему пытаются противодействовать нечистый дух зла (сатана, дьявол). Об этом противодействии мы читаем в Книге Бытия, Книге Иова, Новом Завете.

Пребывая в своем, особом, трансцендентном мире, дьявол и прислуживающие ему бесы (демоны) выступают авторами, режиссерами, а иногда и суфлерами в тех трагедиях и комедиях, которые разыгрываются в ходе всемирно-исторической мистерии. Они — исконные, неисправимые враги людей, стремящиеся превращать их в марионеток, поработать умы, растлевать души, насаждать зло, подрывать основы цивилизованного общежития, разрушать ценности высокой культуры. Люди, одержимые нечистыми духами, становятся отъявленными лжецами, прелюбодеями, развратниками, ворами, убийцами, решаются на самоубийства, сходят с ума и во многих случаях вполне справедливо считаются бесноватыми.

Атеисты, не допускающие существования потустороннего мира, видят только наружную фактуру драмы бытия. Верующие, в отличие от них, выказывают гораздо большую проницательность в понимании сути этой драмы. Трансцендентная реальность от них не скрыта, и потому их мировосприятие богаче, глубже, «стереоскопичнее», взгляд проницательнее, мышление содержательнее. Это позволяет им учитывать гораздо большее количество смыслов, ценностей и норм, циркулирующих в контенте мировой драмы.

Сверхфизические духи зла — крайне неприятные персонажи «человеческой трагикомедии». Наглядные свидетельства их малых пакостей и больших злодеяний и даже просто разговоры о них не доставляют нормальному человеку ни малейшего удовольствия. И все же учитывать их присутствие в повседневной реальности необходимо и, не побоюсь этого слова, полезно.

Почему? Да хотя бы потому, что злые духи — это не самостоятельная мировая сила. Известно, например, что в процедуре защиты любой диссертации предусмотрено обязательное присутствие оппонентов, критикующих текст диссертанта, выявляющих его промахи и заблуждения. Их цель — не позволить автору уклониться в сторону от магистральной честного поиска научной истины. Так и в мире Бог допустил присутствие бесов, чтобы люди, терпя от них ощутимые неприятности, энергичнее устремлялись прочь от тьмы к свету, истине, добру, справедливости и в конечном счете — к стоящему над всем этим Богу, открывающему человеку любящие объятия. Чем отвратительнее донимающая нас бесовщина, тем мы выше ценим прекрасный лик Господа.

Именно поэтому С. Булгаков был прав, когда утверждал, что «Бесы» — роман о Христе. Не всякий поймет истинный смысл этого суждения, поскольку в «Бесах» имя Иисуса Христа встречается редко, всего несколько раз. Поэтому булгаковский афоризм требует пояснения: «Бесы» — роман о ненайденном Христе, о потерянном Христе, об отвергнутом Христе, то есть о Боге, который нужен человеку как воздух и без которого он обречен погибнуть от духовного удушья.

Достоевский не просто разворачивает перед читателем жизненные истории нескольких духовных банкротов, проигравших свои души дьяволу, но излагает свое доказательство тщеты, порочности и бессмысленности жизни без Христа.

Провокаторство как демоническая структура

Философ Сергей Булгаков одним из первых обратил внимание на то, что в «Бесах» отчетливо прописана тема провокаторства. Достоевский сделал это при помощи художественного языка. Однако на эту тему можно рассуждать также языком социально-политических, метафизических и даже теологических категорий. Объяснительные возможности последних особенно важны в тех случаях, когда провокаторство предстает в виде не частных, эпизодических девиаций, но как коренной признак поведенческих стратегий субъектов, готовых направить процесс изменений в той или иной жизненной сфере по катастрофическому пути.

Провокаторами являются все нечистые духи. Они стремятся во что бы то ни стало столкнуть человека с пути добродетели на путь зла. Первым это продемонстрировал библейский змий, проникший в Эдем, искусивший, обманувший и погубивший доверчивую Еву и ее наивного мужа. Богопротивный смысл провокаторства с предельной ясностью передан в рассказе евангелиста Матфея о том, как дьявол искушал в пустыне Иисуса: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклониться мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол» (Мф. 4, 1–11).

Коллизии, о которых рассказывается в Библии, преподносят человечеству два урока. Первый исходит от Бога и заключается в грозном предупреждении, требующем, чтобы люди никогда, ни при каких условиях не слушались советов нечистых духов и голосов тех, через кого они вещают. Второй можно считать чем-то вроде мастер-класса практического провокаторства. Его дал дух зла, продемонстрировавший целый набор своих инструментов, предназначенных для развращения человеческого рода, — разнообразные виды лжи, сладкоречивое лукавство, непревзойденное коварство, подлое подстрекательство, заманчивые посулы, смысловые подмены, ценностные подтасовки и т. д. Оба урока были усвоены теми, кому были адресованы, с той лишь разницей, что первый урок восприняли со всей серьезностью очень немногие, а второй стал руководством к действию для преобладающего большинства людей.

Исторический опыт, а также современные наблюдения свидетельствуют: стоит любому субъекту, будь то индивидуум или группа, церковное или светское сообщество, гражданская или государственная система, допустить серьезные послабления в системе духовной самозащиты от «духов злобы поднебесных», как те незамедлительно активизируются и переходят в наступление. Демонические структуры провокаторства используются ими как тараны, чтобы разбивать ценностные и нормативные укрепления, возведенные верой, нравственностью, культурой.

Одна из главных целей бесов-провокаторов состоит в том, чтобы парализовать духовную жизнь человека. И там, где это им удастся, у личности возникает состояние, похожее на паралич духа. Образуется вопиющая аномалия: казалось бы, перед нами человеческое существо, внешне ничем не отличающееся от других людей; при нем его нормальная телесность, а также все ранее приобретенные социальные качества и душевные свойства. Но в то же время налицо глубочайший личностный изъян: оказывается, что дух в нем либо парализован до потери всякой чувствительности, либо совершенно мертв. В «Бесах», в «демоническом человеке» Ставрогине и в «сатанинском человеке» Верховенском Достоевский изобразил две модели провокаторства — интеллектуально-метафизическую и авантюрно-политическую.

Каждый, кто знаком с содержанием Библии и основами христианской теологии, знает, что человек не может вырваться из состояний духовного паралича и духовного омертвения своими собственными силами, не призывая на помощь Бога. Те же сообщества, где люди, успевшие претерпеть множество поражений от духов

зла, пытаются обойтись без молитвенно-покаянных воззваний к Христу, в сущности, обречены оставаться жертвами инфернальных сил вплоть до своего полного исчезновения.

Антропология бесовщины: инфернальный человек

Кому-то может показаться, что рассуждения о бесовщине в наше просвещенное время, на виду у публики, далекой от веры в Бога, — это верх наивности, отсталости, умственной дремучести. Однако с суровыми вердиктами придется повременить, если вспомнить о давнем парадоксе, согласно которому существует бесчисленное множество достаточно образованных людей, не верующих в Бога, но в то же время с поспешной готовностью признающих существование дьявола, выказывающих крайне заинтересованное отношение ко всему, что связано с *inferno*. Эти господа демонстрируют обостренное внимание к демонизму во всех его видах, в том числе к литературным, живописным, музыкальным, театральным, кинематографическим и прочим вариациям на эту тему. Наиболее продвинутое из них любя погрузиться в ницшеанские тексты, прославляющие человекозверя, осатаневшего от своей безбрежной гордыни. Они же обожают театр Антонена Арто и синематику Дарио Ардженто. При этом истинные смыслы, подлинная суть их взаимодействий с философией и искусством такого рода от них, как правило, скрыты.

Между тем обо всех этих пристрастиях можно сказать только одно: именно *так* действуют трансцендентные духи зла. Через обольстителей-provokаторов (философов, писателей, поэтов, художников, композиторов, театральных режиссеров, кинематографистов, актеров) они заывают «малых сих» только для того, чтобы подвергнуть их умы, души, сердца духовному насилию и в конце концов опустошить, растлить, изничтожить то добротное, чистое и высокое, что еще оставалось внутри тех, кто им доверился.

Именно поэтому аналитикам, стоящим на позициях библейско-христианского интеллектуализма, не следует замалчивать, игнорировать тему бесовщины. Ведь эта тема представляет собой, в сущности, пространство духовной войны, поле боя, где невозможно сидеть сложа руки, а надо сражаться. Разумеется, собственными скромными силами с данной темой не справиться. Привлечь ресурсы классической и современной теологии из-за малого текстового пространства здесь пока нет возможности. И вот тут нам на помощь приходят сам роман «Бесы» и его киноверсия. Именно они дают право ограничиться тем материалом, который непосредственно примыкает к ним. Для разбирательства с этой интертекстуальной мешаниной нам уже удалось привлечь такого корифея русской мысли, как Сергей Булгаков. Однако этого явно недостаточно, и придется прибегнуть к помощи еще одного сильного и проницательного русского ума, а именно — Ивана Ильина.

У этого замечательного философа есть работа под названием «О демонизме и сатанизме»¹, которая вышла в 1945 году в Цюрихе, на немецком языке. То была глава в книге «*Blick in die Ferne. Ein Buch der Einsichten und der Hoffnungen*» («Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований»). Спустя десять лет, в 1955 году, она была опубликована на русском языке в формате статьи, в сан-францисском журнале «День русского ребенка».

Интеллектуальный опыт И. Ильина, равно как и аналогичный опыт С. Булгакова, приобретенные ими при философском анализе темы бесовщины, имеет несомненную библейско-христианскую генеалогию. Оба они исходят из библейского посыла, согласно которому существуют люди, одержимые сатанинско-демониче-

¹ Ильин И. А. О демонизме и сатанизме // Собр. соч. в 10 т. Т. 6. Кн. II. М.: Русская книга, 1996.

ским началом и являющиеся несомненными девиантами в социальном, моральном, психологическом или психическом отношении.

Если свести в единую концептуальную конструкцию мысли обоих философов, то это позволит выстроить нечто, вроде рабочей версии *основ антропологии бесовщины*. Ее можно будет использовать в качестве объяснительной конструкции в нескольких аналитических направлениях. Во-первых, как теологический комментарий к «Бесам» Достоевского. Во-вторых, как опыт осмысления феномена политического лидерства-вождизма-фюрерства (будем помнить дату выхода в свет размышлений Ильина: 1945 год). В-третьих, как философско-теологический ключ к загадкам той самой русской души, о непредсказуемости чьих движений продолжают рассуждать современные неославянофилы. И, в-четвертых, как антропологическое сопровождение к историософии гибнущих цивилизаций и к теологии катастроф.

Исходный посыл Ильина — это вынужденное признание того, что современный человек, атеист или неоязычник, сталкивающийся с чудовищными проявлениями могущественной бесовской стихии, фактически не имеет ни опыта понимания ее природы, ни навыков успешной борьбы с ней. Те смутные и поверхностные представления, которые у него есть, редко облекаются в точные понятия. Единственное, что ему удается, — это сумбурные признания факта существования трансцендентного зла, излагаемые на двусмысленном языке символических намеков, художественных аллюзий и метафизических отсылок. И на этом все, как правило, заканчивается.

Согласно Ильину, внутри феномена бесовщины следует различать два модуса — демонический и сатанинский. Это позволяет вести речь, соответственно, о двух антропологических типах — *демоническом* и *сатанинском*, полностью зависимых от «духов злобы поднебесных».

Представители обоих типов — несомненные провокаторы-пассионарии. А поскольку их пассионарность имеет темное, inferнальное происхождение, то обоих можно считать двумя разновидностями одного и того же, более общего, типа — *инфернального человека*. Разница же состоит в том, что «демонизм, — как пишет Ильин, — есть дело *человеческое*; сатанизм есть дело *духовной бездны*»².

Демонический человек лишь наполовину погружен в inferno и хоть изредка, но, все же вспоминает о существовании света. Сатанинский же человек успел целиком провалиться в запредельность трансцендентного зла, и никакие человеческие увещания до него уже не доходят. Хотя физически он еще на земле, территория его черной души с имеющимся внутри нее «подпольем» (см.: Ф. М. Достоевский. «Записки из подполья») уже присоединена оккупационной армией князя тьмы к территории inferno.

Можно сказать и по-другому: внутреннее «подполье», которым обладает inferнальный человек, служит чем-то вроде соединительного шлюза, связывающего темный трансцендентный мир падшего Люцифера с внутренним миром личности злодея-провокатора. Через этот концентратор зла в человека проникают те гибельные inferнальные миазмы, которые С. Булгаков назвал «адскими испарениями». В этом личном филиале общего ада сосредоточены духи зла, провоцирующие человека на богопротивные проступки, искушающие его темными соблазнами и подталкивающие к прямым преступлениям.

Массовый тип inferнального человека является продуктом распада симфонической личности народа. Этот распад происходит на завершающем этапе его духовной биографии, на финишной прямой его исторического пути. Социальные системы, внутри которых создаются особо благоприятные условия для того, что-

² Указ. соч. С. 278.

бы inferнальный человек активно размножался, плодил себе подобных, распространял свои влияния на все сферы жизни и деятельности, обречены. Логика такой летальной прогностики проста: демоны и одержимые ими социальные субъекты не имеют склонности останавливаться, пока дело не доведено до конца. Их предназначение — разрушение, и только разрушение. Ничего иного они не умеют делать. Но доводить начатое до конца они умеют.

Антропология бесовщины: демонический человек

Сознательная жизнь демонического человека протекает в состоянии сильнейшего, но неокончательного духовного помрачения. Это жизнь того, чье «я» пребывает в отдаленности от Бога, надеясь обойтись без Него и Его света.

В демоническом человеке очень сильны дурные страсти. Одна из них — ярко выраженное любопытство ко всему отрицательному, темному, бесовскому. Из-за этого он норовит заглянуть даже туда, куда обычные люди страшатся всматриваться. Чары темных искушений, бездны пороков и преступлений влекут его с neodолжимой силой, и он время от времени, как бы, помимо своей воли, уступает демоническим соблазнам.

Будучи интеллектуалом, игроком и циником, он любит выступать в роли идейного соблазнителя, играть ценностями, манипулировать смыслами, жонглировать понятиями, переворачивать категории добра и зла, менять местами представления о свете и тьме. Охватывая своим сильным умом очень многое, он при этом пытается не замечать Бога, хотя и не в состоянии тем окончательно забыть о Нем. Этим Ставрогин отличается от Верховенского, совершенно лишенного способности к интеллектуальным играм, метафизическому мышлению и религиозно-философским вопросам.

Демонический человек хотя и общается с бесами, но к преданному, истовому служению только лишь силам зла не готов. Он вообще никому не хочет служить, а желает только, чтобы все служили ему, в том числе и демоны. Для него все сошлось в одну точку, и эта точка — его «я», подвешенное в пустоте. Это о нем сказано: «Если верует, то не верует, что верует. Если же не верует, то не верует, что не верует». Трудно отыскать более исчерпывающее свидетельство пребывания человеческого «я» в полном духовном вакууме.

Личность демонического склада может быть идентифицирована по внешним антропологическим признакам и морально-психологическим проявлениям, которые ей не удастся скрыть от окружающих. Вот лишь некоторые из них:

- периодически мелькающая презрительная, кощунственная усмешка-ухмылка;
- холодные и злые либо же хитрые и шныряющие глаза;
- склонность к хвастливым или угрожающим высказываниям;
- всегдашняя готовность к лукавым и предательским поступкам.

Через эти и им подобные особенности проявляется сидящая внутри демонического человека провокаторская сущность, заставляющая совращать людей, подталкивать их к пропасти нравственного падения.

У иного читателя-зрителя «Бесов» может возникнуть положительное, то есть совершенно неадекватное, отношение к главному «бесу» — Николаю Ставрогину. Чтобы не поддаваться этому наваждению, надо просто не забывать, что Ставрогин — искуснейший, почти гениальный провокатор-обольститель, дерзкий растлитель «малых сих». Девочка Матреша, Кириллов, Шатов, Марья Тимофеевна Лебядкина, капитан Лебядкин — вот лишь малая часть его прямых и косвенных жертв, погубленных растлевающими речами и поступками. Одни оказались спровоцированы на отчаянные самоубийства. Других он подтолкнул к философским безумствам,

требующим самоистребления. Третьи были хладнокровно подведены под жестокие заказные убийства.

Ставрогина вполне можно поставить в один ряд с Великим инквизитором из «Братьев Карамазовых» и даже, при желании, присвоить ему сходный титул Великого провокатора. Его образ — одно из лучших в мировой литературе доказательств того, что бесы реально существуют. Ведь Ставрогин творит зло не ради каких-то внешних целей. Политическая власть ему, в отличие от Верховенского, не нужна. Богатство, деньги его не интересуют, поскольку все это у него имеется в избытке. Благоклонного внимания женщин он не ищет, так как оделен им сверх всякой меры. Им движет исключительно сидящая в нем разрушительная сила, которую можно называть по-разному. Но, думается, более точного определения, чем нечистый дух зла или бес-демон, не найти. Именно этот внутренний демон, заставлявший сворачивать и убивать других людей, в конце концов побуждает героя истребить и самого себя.

Антропология бесовщины: сатанинский человек

Сатанинский человек — обладатель темной, маниакальной души, находящейся в состоянии полного нравственного помрачения и целиком преданной злу. Он — тот, в кого сатана вошел (Ин. 13, 27) не на минутку, а надолго, чтобы прочно и надолго обосноваться в гостеприимно предоставленном ему антропологическом убежище. Он — провокатор до мозга костей, до кончиков ногтей, не признающий святынь и последовательный в презрении к людям, в лживости и наглom коварстве.

Не склонный к рефлексии, не умеющий заглядывать умственным взором в беспредельность трансцендентного мира, исключивший даже само слово Бог из своего словаря, он в духовном отношении мелок и ничтожен. Зато как практик-провокатор, ловко заманивающий людей в расставленные им сети, он вне конкуренции.

Осуществляя сверхличные планы темного трансцендентного начала, сатанинский человек говорит силе, направляющей его: «Да будет воля твоя!» Эти слова обращены не к Богу, а к Его антиподу, к темной вражеской силе, требующей подчинения, служения, исполнения своих повелений, распространения лжи и совершения беззаконий.

Мышление сатанинского человека сухо, прагматично, механистично, не обложено ни единой высокой мыслью, ни одним живым нравственным чувством. Им движет насмешливая, презрительная злая воля. Его питают и заряжают отрицательной энергией сугубо негативные чувства зависти и ненависти, а также жажда мести тем, кто его когда-либо обидел, и непомерное корыстолюбие.

Князь тьмы не только использует сатанинского человека в качестве земного орудия своей злой воли, но и покровительствует ему, поддерживает большинство его провокаций. Отсюда почти невероятная успешность большинства предприятий, осуществляемых этим субъектом.

В сферах, где действуют люди, лишенные Божьего покровительства, имеющие на своей совести множество нераскаянных преступлений против Бога, сатанинскому человеку удастся почти все, что он задумывает. И это происходит не от того, что он гениален. Его плотская оболочка, его антропологическая хижина может выглядеть довольно убогой, его интеллект может быть очень средним, а его духовные качества и вообще пребывать на нулевом уровне. Причины его успехов заключены в инструментальном складе его скудной личности, лишенной стыда и совести, то есть внутренних тормозов, способных воспрепятствовать осуществлению задумываемых пакостей и злодеяний. Через него сатана обильно сеет зло на территориях, оставленных без Божьего попечения, пребывающих под игом проклятия.

От сатанинского человека, как уже сказано, не требуется никаких особых дарований. Главное, чтобы он целиком принадлежал дьявольской стихии, чтобы внутри него не было духа Божьего, не было порядочности, сострадания, доброты, жажды истины и справедливости, а безраздельно господствовал злой сатанинский дух, заставляющий повсеместно насаждать зло.

Единственный его талант, в котором ему нет равных, — это талант провокатора. Ловко, как никто другой, он способен подводить людей к краю бездны. При этом ему удается столь искусно отвлекать их внимание посторонними вещами, что они часто даже не замечают, как их обманывают, как ими манипулируют. Не замечают они и последнего, смертельного толчка в спину и приходят в себя, лишь когда летят в бездну и когда уже невозможно что-либо изменить и исправить.

Когда такой человек оказывается во власти, то он, подобно вампиру или злому насекомому, вроде клопа, алчно впивается в нее и всасывает в себя максимально возможное количество этой самой власти, становясь в итоге тираном. Его дьявольская политика опутывает и поработачивает малые и большие сообщества, а то и целые народы. По его воле лучшие изничтожаются, а худшие всплывают наверх, превращаясь в дьяволоподобных слуг деспота. Из-за совокупных систематических усилий армады мелких разрушителей и губителей в народе слабеет совесть, угасает духовность, распространяются разнузданная порочность и половая извращенность. Властолюбие, готовность к подлостям, предательству, всевозможным низостям проникают в среду не только государственных чиновников, но и артистов, писателей, учителей, врачей, ученых и даже духовенства. Жизнь всех приличных, порядочных людей, чтящих Божьи заповеди, уважающих нормы морали и права, неотвратимо превращается в какую-то кошмарную фантазмагорию, в нарастающую трагедию.

Сатанинский человек — это хотя и отвратительная, но по-своему цельная натура, не испытывающая от своих моральных патологий ни малейшего внутреннего дискомфорта и способная наслаждаться творимыми злодеяниями. Он служит злу вдохновенно, испытывает удовольствие от совершаемых мерзостей, не терпит вблизи себя праведников и даже просто порядочных людей, которых всегда готов оскорблять, унижать и уничтожать. Для такого человека нет большей радости, чем воплощать главный замысел сатаны — губить разными способами лучших людей и наслаждаться зрелищем их духовных поражений и смертей.

И. Ильин характеризует мотивационную сферу сатанинского человека как жажду человекоумительства, как «неутолимую зависть, как неисцелимую ненависть, как дерзающую свирепость, как агрессивную, воинственную пошлость, как вызывающе бесстыдную ложь, как абсолютное властолюбие, как презрение к любви и к добру, как попрание духовной свободы, как жажду всеобщего унижения, как радость от унижения и погубления лучших людей, как *антихристианство*»³. «Он, — по словам философа, — полон ненависти к людям духа, любви и совести и не успокаивается до тех пор, пока не поставит их на колени, пока не поставит их в положение предателей и не сделает их своими покорными рабами — хотя бы по внешности»⁴.

«Большая теория» зла и эффект сверла

Среди амбициозных интеллектуалов времен модерна-постмодерна были и есть такие, кому очень хотелось бы сконструировать некую всеобъемлющую «большую

³ Там же. С. 270.

⁴ Там же.

теорию» зла. Однако дальше экстравагантных изворотов игривой мысли дело у них, как правило, не идет. Между тем они напрасно тратили и тратят силы, поскольку такая «большая теория» уже существует. Чтобы с ней познакомиться, следует открыть Библию, вчитаться в нее, а затем соотнести свои впечатления и соображения с тем, что думали и думают о зле интеллектуалы-теологи прошлого и настоящего. Не исключено, что среди тех, кто попробует двинуться этим путем, появятся люди, которые усмотрят в материалах библейско-христианского дискурса несравнимо больше смысла, чем в изломах искусительных конструкций, сочиненных одержимыми умниками и умницами, вроде Ницше, Блаватской, Арто, Батая, Лакана, Фуко, Жижека и др.

В библейско-христианской «большой теории» тема зла прочно увязана с темой бесовщины (демонизма). В ней бесы — это не плод игры человеческого воображения, не метафора, как склонны считать атеисты, а трансцендентные духи с онтологическим статусом. Они могущественны, жестоки, коварны и стремятся проникнуть буквально во все, чем занимается человек.

Когда Достоевский дал своему роману название, непривычное для секулярного слуха, он не просто поместил некую региональную социально-криминальную коллизию в смысловые рамки классического культурного контекста, но ухватил глубинную суть того почти невероятного, чуть ли не абсурдного процесса начавшегося исторического суицида симфонической личности «русского мира».

Семена демонизма, разбрасываемые бесами, падают на разную почву. На одной они остаются бесплодными, а на другой способны пускать корни, давать всходы, а затем и плоды, от вида которых нормальный человек приходит в ужас.

В романе мы наблюдаем, как в организм губернского города художественно наглядным, буквальным образом вселяются бесы. Приезжают демонический красавец Николай Ставрогин и внешне невзрачный, мелкотравчатый, но, по сути, очень опасный авантюрист-provokator Петр Верховенский. Оба главных героя великолепно подготовлены к выполнению своей демонической миссии, поскольку совершенно свободны от каких бы то ни было религиозных запретов и нравственных самоограничений. Поэтому сразу же запускается механизм психологического, идеологического, морального и физического насилия. Пошел процесс растления, деморализации и запугивания горожан. Насилие расширяется и нарастает, расчищая себе путь, ликвидируя религиозные, моральные и правовые запреты. Число жертв становится все больше, а насильники-provokatory действуют все энергичнее и решительнее.

В «Бесах» разворачивается картина, на которой негодяи, подобно сверлу, постепенно ввинчиваются в живую, податливую социальную ткань. Под их жестким, циничным напором разрушаются структуры нравственных, семейных, гражданских отношений. Маленькое, но очень злое сверло не внемлет никаким увещаниям и продолжает демонстрировать свою волю к разрушению, дымясь ядовитым курением, распространяя вокруг убийственное моральное зловоние. Демонические силы сокрушают всех, кто слаб духом. Почти у каждого, кто оказался у них на пути и не устоял, выгрызается сердцевина личности, разносится в пух и прах душа и умерщвляется живой нерв совести. Ни православная религиозность, ни прогрессистская либеральность не выдерживают испытаний на прочность и сдают свои позиции. И в один из моментов вдруг обнаруживается, что некий важный рубеж перейден, что дорогие сердцу ценности разрушены безжалостным напором и что их уже не восстановить. А смертельно опасное сверло между тем продолжает свою адскую работу, И вот уже нигде вокруг не видно сил, способных остановить его.

Все, что делают Ставрогин и Верховенский, полностью совпадает с целями духов зла, завладевших ими. Бесы и люди общими усилиями вырывают целый учас-

ток социальной, гражданской жизни из цивилизационного контекста, погружают его в бездну беззакония, в хаос убийств, самоубийств, сумасшествий, пожаров, террора.

Энтропийная дыра, адский провал, внутри которого сокрушены все прежние цивилизационные структуры, становится неопровержимой данностью. А зияющий шурф продолжает и дальше рассверливаться, расширяться и углубляться, как будто темные силы надеются пробить вертикальный туннель, который соединит их с *inferno* и даст возможность заявить: «Ад наш!» и «Черт с нами!»

А ведь все начиналось с легких, пробных прикосновений бесноватого сверла к мягкой, нежной поверхности цивилизованной жизни. Появились всего лишь какие-то два человека, и никто не подозревал, что они смогут перевернуть все вверх дном. Поначалу казалось, что остановить их не составит никакого труда. Однако никакая цивилизованная сила их почему-то не брала. Ветер дул в их паруса, власти либо покровительствовали, либо бездействовали, граждане либо попустительствовали, либо молчали. Пули (Гаганова-сына) летели мимо Ставрогина. Верховенскому все задуманное удавалось с необыкновенной легкостью. Возмездие не спешило обрушиться на головы нечестивцев.

Верующие бесы

На горизонте нашей духовной, умственной, нравственной жизни вырисовывается странная на первый взгляд связка двух суждений. С одной стороны, это «достоевский» и вместе с тем совершенно модернистский тезис: «Если Бога нет, то все позволено». К нему примыкает другой тезис, уже, похоже, «постмодернистский»: «Если Бог есть, то все позволено в еще большей степени». Между ними, несомненно, присутствует содержательная связь, которую необходимо прояснить и понять.

В текстах критических отзывов на фильм «Бесы» автору данного текста попалось следующее суждение Людмилы Сараскиной, известного исследователя творчества Достоевского: «Создатели картины... стараясь сделать вещь актуальной, как-то не заметили, что нынешнее время давно разрешило в России и Бога, и веру, и церковь. А люди — все равно все себе позволяют, ни в чем не отказывают: лгут, воруют, грабят, убивают»⁵. Отчего так происходит, литературовед не дает ответа. А между тем этот вопрос — из важнейших. Получается, что выстраивается какая-то загадочная историческая комбинация обстоятельств, работающих вхолостую: государство вроде бы разрешило все, что относится к Богу, вере и церкви, а люди не просто остались прежними, а даже стали еще хуже.

Однако если вдуматься, то загадочность оказывается мнимой. Ну, во-первых, Бог и вера, конечно же, не укладываются в дискурсивные пределы социально-нормативных категорий «разрешено-запрещено». Вера в Бога слишком далеко запрятана внутрь человеческого «я», чтобы полицейская регламентация могла легко и беспрепятственно добраться до нее.

Бог абсолютно онтологичен и совершенно не доступен для человеческих «разрешений» или «запретов». Инфузория не может запретить Солнцу светить. Бог есть всегда, независимо от чьих бы то ни было разрешительных и запретительных желаний. А вот что касается должной связи между Ним и человеком, то она существует далеко не всегда. Если связующего отношения в виде веры не образовалось, то Бог для такого человека как бы не существует. И тот, соответственно, живет и действует по каким угодно правилам, но только не по Божьим законам. Перед таким человеком можно положить Библию, перед ним можно гостеприимно распах-

⁵ Сараскина Л. Сериальные «Бесы»: в зоне подмен // politconservatism.ru.

нуть двери церкви, ему можно указать на многих людей, уверовавших в Бога, но он от всего этого отмахнется и будет жить по своей глупой или злой воле.

В иных случаях некоторые из них даже готовы утверждать, что они — верующие. На этот счет им полезно было бы знать то место из Нового Завета, где апостол Иаков говорит в своем Послании: «И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19).

Признание, что Бог существует, означает необходимый, но не достаточный шаг в выстраивании отношений с Богом. Остановиться на нем — все равно что остаться на той же самой ступеньке, где находятся бесы, «верующие и трепещущие». Вторая же ступень — это исполнять Божьи заповеди. Бесам эта ступень не доступна; она от них закрыта. А человек, пренебрегший ею, готов спокойно заявить: «Даже если Бог есть, то все равно все позволено!»

Вот это мы и имеем сегодня. Внешние преграды вроде бы сняты, а люди остались прежними; и от веры, как спасительной прививки, продолжают отказываться. Результат же всего этого один: они остаются беззащитны перед демонами зла, подталкивающими их к лжи, воровству, убийствам, самоубийствам и вырождению. И худо от этого и самим богоотрицателям, молодым и старым, и обществу с государством, и экономике с промышленностью, и природе с культурой, и нравственности с духовностью. Одним словом, всем!

Если попытаться найти ответ на вопрос, почему так происходит, то намек на него прозвучал, как заметила та же Л. Сараскина, в предфинальной сцене сериала, где книгоноша предлагает уезжающему следователю купить Евангелие, а тот отмахивается, мол, «потом». Слова книгоноши звучат почти пророчески: «Потом поздно будет».

Так вот пришло время признать: мы, кажется, дожили до этого самого «потом», когда уже «поздно»... Бесы уже совершили задуманное и сумели разрушить в духовной сфере некогда великого народа все, что только можно было разрушить.

Конечно, вспомнить о Боге, уверовать в Него, возродиться духом можно всегда. Не нравится одна конфессия, можно, в конце концов, выбрать другую. Когда в Европе на рубеже XV–XVI веков католическая церковь сделала все, чтобы дискредитировать себя в глазах миллионов, то они не стали атеистами только потому, что открылся запасной выход из духовного кризиса. Его распахнули Лютер и Реформация. И те, кто были уже готовы порвать с католичеством и впасть в безверие, остались христианами, но только уже не католиками, а протестантами.

На светофоре, стоящем на пути, ведущем к Богу, всегда горит зеленый свет и никогда не загорается красный. Но бесы не дремлют, и из-за них людей, желающих двигаться этим путем, становится все меньше и меньше. А у тех, у кого есть такое желание, далеко не всегда хватает сил, чтобы пройти этот путь до конца. Одним словом, в главном Л. Сараскина права: и церкви открыты, и веровать не запрещено, и молиться разрешено, а абсолютное большинство народа живет так, будто Бога нет и все позволено. А раз они Бога не приняли, в Него по-настоящему не уверовали, Его заповеди игнорируют, то на защиту с Его стороны им нечего рассчитывать. И потому они духовно прозябают, отданные на растерзание темным силам зла, совершенно беззащитные перед их демонической мощью. Бесы пользуются этой незащищенностью и вытворяют, что хотят, с безумцами, живущими без Бога в душе, без царя в голове.

Вторая империя, возникшая в 1917 году, восставшая на Христа, построенная вопреки Его заповедям, занявшаяся массовым производством родственного ей по духу антропологического типа — inferнального человека, тем самым заявила о своей исторической обреченности. Миллионы одержимых, в отличие от гадаринского бесноватого, исцеленного Иисусом (Лк. 8, 26–39), не подпускали к себе Спасителя, отталкивали Его исцеляющую длань и гибли неотвратно и безвозвратно.

Строители империи, а затем их преемники не имели ни малейшего шанса на тот успех, который выглядел бы победой не в их глазах, а в глазах Христа. Будучи изобретательны на зло, они конструировали все более изощренные и опасные демонические структуры. Этими смертоносными орудиями терзалось, растлевалось и изничтожалось все, отмеченное малейшими знаками одухотворенности.

В результате накопившаяся за последние сто лет критическая масса гордыни, недружелюбия и ожесточения, приведшая к полному духовному поражению, как бы застыла в ожидании, чтобы в конце концов обернуться последней точкой в инфернальной динамике исторического суицида.

Символика катастрофы

Появление романа «Бесы» в начале 1870-х годов стало знаковым событием в истории русского духа. Так ознаменовалось его вхождение в подготовительную фазу предстоящих катастрофических метаморфоз.

Театральная инсценировка «Николай Ставрогин» (1913–1914) явилась хотя и малой, но заметной вехой, отметившей не просто начало конца нашей Первой империи, но начало радикального исторического слома, почти апокалипсического крушения той классической иерархии смыслов, ценностей и норм, без которой человеческий дух не может нормально, полноценно, плодотворно существовать и начинает распадаться.

Сведение воедино этих двух артефактов, сближение сопутствующих им культурно-исторических контекстов порождают отнюдь не беспочвенные опасения: не окажется ли нынешняя киноинсценировка «Бесов» одним из сигналов вхождения русского духа в новый геополитический эксцесс, чреватый не только окончательным историческим обвалом нашей Второй империи, но и полным провалом в мировое inferno того, что осталось от этого духа?

В конце концов, С. Булгаков не случайно отнес «Бесы» к разряду произведений *символических*, то есть несущих в себе, помимо очевидных смыслов, еще и смыслы неочевидные, скрытые, глубинные. Не прочитанные вчера, они читаются сегодня или будут обнаружены и поняты завтра.

Достоевскому очень не хотелось, чтобы историческое место народа, которого он считал духовно богатым, терпеливым, смиренным «народом-богоносцем», занял «народ-бесоносец», отвергший Бога, духовно обнищавший, одержимый непомерной гордыней, злой нетерпимостью, агрессивной ксенофобией. Он очень не хотел, чтобы духи зла оседлали его народ, вошли в него и погнали бы к роковому историческому обрыву. Однако его опасения и предупреждения были услышаны только единицами. Духовного же слуха остальных, то есть большинства, они не достигли.

Что-то не сработало. Поначалу сама идея национального русского бога и русского «народа-богоносца», явно не библейская, не христианская, сугубо головная, умозрительная, дала сбой. Затем начал демонстрировать свою непреложность фундаментальный исторический закон, согласно которому народы, вставшие на путь преступлений против Бога, обречены оказаться под игом проклятий и стать легкой добычей демонических сил. Не желающие каяться, меняться, исполнять библейские заповеди, они становятся беззащитны перед силами атакующего их зла. Оставляя одну позицию за другой, они в конце концов оказываются на краю исторической пропасти, обвал в которую может начаться в любой момент.

И невольно, как навязчивое видение, вновь и вновь является образ незадачливого царя Валтасара, увидевшего начертанный на стене приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5, 26). Он говорит человеку о многом. Обра-

щенный сегодня к симфонической личности многомиллионного народа, не выдержавшей Божьего экзамена, он выглядит как грозная констатция: историческое время, отведенное тебе, резко пошло на убыль. У Достоевского экзамена не выдержал описанный в «Бесах» губернский город. Но этим дело не закончилось. Классик как будто в воду глядел: оказалось, что не только его современники, но и их дети, внуки, правнуки тоже провалили экзамен. Накопленный в прежние века духовный ресурс не был использован по назначению, а куда-то делся, рассеялся, распылчился. Возникла не виданная дотопе опустошенность, которая и обернулась, как и для Валтасара, легковесностью в глазах Божьих.

Художники, принадлежащие к таким опустошенным народам, сами не имеющие дара истинной веры, лишённые духовного зрения и не замечающие самого важного из того, что происходит вокруг них и с ними самими, не способны справиться с религиозными смыслами высокой русской классики. А поскольку материал им не подчиняется, то они вынуждены либо копошиться у подножий шедевров художественности, либо безуспешно карабкаться по крутым склонам недоступных их пониманию смыслов, постоянно соскальзывая вниз и в конечном счете так и оставляя непокоренными вершины художественно-философской мысли. Более того, они сами умудряются регулярно попадать во всевозможные ловушки, расставленные коварными местечковыми, государственными и геополитическими бесами. И, конечно же, столь незадачливые мастера искусства мало чем могут помочь миллионам своих зрителей, так же застрявшим в точно таких же ловушках.

Если роман Достоевского — это диагноз ранней фазы тяжелого духовного заболевания симфонической личности русского народа, то фильм Хотиненко — подобие глянцевої фотографии этой сверхличности, уже лежащей на смертном одре. Сериал ничего не говорит о сути болезни, сразившей исторического неудачника, молчит о сверхфизической подоплеке свершившегося поражения и смертельного заболевания. Он не только не позволяет зрителю почувствовать и осознать масштабы произошедшей трагедии, но даже думать в этом направлении не призывает.

Фильм, в котором Бог далеко за кадром, где режиссер не может сказать зрителю ничего определенного относительно Его бытия в мире, не несет в себе ничего вразумляющего, утешающего и обнадеживающего. Получается, что зрителю предложена всего лишь легковесная картинка, демонстрирующая довольно конфузные плоды банализации, профанации замысла классика.

Текст «Бесов», превратившийся в фильм, оказался вполне адаптирован к бездуховнейшей из эпох, которые когда-либо переживали страна и ее народ. Создатель сериала не выказал желания устремиться ввысь и подтянуть за собой зрителя. Он предпочел противоположный вектор: двинуться по нисходящей траектории, чтобы угодить современному непритязательному любителю полицейских детективов.

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

ПОПУТЧИК

Перед тем, как в советской литературе окончательно закрепился социалистический реализм, был в ней краткий период социалистического романтизма, с него-то, собственно, и начался мой интерес к поэзии; на чердаке сарая я нашел подшивку «Огонька», и разве можно было пройти мимо «Валентины» Багрицкого с его горячей революционно патетикой: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед» или мимо «Гренады» Светлова, я был покорен навсегда. Светлов, Багрицкий, Асеев, Сельвинский. Да что там говорить, даже Уткин, даже Жаров, «Взвейтесь кострами» которого я пел в пионерском лагере, были для меня безусловными величинами. Не было там только Бориса Корнилова, имя которого стараниями его первой жены Ольги Берггольц к тому времени было уже реабилитировано, но личная реабилитация еще не означала реабилитацию творческую, хотя стихотворения и поэмы его были напечатаны небольшими тиражами в 1957–1966 годах. Имя автора «Песни о встречном» было почти забыто, несмотря на то, что не было такого праздника, не было такой демонстрации, где бы она ни звучала.

Пожалуй, по частоте звучания по радио и телевидению она уступала лишь «Москве майской» («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля») Лебедева-Кумача, да и то только потому, что последняя на фоне Шаболовской телебашни Шехтеля открывала по утрам телевизионный эфир Первого канала.

Я не буду излагать подробно биографию поэта, о его биографических вехах в канун столетия со дня рождения написано достаточно, если вкратце:

Борис Корнилов родился 16 (29) июля 1907 года в селе Покровское Нижегородской губернии (ныне Семеновского района Нижегородской области), в семье сельского учителя. В 1922 году Борис переселяется в Семенов и начинает сочинять стихи. Одновременно он активно участвует в деятельности пионерской, а затем комсомольской организаций.

Первые публикации отдельных стихов Корнилова относятся к 1923 году.

В конце 1925 года поэт уезжает в Ленинград, чтобы показать свои стихи Есенину, но уже не застаёт его в живых. Он входит в группу «Смена» под руководством В. М. Саянова, и там его вскоре признают одним из самых талантливых молодых поэтов России.

В 1926 году Корнилов — вместе с Ольгой Берггольц, также участницей «Смены», — поступил на Высшие государственные курсы искусствоведения при Институте истории искусств. Борис и Ольга вступили в брак, который оказался недолговечным: они прожили вместе два года, их дочь Ира умерла в 1936 году. Корнилов не задержался и на искусствоведческих курсах.

В 1928 году у него выходит первая книга стихов «Молодость». Затем в 1933 году появляются сборники «Книга стихов» и «Стихи и поэмы».

Александр Николаевич Климов родился в городе Южа в 1959 году. Автор четырех поэтических сборников. Один из основателей газеты «Театральный курьер». Лауреат премии «Нового мира» за 2008 год. Живет в Москве.

В 1930-х годах у Корнилова выходят поэмы «Соль» (1931), «Тезисы романа» (1933), «Агент уголовного розыска» (1933), «Начало земли» (1936), «Самсон» (1936), «Триполье» (1933), «Моя Африка» (1935). Писал также песни («Песня о встречном», «Комсомольская-краснофлотская» и др.), стихотворные агитки («Вошь»), стихи для детей («Как от меда у медведя зубы начали болеть»).

В 1932 году поэт пишет о ликвидации кулачества, и его обвиняют в «яростной кулацкой пропаганде». Частично реабилитирует его в глазах советских идеологов поэма «Триполье»: она посвящена памяти комсомольцев, убитых во время кулацкого восстания.

В середине 1930-х годов в жизни Корнилова наступил явственный кризис, он злоупотреблял спиртным. За «антиобщественные поступки» неоднократно подвергался критике в газетах.

В октябре 1936 года исключен из Союза советских писателей, 9 марта 1937 года Корнилова арестовывают в Ленинграде.

20 февраля 1938 года Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством корвоенюриста Матулевича Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания. В приговоре содержится следующая формулировка: «Корнилов с 1930 г. являлся активным участником антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства». Приговор приведен в исполнение 20 февраля (?) 1938 года в Ленинграде.

Гораздо важнее для нас, нежели биографию, проследить пути становления Корнилова как поэта ленинградского направления. Ни для кого не секрет, что в России изначально сосуществовали две поэтические школы — питерская и московская: Блок — Белый, Ахматова — Цветаева, Мандельштам — Пастернак, и т. д. Существует эта полярность и по сей день. Очень важно, в какую почву упадет зерно, каким инструментарием будет оно культивироваться, от кого опылится колос. Начиная как природный носитель языка, очень чуткий к слову, Корнилов все дальше удаляется от первооснов и формирует себя внове. Нет, он не создает в стихах городской эстетики, не становится урбанистом в обычном понимании этого слова, он становится индустриальным поэтом, и этому, конечно же, способствует учеба на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, где преподавали Юрий Тынянов, Виктор Шкловский, Иван Соллертинский, Эйхенбаум; общение с поэтами Северной столицы: с Тихоновым, Саяновым, сверстниками. Первый, как известно, был учеником Гумилева; вообще-то различия между школами определялось не только топонимическими признаками, но и векторами — западным и евразийским. Хотя идеологически в 30-е годы все было окрашено в красный цвет, все эти предпосылки не могли не повлиять на поэтику недавнего нижегородского паренька. Язык его становится лаконичным, сухим, четким, размер стиха — разнокалиберным, сбивающимся с ритма агиток на ритм атаки.

Лирика уступает место маршу. Лиризм по сути своей индивидуален, а марш подразумевает, что под него ходят строем и в ногу, а это уже примета времени. Трудовой энтузиазм, коллективизация, пирамиды физкультурников — все на виду.

Вообще, марш — явление тоталитарное, также под него маршировали на площадях нацистской Германии, очень легко перешедшей от вагнеровских мелодий мейстерзингеров к барабанному бою и синхронному отстукиванию каблуками.

И вот, как ни странно, Борис Корнилов остался в истории литературы не как лирик, хотя, конечно, и этим тоже, а как автор «Песни о встречном» и, пожалуй, еще «Яхты».

Яхта шла молодая, косая,
серебристая вся от света,—
гнутом парусом срезая
тонкий слой голубого ветра.
В ноздри дунул соленый запах —
пахло островом, морем, Лахтой...
На шести своих тонких лапах
шли шестерки вровень с яхтой...
Пойте песню.
Она простая.
Пойте хором и под гитару.
Пусть идет она, вырастая,
к стадиону,
к реке,
к загару.
Пусть поет ее, проплывая
мимо берега, мимо парка,
вся скользкая,
вся живая,
вся оранжевая байдарка.

Все очень просто, в этих стихах он наиболее индивидуален, я бы добавил — не повторим. Если взять, положим, два его очень известных стихотворения: «Качка на Каспийском море» и «Соловья», то они, разумеется, хороши и сделали бы честь любому поэту; но первое — все же не без влияния Багрицкого, а во втором его превосходит блистательный Павел Васильев, ну, скажем, в «Горожанке», хоть там соловьи и не поют, а немеют. Но вот «Песню о встречном» ни один поэт-современник не написал бы, как Корнилов,— это марш времени. В нем и вторая пятилетка, и Турксиб, и другие великие стройки социализма; и «Окна РОСТА», и Малевич, и Родченко, и конструктивисты, и октябрюта, и комсомол, и героика освобожденного труда, и, прежде всего, неизбывный оптимизм и вера в непреложность строя — каждый новый день будет лучше предыдущего.

С точки зрения Бродского, есть художники, которые не выражают себя в формах времени, а живут формами времени, то есть ритмом. Ритмы времени проявляются в музыке, движении, языке, которые, говоря словами Одена, «живут людьми». Тут совпало все.

Песня о встречном

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И радость поет, не скончая,
И песня навстречу идет,

И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.

Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд, и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.

За Нарвскую заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравую,
Отцов сменя.
Страна встает со славою
На встречу дня.

...И радость никак не запрягать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрюта,
Картавые песни поют.

Отважные, картавые,
Идут, звеня.
Страна встает со славою
На встречу дня!

Такою прекрасною речью
О правде своей заяви.
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!

Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Что тут, спрашивается, осталось от прошлого Корнилова? Ни одного слова, а их было великое множество, у него богатый словарь. Полное лексическое обновле-

ние. Все это напоминает переезд на новую квартиру, куда хозяин не взял ни одной старой вещи. Все новое, все по-новому, и хочется жить счастливо и долго. Теперь-то мы знаем, чем все это закончилось для самого поэта, после всесоюзной славы и признания. Но, видимо, глубоко, на всю жизнь западают в сознание подобные стихи.

Не спи, вставай, кудрявая,
В цепях звеня,
Страна встает с потравой
Кончать тебя.

Так переиначил мой знакомый в начале 90-х. И еще, несмотря на всю индустриальную мощь, есть в них теплая корниловская улыбка, мягкая ирония; вот по этому внутреннему движению и происходит узнавание поэта — наш.

Надо сказать, что Борис Корнилов — поэт не без влияния, и, конечно, он многое впитывал и схватывал и вообще умел слышать и учиться, потому так кардинально и перекроил свою поэтику. Перед нами — постоянно обновляющийся мастер. Не избежал он и влияния обэриутов: это проявляется как в отдельных словах, так и в связках, и в краплениях бытовой речи, снижающих революционный пафос преднамеренным языком капитана Лебядкина. Вот стихотворение «Гроза»:

И лечь бы, дышать бы распяленным горлом, —
тяжелое солнце горит вдалеке...
С надежную ленью в молчанье покорном
глядеть на букашек на левой руке.

Плывешь по траве ты и дышишь травой,
вдыхаешь травы благотворнейший яд,
ты смотришь — над потною головою
забавные жаворонки стоят...

Но это — мечта. И по-прежнему тяжело,
и смолы роняет кипящая ель,
как липкая сволочь — на теле рубашка,
и тянет сгоревшую руку портфель.

Вполне в обэриутском стиле. И дальше:

И вот положение верное в корне,
прекрасное, словно огонь в табаке:
идет председатель, мечтая о корме
коней и коров, о колхозном быке.

Он видит быка, золотого Ерему,
короткие, толстые, бычьи рога,
он слышит мычанье, подобное грому,
и видимость эта ему дорога.

Красавец, громадина, господи боже,
он куплен недавно — породистый бык,

наверно не знаешь, но, кажется, все же
он в стаде, по-видимому, приобвык.

Закроешь глаза — багровеет метелка
длиной в полсажени тугого хвоста,
а в жены быку предназначена телка —
красива, пышна, но по-бабьи проста.

И вот председателя красит улыбка —
неловкая шутка, смешна и груба...
Вернее — недолго, как мелкая рыбка,
на воздухе нижняя бьется губа.

И он выпрямляет усталую спину,
Сопя, переводит взволнованный дух —
он знает скотину, он любит скотину
постольку, поскольку он бывший пастух.

Дорога мертва. За полями и лесом
легко возникает лиловая тьма...
Она толстокожим покроеет навесом
полмира, покрытая мраком сама.

И дальше нельзя. Непредвиденный случай —
он сходит на землю, вонзая следы.
Он путника гонит громоздкою тучей
и хлестким жгутом воспаленной воды.

Гроза. Оставаться под небом не место —
гляди, председатель, грохочет кругом,
и пышная пыль, превращенная в тесто,
кипит под протертым твоим сапогом.

Прикрытье — не радость. Скорее до дому —
он гонит корявые ноги вперед,
навстречу быку, сельсовету и грому,
он прет по пословице: бог разберет.

Симпатичный председатель, еще более симпатичный бык.

Отдаленная перекичка с «Торжеством земледелия» Заболоцкого, но тут бы Заболоцкий и поставил точку, только не Корнилов, в таком виде эта вещь непроходная. Где идеология? Где классовая борьба? И вот из-за завесы дождя появляются два подкулачника с топорами: «Давно мы тебя непотребного ищем, ты нашему делу / Стоишь поперек». И далее:

Как молния, грянула высшая мера,
клюют по пистонам литые курки,
и шлет председатель из револьвера
за каплею каплю с левой руки.

Гроза. Изнуряющий, сладостный плен мой,
кипящие капли свинцовой воды, —

греми по вселенной, лети по вселенной
повсюду, как знамя, вонзая следы.

И это не красное слово, не поза —
и дремлют до времени капли свинца,
идет до конца председатель колхоза,
по нашей планете идет до конца.

Каков председатель?! Высоко и вполне по-коммунистически.

В одном интервью в пору эмиграции поэт Юрий Кублановский сказал: «Советский стихотворец изначально нацелен на заказчика, на потребителя. Он всегда думает, как это будет воспринято. Проститутки думают, как это будет воспринято цензурой, люди избалованные — типа Вознесенского и Евтушенко, как это будет воспринято теми или иными кругами общества. Но это стихотворство изначально, априорно испорчено именно заказчиками того или иного уровня или рода». Сказано это было в 80-х годах прошлого века. В 30-е годы того же века вопрос так не стоял. Вопрос стоял о жизни или смерти. Не зря же и Пастернак в телефонном разговоре со Сталиным хотел говорить с ним все о том же — о жизни и смерти.

Раз ты заявил о себе, раз партия тебя печатает, будь добр без напоминания... так сказать, по зову сердца. И поначалу — Корнилов идеологически непогрешим.

Так бери же врага за горло,
страшный, яростный и прямой,
человек, зазвучавший гордо,
современник огромный мой.

Горло хрустнет, и скажешь: амба —
и воспрянешь, во тьме зловещ...
Слушай гром моего дифирамба,
потому что и это вещь.

В воздухе сгущается, война неизбежна, главные битвы еще впереди. Тревожные годы молодой республики. В стихотворении «Пулеметчики», в образе врага предстает не Германия, а страны бывшей Антанты — Англия и Франция.

Переломаны ваши древки,
все останутся гнить в пыли —
не получите нашей нефти,
нашей жирной и потной земли.

Есть еще запрещенная зона —
наши фабрики,
наш покой...
Наземь выплеснете знамена
вашей собственной рукой.

Вот она, развязка, предвосхищение Парада Победы в сорок пятом, до которого автор этих строк не доживет. Бухарин на первом съезде писателей отмечает: «У него (у Корнилова) «Крепко сшитое» мировоззрение и каменная скала уверенности в победе». Эта похвала ему еще дорого аукнется.

А пока вслед за «Трипольем» следует поэма «Моя Африка», оправдывающая выданные ему авансы. Поэт постоянно находится в пограничном состоянии, он мобилизован на фронт поэзии.

Ударим на неприятеля —
ударим — давно пора —
сегодня на предприятия
ударниками пера.

Без бутафории, помпы,
без конфетти речей,
чтоб лозунги били, как бомбы,
вредителей и рвачей.

Чтоб рифм голубые лезвия
взошли надо мной, над тобой,
подразделение Поэзия,
налево и прямо в бой.

Но Борис Корнилов, человек, безусловно, умный, он понимает, что зарпортовался, что за всей этой декларативностью теряется личность, и что пишет он не то, что думает, и живет не так, как надо; что индивидуальность и инакомыслие попираются, а для населения все распланировано на годы вперед и что жизнь эта бесконечно далека от победных реляций газетных матриц, что люди — шестеренки в механизме государства. В конце концов, пропадают знакомые, вчерашние соседи по дому. Какое-то время он еще пытается приспособиться к системе, воспевать ее, но человеческое нутро уже противится, как противится организм алкогольной передозировке, и непроизвольно идут рвотные позывы.

Насилье родит насилье,
и ложь умножает ложь.
Когда вас берут за горло —
естественно взяться за нож.
Нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!

Так, совсем по другому поводу, позднее напишет Николай Асеев. И вот поэт Корнилов, естественно, берется не за нож, а за стакан, чтобы хоть на какое-то время примирить себя с действительностью. 14 июля 1934 года в газете «Правда» выходит статья Максима Горького «О литературных забавах», где, поверив наветам недоброжелателей, писатель клеймит Васильева: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, “широтой природы”, его “кондовой мужицкой силищей”... Хотя от хулиганства до фашизма расстояние короче воробьиного носа». Вот так! Вот так, этого было достаточно, чтобы талантливейшего русского поэта арестовали в первый раз и впоследствии расстреляли в Лефортовской тюрьме. 24 мая 1935 года в той же «Правде» было опубликовано открытое письмо двадцати писателей с осуждением «политически реакционного»

поведения Павла Васильева, стояла под письмом и подпись Бориса Корнилова. В написанном в 1929 году стихотворении «ТВС» явившийся больному и отчаявшемуся автору (Багрицкому) умерший Феликс Дзержинский говорит про наступающий век: «Но если он скажет: “Солги” — солги. Но если он скажет: “Убей” — Убей». Багрицкому «повезло», он умер в 1932 году. А вот перед Корниловым встал все тот же гамлетовский вопрос о жизни и смерти: «Быть или не быть». Корнилов выбирает жизнь и, по-видимому, мучается ужасно, чему свидетельство — все более учащающиеся запои. В газете «Литературный Ленинград» появляется постановление Ленинградского Союза писателей о поведении Б. Корнилова: «Выжечь богему», началась травля поэта.

Он все чаще возвращается к своим корням, к стихам, написанным ранее, пытается переосмыслить прожитую жизнь.

Во веки веков осужденный на скуку,
на психоанализ любовных страстей,
деревня, — предвижу с тобою разлуку, —
внезапный отлет одичавших гостей.
И тяжело подумать — бродивший по краю
поемных лугов, перепутанных трав,
я все-таки сердце и голос теряю,
любовь и дыханье твое потеряв.

Вот они, первопричины сегодняшней болезни: в отдалении от истоков природного языка, в выстраивании себя под систему, в развитии в ложно выбранном направлении. Только в лирических стихах он был честен, как может быть честен исповедальный лирик, вот что надо было возвращать и лелеять.

Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число...
Я пока еще сентиментален,
оптимистам липовым назло.

Тут он невольно и проговаривается: оптимизм-то, оказывается, был липовым. И все эти социалистические оды, которые он выпекал, как пирожки, застряли у него в горле. Наелся. Не зря же вспоминает Мартовский, нижегородский приятель Корнилова, когда, рассказывая о литературных делах, с иронией заметил, что какой-то критик назвал его комсомольским, чуть ли даже не пролетарским поэтом. Последовал ответ: «Вот чудак! Я же типичный попутчик». У Есенина: «...теперь в советской стороне я самый яростный попутчик». Но вот что забавно: необыкновенную есенинскую антисоветскую крамолу нас заставляли учить в школе. Недавно мне об этом напомнил Юрский своим неподражаемым чтением, неумолимо расставив акценты.

Я слушал такое знакомое с ученичества стихотворение «Возвращение на родину» в исполнении актера, и меня поразила остросатирическая трактовка. А ведь она была заложена изначально. Просто в силу идеологии и всеобщего безбожия мы ее не замечали.

«Ты не коммунист?» —
«Нет!..» —
«А сестры стали комсомолки.

Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...
Пойдем домой —
Ты все увидишь сам».
И мы идем, топча межой кукольной.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

То, что в 1924 году цензура пропустила у Есенина, она, покопавшись, нашла в корниловской завуалированной «Елке». Так ли уж не прав был Лисючевский — председатель правления издательства «Советский писатель», когда писал в 1937 году в своем доносе в органы НКВД, что в творчестве Б. Корнилова имеется ряд стихотворений с откровенным враждебным социализму содержанием. Иногда это содержание из-под спуда прорывалось наружу.

Мне скажут черными словами,
отринув молодость мою,
что я с закрытыми глазами
шаманю и в ладоши бью.

Что научился только лгать
во имя оды и плаката, —
о том, что молодость богата,
без основанья полагать.

Это раздражение против самого себя, против социального заказа, который вынужден выполнять. И уж совсем депрессивно и понятно:

Сочиняйте разные мотивы,
все равно недолго до могилы.

Талант, если он перестает обслуживать советскую власть, ни для кого не является пропуском в дальнейшую жизнь, скорей напротив. Когда-то поэт написал:

И когда меня, играя шпорами,
Поведет поручик на расстрел,
Я припомню детство, одиночество,
Погляжу на ободок луны
И забуду вовсе имя, отчество
Той белесой, как луна, жены.

Не угадает он только одного, что расстреляют его свои, некий чин НКВД в феврале 1938 года.

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

КОВЧЕГ ПОЭЗИИ

В терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

В. Маяковский

«Из глубины взываю к тебе, Господи!» — кричал псалмопевец. Из глубины старости, живя в другом мире, сменившем ту исчезнувшую цивилизацию, в которой прошла почти вся моя жизнь, цивилизацию, растворившуюся во мраке истории, как растворялись древние греки, римляне или какие-нибудь там хетты или персы с присущим им мировидением, своими богами и ощущением вечности существования, как и у нас — совков несчастных и великих, жалких и могучих, были свое мировидение и свои боги, свои традиции и страхи, исчезнувшие мгновенно, в одночасье. Те древние греки и римляне многое оставили последующим цивилизациям. Но ведь и мы оставили... Или мне кажется, что оставили? Так вот из глубины старости, мира совсем другого взываю к дням юности своей, той остроте чувства и переживания, свойственным мне в те годы, и пытаюсь восстановить события тех лет.

В Кривоарбатском переулке. Лет в девятнадцать у меня закрутился роман со студенткой Архитектурного института. Она была некрасива, хотя и мила какой-то особой женственной милотой, кокетливо косящими глазами, трепетно вибрирующим голосом и мягкой интеллигентной манерой обитательницы арбатских переулков, которые тогда еще не прославились как окуджавские символы, но уже несли в себе осколки прошлой манящей жизни, ощутимой во многом, и в том числе в молодежных компаниях, куда меня ввела моя пассия. Мы часто бродили по этим переулкам, и звон наших голосов будил сонную ночь столетий, в которой спал этот район.

В Кривоарбатском переулке, где жила моя подруга, мы проходили мимо дома архитектора Мельникова, построенного им для себя и своей семьи. В цилиндрическом фасаде среди ромбовидных окон тускло светило лишь одно, и казалось, что именно там сидит над своими чертежами этот гений архитектуры, затравленный сторонниками сталинского ампира. Моя спутница говорила о нем в захлеб, таинственно понижая голос.

Сама она жила неподалеку, на углу Кривоарбатского и Арбата в огромном доме, такие дома когда-то назывались доходными, а теперь стали обителью коммуналь-

Михаил Залманович Румер-Зараев — прозаик, публицист. Публикации в «ДН»: «Конец главы» (2004, № 8); «Anno domini — лето господне. Ярославский дневник» (2006, № 1); «Одиночество власти. История взлета и гибели Михаила Евдокимова» (2006, № 9); «Россия, которую мы обрели. Что сеяли деды и что пожинают внуки» (2007, № 3); «В мире реализованных утопий» (2008, № 4–5); «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...» (2008, № 11).

НЕВА 11'2014

ного быта. Они обитали вдвоем с матерью в большой сумрачной комнате, а отец — старчески грузный, высокий, с седыми кудрями — жил тут же в узком пенале, переделанном из ванной. С матерью они были в сложных отношениях и, сколько я помню, не общались. А дочь он любил, и она заходила в его холостяцкую берлогу с кафельным полом и высокими стенами, уставленными книжными полками, и меня ввела туда же, так что я со временем стал приходить не столько к дочери, роман с которой остывал, сколько к отцу.

Когда он умер, дочь завела меня в его комнату: «Даю тебе полчаса, чтобы ты не утонул в его книгах. Выбери две на память о нем. Все-таки ты последний его собеседник». Я выбрал книжку стихов хозяина комнаты (в двадцатые годы он был поэтом есенинского круга) и цветаевский сборник «Версты» 1922 года издания. Полвека эта тоненькая книжица с купидоном на обложке — сотня страниц карманного формата — сопровождает меня во всех моих скитаниях, оставаясь самым ценным раритетом моей библиотеки. И стихи из нее все эти годы звучат в моем сознании памятью о юности, когда столько стихов звенело в моих ушах.

Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Это их молодой и короткий роман с Мандельштамом. После коктебельского знакомства то она приезжала к нему в Петербург, то он — к ней зимой 1916 года — в Москву. И это были встречи, полные волнения, нежности, взаимного восхищения. Она дарила ему Москву:

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

И он ей в ответ:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

Все это писалось в 1916-м. «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год», — пророчествовал Маяковский.

Вернусь, однако, к отцу моей арбатской подруги, у постели которого я провел столько вечеров в последние месяцы его жизни. Зарабатывал он себе на жизнь переводами стихов национальных поэтов, но в тот год по нездоровью мало работал, а все больше лежал на своем продавленном диване, ставшем последним пристанищем его грузного, оплывшего тела. Бывало, сходит на кухню, находившуюся в другом конце длинного полутемного коммунального коридора, принесет сковородку с яичницей, прихватив ручку полой халата, брякнет ее на клеенку стола, испещрен-

ную кружками от горячих стаканов, лениво поковыряет желтый глазок и потягивает черный остывший чай, откинувшись на высокие подушки дивана, хрипя, астматически откашливаясь, ведет свой нескончаемый монолог. А я все слушаю, все впитываю сюжеты ушедшего времени, отгороженного от нас стеной десятилетий, все ахаю про себя, заслышав знакомые имена с тем, чтобы, придя домой, кое-что записать, оставив в архиве уже моих десятилетий.

Как-то я принес лакированный портрет Есенина в облике задумчивого херувима с трубкой в кокетливо отставленной руке. Вот, мол, чем нынче торгуют в метро. И позволил себе поиронизировать: «Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет...»

Он долго вертел в руке эту базарную картинку: «Что ж, скоро на палехских шкатулках его изображать будут. Икона, кумир народный. Любил наряжаться. Помню, как они с Клюевым выходили на эстраду в бархатных боярских кафтанах, в желтых сапожках — эдакие былинные отроки — да с тальянкой пели частушки — знай наших рязанских да вологодских. А потом, в пору его дружбы с Мариенгофом — цилиндр, который ему шел как корове седло... Суета сует, а впрочем, как не быть поэту кокетливым, не театральничать. Константин Георгиевич Паустовский рассказывал, как он, удаляясь от московской суеты в деревенскую глушь, заехал в Константиново уже в нынешние послевоенные времена. Я там бывал у Сережи еще до революции — места дивные, Ока, леса... Так вот, пришла к нему старуха, сметану принесла. Уходя, фамилию назвала — Есенина. Если понадобится молоко, сказала, как дом найти. Он спросил, не родня ли она поэту? И дальше — так хорошо изобразил этот разговор. „Тетка я ему родная, — сказала старуха, утирая кончиками головного платка углы рта. Знаете, как это делают деревенские старухи — подожмут губы и вытрут уголки кончиками платка. — Поет-то он был хороший, да уж больно чумовой“. Я потом спрашивал племянницу Сережину, она отрицала наличие тетки, считала эту историю фантазией Паустовского. Даже если и фантазия, то придумано хорошо — эдакое прелестное смещение с городского „э“ на деревенское „е“ — „поет“, и это — „чумовой“».

Он говорил, говорил, преодолевая одышку, хрипло откашливаясь, и из него вытекал поток воспоминаний, уплотняясь, сплетаясь в клубок судеб, событий, всполохов бунтов и пожаров, испепелявших его мир. И ни у кого-то из тех, кого он упоминал, не было ровного течения жизни — так, чтобы вот учился, работал, обзаводился семьей, умер в своей постели, окруженный чадами и домочадцами. Кто эмигрировал и задыхался на чужбине от тоски и бесприютности, кого расстреляли, кто повесился, кто доживал свой век в арбатской трущобе в нищете и одиночестве. Ни у кого не было нормального течения судьбы, раскрывавшейся в меру способностей и устремлений человеческих.

Разве что Паустовский, о котором он бегло упомянул в связи с есенинской родиной, прожил жизнь в относительном благополучии, издаваемый в России и даже получивший восторженное признание своего кумира Бунина из Парижа, словно благословение ушедшей в послание, не замордованной соцреализмом русской литературы. Как, верно, сладко ему жилось и писалось в Константинове на этом окском крутояре, откуда в ровной подоблачной дали виднелись зеленые волны холмов и черно-белыми пятнами — стада на заливном лугу.

Лет за тридцать перед тем, в пятнадцатом году, на этом крутояре сживали два молодых поэта, сошедшиеся в пылкой юношеской дружбе так плотно и так неразрывно, что, казалось, ничто не может их развести. Годы спустя Цветаева с умилением зрелости писала: «Леня. Есенин. Неразрывные, неразлучные друзья. В столь разительно разных лицах они сошлись, слились две расы, два класса, два мира.

Сошлись — через все и вся — поэты. Леня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лени не выходил. Так и вижу две сдвинутые головы — на гостинной банкетке в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превратившую банкетку в школьную парту — Ленина черная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки. Ленины карие миндалины. ...После Канегиссера остались книжечки стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось, когда я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности не поверила».

Не знаю, водил ли Есенин Канегиссера к Лидии Ивановне Кашиной, прототипу Анны Снегиной, жила ли она тогда в своем константиновском доме, об этом в огромной есениане нет сведений. Кашина была последней местной помещицей, завершившей четырехсотлетней длины ряд владельцев этого большого приокского села. И кто только не отметился в том длинном ряду из представителей российских аристократических фамилий — и Нарышкины, и Голицыны, и Волконские, и Олсуфьевы. После отмены крепостного права им на смену пришли купцы, скупавшие здешние земли. А уж предпоследним хозяином усадьбы и угодий стал отец Лидии Ивановны Иван Петрович Кулаков — фигура колоритнейшая.

Крестьянин из Подмосковья, он становится буфетчиком в знаменитом хитровском трактире «Каторга», этом, по словам Гиляровского, «притоне буйного и пьяного разврата», а затем — владельцем подворья доходных хитровских домов, трехэтажных зловонных корпусов, получивших название Кулаковка. Именно туда водил Гиляровский мхатовцев, пожелавших изучить жизнь своих персонажей в пору постановки горьковского «На дне».

Разбогатев на этом дне, Иван Петрович в полном соответствии с блоковской схемой («Грешить бесстыдно, непробудно, / Счет потерять ночам и дням, / И, с головой от хмеля трудной, / Пройти сторонкой в божий храм»), становится благотворителем, попечителем церковей, ревнителем народного просвещения и, конечно же, своих детей воспитывает наилучшим образом. (Как говорил один мой друг, ушибленный своими дворянскими корнями: «Хочу, чтобы дочка и французский знала, и на фортепьясах могла».) Так вот Лидия Кашина, в девичестве Кулакова, с «золотым шифром» окончила Александровский институт благородных девиц, а брат ее — два университетских факультета — юридический и исторический.

Она была милой и доброй барышней, вышла замуж за сельского учителя, ставшего впоследствии профессором литературоведения. Получив в наследство константиновскую усадьбу, жила там скромно и тихо, что не помешало мужикам в революционные годы вознамериться сжечь господский дом, от чего их с трудом отговорил Есенин. Тем не менее Лидия Ивановна вынуждена была уехать из села, но вовсе не в Лондон, как Анна Снегина, а в Москву, где работала машинисткой и литературным редактором в газете «Труд» с тем, чтобы погибнуть в 1937-м в мельнице Большого террора.

Вот так и закончился роман пастушка с царевной, проступавший сквозь некрасовские ритмы поэмы, все тот же роман пастушка и царевны, преследовавший поэта всю его жизнь.

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекое, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

Рассказ старика. «Старуха была права: он и вправду был чумовой. Истерик, пьяница, скандалист, любовник знаменитой танцовщицы, увозившей его в Европу и Америку, любимец новой советской знати... Правда, не сразу он стал таким, пройдя сначала по петроградским гостиницам в обличье белокурого деревенского пастушка, вызывая умиление литературных дам. Он умело потакал их вкусам, их романтическому мироощущению, рождавшему его образ эдакого гениального крестьянского отрока, несущего правду и чистоту народную в противовес изломанной декадентской поэзии, а он быстро понял, каким его хотят видеть, и давал материал для легенд, окружавших его имя. Господи, каких только легенд не связывали с ним. Считалось, что он пришел в Питер пешком в тулупе и валенках, как ходят на богомолье, и бродил по городу, выспрашивая, где живет Блок. А Блоку представился выходцем из старообрядческой крестьянской семьи, что тоже было враньем: отец был сидельцем в мясной лавке в Москве, нормальный православный мужик. И дед, который воспитал его, был обычный православный крестьянин, кстати сказать, довольно разгульный. А он повторял эти байки, уже будучи известным поэтом.

Все это была чушь, туфта, но точно рассчитанная туфта, работающая на создаваемый образ. Приехал он в Питер весной пятнадцатого года обычным способом, по железной дороге из Москвы, где несколько лет работал корректором в типографии Сытина, учился в университете Шанявского, быстро воспринимая университетскую культуру и совсем неплохо зная отечественную словесность. Но от народных речений и крестьянских манер избавляться не спешил. Мог, например, выпив рюмку шартреза, поморщиться и сказать: „Поганый“ — или, не соглашаясь с кем-то, ласково обнять за плечи: „Ну, что ты, дурной...“ „Корова“, — произносил с простонародным оканьем и, когда над ним смеялись, спрашивал: „Ну что вы...“ Потом это ушло, пообтесалось, а первое время умиляло, и он знал это.

К Блоку он действительно пришел едва ли не с поезда и понравился ему. В блоковской записной книжке есть запись: „Днем у меня рязанский парень со стихами... Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные...“ Он направил его с запиской к Сергею Городецкому. И надо сказать, что это был правильный выбор, ибо Сергей Митрофанович, с одной стороны, находился в центре литературной жизни — и в символистах побывал, и среди основателей акмеизма числился, вместе с Гумилевым „Цех поэтов“ организовывал, а с другой — у него всегда некий фольклорный уклон имелся — одни названия его сборников поэтических чего стоят — „Ярь“, „Перун“, „Дикая воля“ — такая славянская романтика — и он как мэтр протезировал крестьянским поэтам — Клюеву, Клычкову, Ширияеву. Так что Есенина он принял с распростертыми объятиями — накормил, обогрел, поселил на первых порах у себя, пристраивал по журналам его стихи, устраивал публичные выступления. Словом, отец родной. Он и называл Есенина Сергунька, и все в нем его умиляло — льняные волосы, и эти его рязанские побаски и „страдания“, и то, что стихи принес завязанными в деревенский платок...

Я познакомился с ним в совсем другой компании, у Кости Ляндау — молодого поэта (впрочем, все мы были тогда молодыми поэтами), который, уйдя из состоятельной буржуазной семьи, устроил себе уютное холостяцкое жилье в сводчатом подвальчике на Фонтанке, уставленном великолепными книгами, старинной мебелью — к нему в любой вечер можно было зайти, постучав по оконному стеклу, выходявшему прямо на тротуар, так что ноги прохожих было видно из комнаты. Наклонишься, бывало, стуканешь в окно, спустишься по узкой лесенке и обязательно кого-нибудь из друзей-приятелей застанешь за стаканом вина и хорошим литературным разговором или чтением стихов. Кто только не бывал в этом подвальчике.

Некоторые стали гордостью российской словесности, кто-то сгинул в неизвестности, кто-то в эмиграции, как тот же Костя Ляндау, уехавший в Париж в двадцатом. Компания была пестрая и по поэтическому, и по культурному уровню. Скажем, тот же Есенин никаких иностранных языков знать не знал, а Володя Шилейко, он жил рядом на Фонтанке и нередко заглядывал к Ляндау, знал сорок языков. Да-да, сорок, одних древних восточных, наверное, с десяток — шумерский, аккадский, хеттский, арамейский... Он перевел „Сказание о Гильгамеше“, расшифровывал шумерские глиняные таблички и, между прочим, превосходные стихи писал. Кое-что из его „Сирен“ я помню.

Над мраком смерти обоюдной
 Есть говор памяти времен,
 Есть рокот славы правосудной,
 Могучий гул: но дремлет он
 Не в ослепленье броней медных,
 А в синем сумраке гробниц,
 Не в клетоте знамен победных,
 А в слабом шелесте страниц.

Он какое-то время был мужем Ахматовой. Его в таком качестве многие и помнят. А он сам был поэтом первоклассным. А уж востоковед... — можно сказать, основатель российской шумерологии. Вот такие люди сходились в том подвале. И Мандельштам там бывал, и Рюрик Ивнев, он впоследствии секретарем Луначарского стал, а сейчас, как и я, переводами советских кавказских поэтов промышляет. Жить-то надо.

Больше всего и ближе всего из этой компании Есенин дружил с Леней Канегиссером. Вам что-нибудь это имя говорит? Ничего? А Каплан, Конради, Коверда? Почему-то у всех террористов, покушавшихся на видных большевиков, были фамилии на „к“. Бальмонт даже стих такой в эмиграции написал:

Люба мне буква „Ка“,
 Вокруг нее сияет бисер,
 Пусть вечно светит свет венца
 Бойцам Каплан и Канегиссер.
 И да запомнят все, в ком есть
 Любовь к родимой, честь во взгляде,
 Отмстили попорченную честь
 Борцы Коверда и Конради.

Про Фанни Каплан вы, конечно, знаете. А вот об остальных людях вашего поколения известно мало. У всех у них был свой счет к большевикам. У Конради насмерть забили в ЧК отца — кондитерского фабриканта, расстреляли дядю. Сам он недоучившимся студентом ушел на Первую мировую войну, прошел всю Гражданскую в знаменитом дроздовском полку и уже в эмиграции застрелил в Лозанне Вацлава Воровского. Швейцарский суд его оправдал, выслушав свидетельские показания о большевистских зверствах, в которых, между прочим, Воровский, будучи партийным публицистом и дипломатом, непосредственного участия не принимал.

Этого нельзя сказать про советского посла в Польше Петра Войкова, застреленного на варшавском вокзале вилениским гимназистом Борисом Ковердой. Войков был одним из инициаторов и участников расстрела царской семьи.

Каждый из этих пылких молодых людей чувствовал себя мстителем: один за погибшего отца, другой — за царскую семью. Но у Канегиссера, убившего начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого, была особая мотивация, о которой он заявил на первом же допросе. „Я еврей, — сказал он. — Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я знаю, что меня ожидает, но я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий — не еврей. Он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев“. Такой причудливый национальный мотив был у этого человека, которого я хорошо знал. Он, как и Ляндау, принадлежал к богатой еврейской семье: отец — высокопоставленный инженер, директор судостроительных верфей и металлургических заводов, — окруженный родственниками и друзьями, принадлежавшими к петербургской интеллектуальной элите. Тетка Лени издавала журнал „Северные записки“, куда он ввел Сережу. Его там лелеяли и привечали на редакционных сборищах, которые тогда были свойственны литературным журналам.

Леня был необыкновенно хорош и привлекателен своим пылким романтизмом, чистотой. Студент политехнического института, юнкер артиллерийского училища, который вместе с другими такими же романтическими мальчиками-юнкерами в ночь большевистского переворота защищал Керенского...

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать —
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Это он писал в июне семнадцатого, за три месяца до октября. Его двоюродный брат был близок к Савинкову и, судя по всему, вовлек его в подпольную эсеровскую группу. Он убил Урицкого в тот же день, когда Фанни Каплан стреляла в Ленина, и, выскочив из дворцового вестибюля, помчался на велосипеде по Дворцовой площади. Его схватили после погони. Все его окружение таскали в ЧК, кого-то и посадили, но Есенина в это время не было в Питере, да и пик их дружбы пришелся на пятнадцатый-шестнадцатый годы. Тогда они были неразлучны. Леня даже приезжал к Есенину в Константиново, для него, городского интеллигентного мальчика, это было восторженное свидание с Россией. Сергей водил его в монастырь, они бродили по лугам, жгли костры, слушали тальянку. Словом, представление в стиле „ля рюсс“. И стихами обменивались, как это принято тогда было. „С светлым другом, с милым братом Волгу в лодке переплыть“, — писал Канегиссер. „Мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде“, — отвечал ему Есенин.

Цветаева впоследствии вспоминала в присущей ей экспрессивной манере их „хорошую мальчишескую обнимку“, не забыв упомянуть: „Две расы, два класса“. Не было ли у Сергея отторжения Лениной расы? Нет, этого у него не было при всем его крестьянском народном происхождении. У других было. У него нет. У кого было? Ну, у многих. У Блока, например. Да-да, не делайте большие глаза. У Блока».

Визит Дзержинского. Где-то в начале девяностых писатель Виталий Шенталинский прорвался в секретные архивы Лубянки, где ему дали дело убийцы Урицкого. Писатель жадно читал протоколы допросов, черновые записи заключенного,

которые никто никогда не должен был увидеть, последние мысли и стихи смертника, похороненные в архиве. В одиночке Петроградской ЧК он вел диалог с миром и собственной душой, и казалось, что ему неведом страх перед скорой смертью, ужас перед уходом в инобытие. «Человеческому сердцу не нужно счастье, ему нужно сияние, — писал узник. — Если бы знали мои близкие, какое сияние наполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы...»

После допроса, который ему учинил специально приехавший из Москвы Дзержинский, он написал:

Что в вашем голосе суровом?
 Одна пустая болтовня.
 Иль мните вы казенным словом
 И вправду испугать меня?
 Холодный чай, осьмушка хлеба.
 Час одиночества и тьмы.
 Но синее сиянье неба
 Одело свод моей тюрьмы.
 И сладко, сладко в келье тесной
 Узреть в смирении страстей,
 Как ясно блещет свет небесный
 Души воспрянувшей моей.
 Напевы Божьи слух мой ловит,
 Душа спешит покинуть плоть,
 И радость вечную готовит
 Мне на руках своих Господь.

Посетители подвала на Фонтанке жили стихами, дышали стихами, умирали со стихами.

Смерть поэта. Вернусь к Блоку. Всю юность, работая геодезистом и скитаясь по среднерусским селам, по полям которых проходил мой нескончаемый теодолитный ход, я таскал в рюкзаке три тома. Парафразом к двестишести Багрицкого — «А в походной сумке спички да табак. Тихонов, Сельвинский, Пастернак» — у меня звучало: Блок, Багрицкий, Пастернак. Маленький синий томик Блока я открывал редко — почти все стихи знал наизусть и, трясясь на телеге или в короткий отдых где-нибудь на лесной опушке в зарослях ландышей, запах которых словно вливал жизнь в мое усталое тело, я, отходя от весеннего солнца, жары, небесного блеска, полузакрыв глаза, выборматывал из «Соловьинного сада»:

Я ломаю слоистые скалы
 В час отлива на илистом дне.
 И таскает осел мой усталый
 Их куски на мохнатой спине.

Или из «Последнего напутствия»:

Боль проходит понемногу,
 Не навек она дана.
 Есть конец мятежным стонам.
 Злую муку и тревогу
 Побеждает тишина.

Откуда мне, двадцатилетнему, не пережившему ни одной смерти близкого человека, было тогда знать о «муке и тревоге» последнего часа, о всепобедительной тишине, завершающей жизненный путь?

Поэт жил во мне, его строки, его образы и мысли звучали десятилетиями, став частью моего духовного естества. И уже в последующей взрослой жизни, когда я обзавелся и солидной журналистской профессией, и семьей, и квартирой, и обширной библиотекой, над моим письменным столом висел его портрет — не тот расхожий, где он в блузе с длинными кудрями, с головой «флорентинца эпохи Возрождения», а куда менее известный, сделанный незадолго перед смертью: узкое лицо, седые виски, остро блистающие глаза.

Они смотрели на меня на всех этапах моей долгой жизни, пока не произошло следующее. В 1991-м мне случайно попался номер журнала «Наш современник». Вообще-то я не читал это почвенническое издание, хотя и когда-то напечатал там социологический сельский очерк, но потом связи с редакцией оборвались, общественная позиция журнала была мне чужда, и тут вдруг этот восьмой номер... Я лениво листал страницы, пока не дошел в разделе критики до статьи Сергея Небольсина под названием «Искаженный и запрещенный Блок».

Это было время, когда по страницам книг и журналов гуляли всевозможные конспирологические версии смерти Есенина. Оказывается, подумал я, есть еще не только невинно убиенный Есенин, но и «искаженный и запрещенный Блок». Кем искаженный? Да тем же Владимиром Николаевичем Орловым, из предисловия которого к «белому» послевоенному изданию я еще в отрочестве получал первые сведения о поэте. А он и вовсе не Орлов, а в миру Шапиро, и к тому же — монополист отечественного блоковедения, выбрасывавший из дневников и записных книжек все, что его не устраивало и что он, Сергей Небольсин, восстановил во всей первоначальной полноте.

Я читал все это не без некоторой иронии, пока не дошел до восстановленных купюр. И тут меня охватил ужас.

7 марта 1915: «Тоска, хоть вешайся. Опять либеральный сыск. — Жиды, жиды, жиды».

24 июня 1917: «Господи, Господи, когда наконец отпустит меня государство, и я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой, русский язык, язык художника?»

6 июля 1917: «...у Зиновьева жирная, сытая, жидовская морда».

27 июля 1917: «История идет, что-то творится; а жидки — жидками: упористо и умело, неустанно нюхая воздух, они приспособливаются, чтобы НЕ творить (т. е., так как — сами лишены творчества; творчество, вот грех для еврея). И я ХОРОШО ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, по образцу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки (и запах чеснока) — обернуться, размахнуться и дать в зубы, чтобы на минуту отстал со своим полуполезным, полувредным (=губительным) хватанием за фалды»

«Жиды рыщут в штатской и военной форме. Их царство. Они, „униженные и обиженные“ — втайне торжествуют».

11 января 1918: «Жизнь — безграмотна. Жизнь — правда (Правда). Оболганная, ожиговелая, обо«сранная?» — но она — Правда».

— Послушай, может, это фальсификация какая-то, — сказала жена, ощутив охватившее меня отчаяние. — Ну, посмотри на его портрет. Не может же человек с таким лицом нести в себе такое страшное физиологическое отвращение к людям только за то, что они принадлежат к другой расе. Может, это фальшивка.

— Нет, не фальшивка. Он просто восстановил выброшенное Орловым. И самого

этого Небольсина, по-моему, смущает сила блоковской ненависти. Нет, это не фальшивка. Мне говорил один человек много лет назад о его антисемитизме. Я тогда не поверил. А теперь верю, чувствую, что это правда. Такое нельзя выдумать. Но лучше бы мне этого не знать. И зачем только мне попался этот чертов журнал. Эта статья как та капля яда, которую отравитель влил в «Гамлете» в ухо спящему королю. Мне кажется, что умерла часть моей жизни.

Так оно и случилось. Больше никогда блоковские строки не звучали во мне, и я никогда не открывал страниц его сборников. Блок умер во мне.

И тем не менее загадка его личности занимала меня. Проступивший сквозь хрестоматийный облик либерального интеллигента, воспитанного и жившего в элитарной интеллектуальной среде, образ базарного жидоеда с погромным черносотенным мироощущением никак не укладывался в моем сознании. Ни одна из традиционных версий истоков антисемитизма — а их множество: ксенофобическая и расовая, социальная и экономическая, религиозная и психологическая — здесь не подходила. Я, собственно, никогда особенно и не интересовался этой проблемой, отторгая от себя многочисленные общественные дискуссии на эту тему, и в том числе полемику по поводу книги Солженицына «200 лет вместе». Ну, есть себе такое явление, да и Бог с ним, пусть оно заботит тех, кто болен этой нравственной болезнью, мне-то что... Но тут речь шла о человеке, чье творчество составляло часть моего внутреннего естества, чьи строки жили во мне своей музыкой, своим магическим мироощущением, наполняли светом мою душу. Здесь нельзя было отмахнуться — пусть, мол, себе пишет в записных книжках, что хочет, поэзия-то остается... Я обращался в воспоминаниях к рассказам арбатского старика, жившего в молодости в той же среде, что и Блок, наверное, он что-то знал и понимал уж во всяком случае лучше, чем я, живущий почти век спустя.

Рассказ старика. «Я понимаю ваше изумление, тем более что Блок внешне никак не проявлял своих антисемитских чувств. Они были потаенной частью его существа, не выражавшейся ни в общественной позиции — мог подписать письмо в защиту Бейлиса, ни в творчестве — переводил Гейне, хотя, по свидетельству одной мемуаристки, у него было глубоко личное отношение любви-вражды к Гейне, ни в личных контактах — дружил с издателем Самуилом Алянским. А в записных книжках, да и порой в разговорах прорывалось... Зинаида Гиппиус вспоминала, как в период мировой войны Блок говорил ей, что пришла пора перевешать всех евреев. Это привело Гиппиус в ужас, хотя сама она, рекомендуя 19-летнего Мандельштама Брюсову, назвала его в письме неврастеническим жиденком. Такое было возможно в личных контактах, во всяком случае легко проходило. Жиденок, и все тут... Ну, кто сейчас помнит стихи Гиппиус, а Мандельштам живет, и как живет!

В печати, в общественной жизни юдофобские инвективы могли себе позволить представители другого — монархического, черносотенного — лагеря, где были свои писатели и публицисты. В кругу же демократическом, либеральном, к которому принадлежал и Блок, и Гиппиус, выступить с подобных позиций — значит подвергнуть себя остракизму. И не случайно Куприн, будучи автором „Гамбринуса“ и рассказа „Жидовка“, в котором он рассыпается в восторгах по поводу великого и древнего еврейского народа, во время так называемого „чириковского инцидента“ — дискуссии по поводу наплыва евреев в русскую литературу, пишет письмо своему другу Батюшкову, в котором извергает потоки юдофобской ненависти. Пишет о „вонючем запахе души“ еврея, возлагая на него ответственность за все беды цивилизации — опустошение лесов, равнодушие к природе, к судьбам народов и, прежде всего, за искажение, опoшление „великого и могучего“ русского языка. Все

это под стать блоковским записям, то же физиологическое неприятие иной расы, та же клокочущая ненависть.

Но Бог с ним с Куприным, вас, как я понимаю, волнует в основном Блок. Как это могло быть у него? Не знаю. Загадка этой великой души унесена им в могилу. Иногда мне кажется, что там был некий психический сдвиг. Ведь недаром дед по отцу умер в лечебнице для душевнобольных, отец имел странности поведения — вспышки безумной ярости, ревности, из-за чего с ним не могли ужиться обе жены, мать страдала истерической эпилепсией. Так что наследственность здесь была тяжелая. Впрочем, это все к вопросу „гений и безумие“, на эту тему есть целая литература. Вы мне скажите: а Куприн? У него тоже предпосылки безумия? Пьяница, конечно, рано впавший в маразм. Но если считать каждого зоологического антисемита сумасшедшим, то эдак в стране психушек не хватит их содержать. А последние русские цари? Причем если у Александра III антисемитизм был народный, примитивно ксенофобический, то у Николая II это чувство носило мистический характер. Нет-нет, увольте, здесь разгадка в тайне существования самого этого народа, не растворившегося в рассеянии за две тысячи лет и играющего некую неопознанную роль в мировом оркестре народов».

«Сердце царев в руках божьих». Много лет спустя я прочитал в мемуарах Владимира Николаевича Коковцева, за свою государственную карьеру побывавшего и министром финансов, и председателем Совета министров и в силу этих должностей достаточно близко знавшего последнего русского царя, такое воспоминание. Столыпин, в бытность свою российским премьером, вознамерился в законодательном порядке добиться «отмены ограничений в отношении евреев, которые... питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра — в Америке».

Получив поддержку своего кабинета министров, он отправил соответствующие документы на утверждение царю и вот какой ответ после долгой проволочки получил: «Возвращаю Вам журнал Совета Министров по еврейскому вопросу не утвержденным. Несмотря на вполне убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу — внутренний голос все настойчивее твердит Мне, чтобы Я не брал этого решения на Себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, Вы тоже верите, что „сердце Царев в руках Божьих“. Да будет так. Я несу за все власти Мною поставленные великую перед Богом ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ».

Коковцев так комментирует этот эпизод: «Ни в одном из документов, находившихся в моих руках, я не видел такого яркого проявления того мистического настроения в оценке существа своей Царской власти, которое выражается в этом письме Государя своему Председателю Совета Министров».

Не изменило ли это мистическое ощущение, выраженное в словах «сердце Царев в руках Божьих», последнему российскому императору в последние минуты его жизни, когда разноплеменная толпа его убийц входила в подвал ипатьевского дома?

Рассказ старика. «Вообще надо сказать, что в общественном настроении начала века наряду с интересом к марксизму и народничеству сильны были мистические мотивы, причем народнические и мистические устремления как-то причудливо смыкались в кругах интеллигенции. В этом смысле интересна фигура Нико-

лая Минского ныне забытого, а тогда довольно известного поэта, полного мистическо-гностических религиозных исканий, одного из отцов русского символизма и основателей религиозно-философского общества. В то же время в период первой русской революции он был редактором и издателем легальной большевистской газеты „Новая жизнь“, где напечатал знаменитую впоследствии ленинскую статью „Партийная организация и партийная литература“ — этот катехизис нескольких поколений советских журналистов. Как это в нем сочеталось, сказать трудно. Знаю только одно: именно у него на квартире как раз в то время, когда он публиковал эту статью, состоялось хлыстовское радение с кровопусканием, о котором тогда много говорили в Питере.

Представьте себе, ночью на квартире этого большевистского редактора собирается довольно большая компания: Вячеслав Иванов, Бердяев, Ремизов, Венгеров с женами, Розанов с падчерицей, Сологуб — весь цвет Серебряного века. Сидят на полу в темноте, потом, обнявшись, кружатся в хлыстовском верчении, потом, поставив среди комнаты добровольную жертву — некоего молодого музыканта-еврея, изображавшего распятие, режут ему руку, выпускают кровь в чашу с вином и обносят ее по кругу. А в конце этой прелестной процедуры, видимо, символизирующей распятие Христа, — братское целование. Каково? Вы улыбаетесь? Вы представляете себе нынешнего большевистского редактора „Правды“, кто там сейчас — Пospelов, Сатюков? — организатором такого действия? Действительно, смешно.

Но если говорить серьезно, то надобно отметить, что в той идейной каше, которую потом стали называть Серебряным веком русской культуры, мистическая составляющая была очень заметна и появилась она не вдруг, не неожиданно, а с давних пор, со времен мадам Татариновой.

Вам это имя о чем-либо говорит? Нет? Я так и думал. Впрочем, „Войну и мир“ вы ведь, наверное, читали. Может, помните диалог Пьера с Василием Денисовым в Лысых Горах, где под конец романа собралась вся семья? Как это у Толстого все вкусно, рельефно и тонко изображено. Постаревший Денисов с его поседевшими курчавыми волосами в расстегнутом генеральском сюртуке сидит в кресле у чайного стола, старая графиня, живущая „физиологической“ жизнью, которой надо отдельно объяснять, о чем говорят за столом... Толстой есть Толстой. И перечитывать его — отрада моей старости. Так я о чем? Там такой диалог. „Что же все это безумие — и Госнер, и Татаринова — все продолжается?“ — спрашивает Денисов вернувшегося из Петербурга Пьера. „Сильнее чем когда-нибудь, — отвечает Пьер. — Библейское общество — это теперь все правительство“. В разговор вмешивается старая графиня: „Как это правительство; я это не пойму“. И Николай переводит сказанное на язык матери: „Это князь Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят“. И Пьер подтверждает: „Аракчеев и Голицын — это теперь все правительство“. А старая графиня все не понимает: „Евангельское общество — ну что ж дурного?“

Боюсь, что смысл этого разговора не понимает не только старая графиня, но и вы, так как подлинная духовная история русского общества вам, думаю, мне, неизвестна. А в этом толстовском разговоре — следы эпизода весьма примечательного, говорящего о том, что все в истории российской повторяется и ничего нового нет под луной. Что я имею в виду? Сейчас поймете.

Примерно за сто лет перед революцией, перевернувшей все наше отечественное бытие, в царствование монарха, носившего комплиментарное прозвище Благошлюванного, пожалуй, самого загадочного русского монарха, совершившего поворот от либеральных реформ к глубокому разочарованию в земных чаяниях и религиозному мистицизму... Да-да, вы правильно понимаете: отсюда легенда о его добро-

вольном уходе в народ и превращении в старца Федора Кузьмича, настолько пленившая того же Толстого, что он запечатлел в ней свои собственные мечтания об уходе в народ, которые привели его в конце концов на станцию Астапово. Так вот где-то в середине этого царствования некая мадам Татаринова, дама аристократического происхождения, в девичестве баронесса Буксгевден, молодая и красивая вдова гвардейского офицера, собирает у себя в Михайловском замке, где она живет, светский салон, который при ближайшем рассмотрении оказывается настоящим хлыстовским кораблем, где сама мадам играет роль пророчицы и богородицы.

Вы вообще представляете себе, что такое хлыстовский корабль? У Горького в Климе Самгине это замечательно отображено: верчение, коллективные пляски, свальный грех, взрывы религиозного экстаза, самобичевание, обожение лидеров, то есть вера в многократное воплощение Христа в человеке, отсюда и самоназвание — не хлысты, это искажение, а Христы... Горький-то описывает хлыстовское действие начала двадцатого века, но зарождалась эта религиозная практика где-то в веке восемнадцатом, неся в себе черты глубинного народного культа мистического характера. Во дворянстве этим мистическим потребностям удовлетворяло масонство, в народе же — разные виды расколоучений, и в том числе хлыстовство. Так вот эта самая Екатерина Татаринова не в масонские круги входила, что было естественнее по ее рождению и воспитанию, впрочем, я не уверен, что женщина могла быть вхожа в масонскую ложу, кажется, не могла, а пленилась учением и личностью некоего Кондратия Селиванова — основателя русского скопчества — одной из разновидностей хлыстовства.

Этот Кондратий был крестьянин, видимо, обладавший пророческим и магнетическим даром, один из тех юродствующих старцев, вызывающих у их поклонников ощущение святости. Его окружала атмосфера истерического поклонения. Жил он в Питере, в доме богатого купца Ненастьева, куда к нему, по легенде, а может, это и в самом деле так было (есть свидетельства придворных), приезжал царь перед отъездом в действующую при Аустерлице армию. И Селиванов якобы советовал Александру не ввязываться в войну с Наполеоном. Так не так ли это было, но Татаринова тоже бывала в доме Ненастьева, воспринимая селивановское учение разве что за исключением призывов к оскоплению. Оттуда из этого дома, где старец возлежал на пуховиках весь в белом батисте, время от времени вставая для радений — живой бог, ведомый под руки своими апостолами, — из таких-то языческих действий покатила через пылкую душу Екатерины Филипповны эта народная мистика в петербургский салон в Михайловском дворце, где бродила тень убитого Павла, вызывая вечную муку его сына.

Они называли себя „духовным союзом“. И кто только не входил в этот союз, какая невероятная смесь характеров, человеческих типов там была. Откуда я все это знаю? Да ведь история общины Татариновой была сюжетом не одного литературного сочинения, и основывались они на серьезных исторических источниках. Поэтесса и хозяйка питерского литературного салона Анна Радлова даже повесть о Татариновой писала в тридцатые годы, только вот что-то не знаю, издала ли. Да вообще кто только не отдавал дань теме хлыстовства в начале века — и Клюев, и Белый, и Блок, и Розанов, и Бальмонт. Кого только не прельщала эта религиозная экзотика, воспринимаемая как свидетельство национальной подлинности. Там такой крутой замес народных ассоциаций, религиозного философствования, националистических аллюзий и личных отношений, что и сказать невозможно. Вот Михаил Кузмин писал в стихотворении, которое так и называлось „Хлыстовская“:

Струи на струны руки,
Ударь, ударь, ударь!
Вернется из разлуки
Наш Горний Господарь!

И горница готова,
Предубранный Сион,
Незнакомое слово
Вернет на землю Он.

Каково? Наш горний господарь... А вокруг него, этого горнего господаря, две дамы, претендовавшие на роль хлыстовских богородиц, — та же Анна Радлова и другая поэтесса — Черемшанова.

Но это я увлекся, останавливайте меня в потоке моих старческих воспоминаний. О чем это я говорил? Да, Татаринова. Так вот, кто только не входил в ее общину. Вот, скажем, генерал Головин, командовавший гвардейской дивизией, успевший погеройствовать в двенадцатом году не хуже того же толстовского Василия Денисова, а вернее, его прототипа Дениса Давыдова, а потом кого только не усмирявший: и декабристов, и восставших поляков, и Шамиля — эдакий профессиональный усмиритель. Так вот этот краснолицый и свирепый, апоплексического сложения генерал, „хрипун, удушенник, фагот“, был смиреннейшей овцой татаринской паствы, бесконечно преданный ей и купивший ей дом, когда ее выселили из Михайловского замка. Вместе с генералом в радениях участвовал знаменитый светский портретист Василий Боровиковский. Причем нередко вел радения ближайший наперник Татариновой — юродствующий музыкант из простых — Никитушка, пророк, предсказатель, которого Екатерина Филипповна представила царю, и тот два часа смиренно и внимательно говорил с ним, пожаловав неизвестно за чем чин четырнадцатого класса.

А другой активнейший член общества Татариновой — Василий Попов, директор департамента духовных дел и секретарь библейского общества, друг и доверенное лицо председателя этого общества, обер-прокурора Синода и министра просвещения князя Александра Николаевича Голицына. Сам Голицын также нередко посещал общину Татариновой и очень благоволил в ней. Друг детства царя, пользовавшийся его расположением и влиявший на него во многих делах, он, по мнению многих иерархов церкви, превратил библейское общество, созданное для перевода и распространения Библии, в арену мистических лжеучений. Что имелось в виду, какие учения распространял князь, сказать трудно, но то, что он пользовался влиянием на царя, разделявшим его евангельский мистицизм, вполне вероятно. Отсюда и толстовское: „Библейское общество — это теперь все правительство“.

Да и сама Татаринова пользовалась влиянием при дворе, была обласкана императрицей, неоднократно встречалась с императором, защищавшим ее от нападок ненавидевших ее церковников, считавших собрания в Михайловском замке бесовским действием. Жалобы такого рода государь игнорировал и, более того, в письме к другому своему другу, вице-председателю библейского общества, гофмейстеру Кошелеву признавался, что впечатлен проповедями Екатерины Филипповны, что его императорское сердце „пламенеет любовью к Спасителю, когда он читает в письмах Кошелева об обществе госпожи Татариновой в Михайловском замке“.

А теперь скажите мне: вам ничего не напоминает все рассказанное мной уже из российской придворной жизни начала двадцатого века? Никакое имя не приходит

вам на ум при рассказах о старцах, мистических салонах, царских любимцах, с которыми советуются по разным важным делам? Да, конечно, Распутин, распутинщина. Мог ли пользоваться таким влиянием на царскую чету этот мужик-хлыст, воспринимаемый как носитель народного начала, если бы не особый склад характера Николая, во многом унаследовавшего мистическое мироощущение своего предка?

Характерно, что директор департамента полиции Белецкий, человек наблюдательный и умный и по должности своей знавший изнанку придворной жизни и, особенно, все, что связано с Распутиным, говорил после революции в своих показаниях следственной комиссии о наследственном сходстве в мистических увлечениях между Николаем Вторым и Александром Первым. И старец тонко использовал особенности характера государя, так что, перефразируя цитату из Толстого, можно было бы сказать: „Распутин и Вырубова — это теперь все правительство“.

Ну, а императрица? Здесь не только вера в экстрасенсорные магические способности старца, способного остановить кровотечение наследника, локализовать приступ гемофилии... Для иступленно страдающей матери этого одного было бы достаточно для веры в чудодейственную силу человека из народа. Но ведь еще и другое. Обратившаяся в православие лютеранка, она со всей пылкостью неопита, говоря словами Максимилиана Волошина, „поверила и в святых, в мощи, в калек, в юродивых...“ Да и Коковцев, хорошо зная Александру Федоровну, утверждал, что религиозность привлекала императрицу „не столько в людях из интеллигентной среды, сколько в среде простого народа, который она считала ближе к Богу и истинному пониманию его, нежели у людей, затронутых культурой“. Распутин импонировал царской чете как некая черноземная мистическая сила, своего рода представитель народных низов. Даже грязь его жизни: загулы, пьянство, половая распущенность, казалось бы, так несовместимые со святостью, прощались ему, воспринимались как нечто корневое, народное, как грязь, идущая от земли. Объяснение этой греховности старец заимствовал у русских сектантов: впитывая в себя грязь и порок, человек таким путем внедряет в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он борется, и тем самым совершает преобразование своей души, омытой грехами. Но и ненавидели его многие из духовенства, как ненавидели церковные иерархи в свое время Татаринову. Дворянская же элита видела в нем, в его влиянии, во вмешательстве в политику и расстановку сил в правительстве угрозу династии. Отсюда попытки если уж не удалить Распутина от двора, то как-то заместить кем-то, удовлетворяющим этой царской жажде народного, национального, исконно мистического и вместе с тем не претендующим на политическое влияние. И вот тут-то мы подходим к фигуре нашего Поэта».

Записка Распутина. Десятилетия спустя после этого монолога старика я шел по следам рассказанного им, то и дело натываясь на детали выразительнейшие. Вот записка, отысканная в архиве Александровского дворца главным хранителем царскосельских дворцов-музеев Анатолием Михайловичем Кучумовым, человеком двойной жизни, двойного действия. Входя в комиссию по ликвидации Екатерининского собора (партийное дело — куда тут денешься), он выкрадывал предназначенные к сожжению иконы, чтобы сохранить их для будущих поколений. Прятал предназначенные к продаже предметы обстановки царскосельских дворцов, с тем чтобы годы спустя при их восстановлении возвращать припрятанное на место. Вот и записочку эту сохранил. От Распутина начальнику Царскосельского санитарного поезда полковнику Ломану. «Милай, дарагой, присылаю тебе двух парашков. Будь отцом родным обогрей. Ребята славные, особливо этот белобрысый. Ей-богу, он далеко пойдет».

Это «милай, дарагой» — типичное обращение старца к разным властью имущим людям. Воспринималось оно естественно в любых посланиях, даже и в тех, что касались назначений высших чиновников. Просьбы Распутина следовало принимать к исполнению неукоснительно, он не любил слушания, был злопамятлив. Ломан, как один из близких к императрице людей, конечно же, знал это. Здесь речь шла о зачислении двух «парашков» (откуда словцо? от «пареньков», «барашков»? — старец был языкотворец) в штат санитарного поезда, который был надежным укрытием (я уж тоже позволю себе позаимствовать словцо от другого языкотворца — Александра Исаевича) от воинской службы. Там обретался и сынок распутинский в качестве санитара — не вшей же ему в окопах кормить. А парашки меж тем были два поэта — Клюев и Есенин, это он был угаданный прозорливым старцем «белобрысый», который далеко пойдет.

Но откуда мог наш поэт знать Распутина, да еще так подробно, что тот предсказывал ему большое будущее и спасал от окопной жизни. В огромной есениниане о том нет почти ничего. Вообще-то этот «парашек» обладал огромным даром общения. Круг его друзей и знакомых за десять лет литературной активности был неимоверно широк: от Блока, Горького, Андрея Белого, который был крестным отцом его сына Кости, до Мейерхольда, Пастернака, Зощенко и Пильняка. Он мгновенно сходился с людьми: дружил, ссорился, изливал душу, читал стихи... Но Распутин?

Только лишь в воспоминаниях Ветлугина, очень способного эмигрантского журналиста, бывшего секретарем и переводчиком Есенина во время его поездки в Айседорой Дункан в Америку, мелькает описание отношений поэта со старцем, сделанное, видимо, со слов Есенина. «Вот что я тебе, Серега, скажу. Ты из Рязани, я сибирский... Не проведет Рязань Сибирь... Про Ермака слышал? Как он Грозного царя вокруг мизинца обкрутил“. Про Ермака Есенин действительно слышал. Но „где Днепр, где имение“. Сделанные из одной и той же глины Распутин и Есенин отлично знали, „где Днепр и где имение“. И с момента этого сумасшедшего разговора началась дружба».

Может, этот диалог — выдумка опытного журналиста, знавшего, как раскинуть сеть интереса, как намеком, оговоркой застолбить некое психологическое явление. Может, и выдумка, но во всяком случае ловкая. И вообще, где могли происходить такие разговоры? На Гороховой, 64, где находилась охраняемая полицией распутинская квартира и куда он вместе с почитателями возвращался после заутрени пить чай со ржаными сухарями, которые те же почитатели считали оберегом от болезней и несчастий, так что, получив сухарик из рук старца, несли его домой и с бережением хранили рядом с иконой. Вот он, хлебушек аржаной. «Наши деды сеяли только ржицу и из сторублевок сигарки крутили», — говаривал бунинский сельский богатей Лукьян Степанов.

Впрочем, на Есенина вряд ли могли действовать подобные фокусы. Он и сам умел, когда хотел, надевать крестьянскую черноземную личину: «Привычка к Лориган и розам, а этот хлеб, что вы едите, ведь мы его, тово-с, навозом...»

А может, возил старец отрока Сережу, как называли его тогда в петербургских литературных гостиных, в свой любимый кафешантан «Вилла Родэ» в Новой Деревне, где в саду за высокой оградой в длинном, дачного типа здании гуляли скоробогачи, политические деятели новой формации, всякие богемные люди. Здесь для Распутина всегда держали отдельный кабинет, а можно было в разгар пира выйти и в общий зал, где подавалось фирменное блюдо «Венера» — прообраз нынешнего стриптиза. Официанты выносили огромный поднос, а на нем лежала нагая прелестница, которую посетители, приходя в эротический восторг, осыпали ассиг-

нациями. Имелись и другие стриптизные увеселения, обозначенные в меню: «купания русалок в шампанском», «танцы одалисок на столах среди посуды», «живые римские качели» — раскачивание обнаженной девицы на руках. Именно здесь старца тайно сфотографировали в группе голых девок, положив снимок на стол царю, что, впрочем, никакого действия не возымело. И вполне возможно, на «Вилле Родэ» после любимой ухи с мадерой и нескольких литров «Массандры» (водки он не пил, но уже мадеру употреблял литрами) Распутина тянуло на откровения и всякие психологические упражнения. Тот же Ветлугин утверждал, что Есенин и на Гороховой у Распутина бывал, и на «Виллу Родэ» с ним ездил.

Вообще интерес к разным неординарным людям, так же как и неординарным психологическим ситуациям, не умеряемый нравственными ограничениями, у отрока Сережи был немалый. Владислав Ходасевич рассказывает, как где-то весной восемнадцатого года Алексей Толстой решил отметить свой день рождения, собрав толпу знакомых и малознакомых людей. Есенин пришел с другом — бородатым брюнетом, который оказался Яковом Блюмкиным, работавшим в ЧК будущим убийцей Мирбаха. Положив глаз на молодую поэтессу, Есенин начал ее кадрить и сделал ей интересное предложение: «А хотите посмотреть, как расстреливают? Яков это нам легко устроит».

В достоверности этой истории нет оснований сомневаться, так как и из других источников известно, что Яков и других своих друзей из литературной богемы охотно приглашал на это зрелище: выпить, поговорить о литературе, а потом поехать в подвалы ЧК и посмотреть, как люди умирают. Как теперь сказали бы: вот это кайф! Интересно и другое: поэтесса, которой Есенин сделал это предложение, была Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева.

Тут в рассказе Ходасевича небольшая неувязка. Толстой родился в январе, но Кузьмина-Караваева приехала в Москву из Анапы, где она была городской головой, как раз в апреле, так что встретиться с Есениным в толпе гостей Толстого могла, хотя это, возможно, и не был день рождения будущего советского классика. Вообще-то он с Елизаветой Юрьевной был хорошо знаком, она послужила прототипом Елизаветы Киевны — глуповатой девицы, отдающейся в «Хождении по мукам» Блоку–Бессонову. Роман полон действующих лиц, в которых современники узнавали прототипов, изображенных подчас с иронией, и Елизавета Киевна в их числе.

Но дальше жизнь вторгается в литературу, обрекая и автора, и его героев на не предусмотренное сюжетом существование. И автор становится одним из циничнейших, хотя и бесспорно талантливых персонажей советской литературной действительности, а героиня превращается в монахиню мать Марию, спасавшую во время войны евреев в парижской эмиграции и канонизированную Православной церковью после мученической смерти в газовой камере. Вот кому Есенин предлагал посмотреть на чекистские расстрелы. Но все эти сюжетные узлы жизнь будет завязывать позже. А пока идет шестнадцатый год.

Визиты к императрицам. Есенин встречает этот год в Москве, куда они с Клюевым приехали с несколько странной для непосвященных в жизнь царского окружения целью:шить в мастерской русского платья заказанные Ломаном концертные костюмы: длинные бархатные боярские кафтаны, цветные шелковые рубахи, желтые сапоги на высоком каблуке. В таком оперном обличье они читали стихи на эстраде московского Общества свободной эстетики, вызывая недоумение почтеннейшей публики. Но поэты, равно как и их петербургский покровитель, знали, что делали. Вскоре они, видимо, с подачи того же Ломана были приглашены выступить в лазарете для раненых воинов при Марфо-Мариинской общине мило-

сердия, основанной за несколько лет перед тем сестрой императрицы — великой княгиней Елизаветой Федоровной. А на следующий день после поэзоконцерта перед ранеными они оказались уже в доме великой княгини, где все в тех же боярских костюмах выступали перед ее гостями, среди которых был и художник Нестеров, которому эта оперная акция пришлось не по нутру. Но Елизавета Федоровна была довольна, пожаловав Есенину Евангелие с овальной печаткой-благословением и серебряный образок.

Здесь у дирижировавшего этими акциями из Петербурга Ломана был, по-видимому, свой расчет, связанный с активным неприятием великой княгиней Распутина, из-за чего отношения сестер претерпевали охлаждение. Выступление же двух поэтических отроков в стиле ля русс было знаком того, что в русском народе могут быть и такие вот чистые душой и словом «бояшники», как называл себя Есенин, — не чета грязному хлысту, представляющему собой угрозу династии.

Не случайным было и организованное впоследствии Ломаном выступление Есенина в Царском Селе у вдовствующей императрицы Марии Федоровны, также ненавидевшей Распутина. Послушав Есенина и похвалив его стихи, императрица сказала ему, что он настоящий русский поэт, заметив при этом: «Я возлагаю на вас большие надежды. Вы знаете, что делается у нас в стране. Крамольники, внутренние враги подняли голову и сеют смуту в народе. Вот в такое время патриотические верноподданнические стихи были бы очень полезны. Я жду от Вас таких стихов, и мой сын был бы очень рад. И я прошу вас серьезно подумать...»

Но Есенин, уже немало походивший по столичным либеральным салонам, был не так прост, чтобы немедленно реагировать на царский заказ, пришлось сыграть под простодушного деревенского дурачка.

— Матушка, — сказал он, — да я пишу только про коров, еще про овец и лошадей. О людях я не умею писать.

Мария Федоровна недоверчиво покачала головой, подарив поэту, который умеет писать только про зверей, серебряную икону святого Сергия Радонежского.

Про зверей писал он так, что Валентин Катаев, принадлежавший тогда к поэтическому цеху, прочитав есенинское стихотворение по раненую лисицу, завистью обливался. Особенно его поразило последняя строфа.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ошур сочилась тихо кровь.

«Я был поражен достоверностью живописи, — писал Катаев, — удивительными мастерскими инверсиями. Прелая морковь доконала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшебным пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать!»

Это стихотворение было напечатано в рождественском номере весьма престижной тогда газеты «Биржевые ведомости» в подборке стихотворений поэтических звезд Серебряного века: Блока, Брюсова, Бунина, Волошина, Гиппиус...

Ох, не зря ходил Есенин к редактору литературного отдела «Биржевых ведомостей», старому литератору Иерониму Ясинскому, где собирались мастодонты, помнившие Тургенева и Салтыкова-Щедрина, и выслушивал их советы: «Пушкина надо читать, батенька мой. Каждый день по два часа Пушкина». Надо было внимать этой хренотени, не показывая раздражения, терпеть клюевские ласковые поглаживания по спине с бабьими приговорами: «Сокол ты мой ясный, голубень-

голубарь», так что простодушная подруга дочери Ясинского как-то спросила: «Кем вам приходится этот дядя? Он — родственник или земляк?» Пришлось Есенину, видимо не потерявшему в этой ситуации чувства юмора, ответить: «Вроде дядьки... приставлен ко мне...» Зато теперь они вместе с «дядькой» оказались в среде литературной знати и восторженно шелестели свежими газетными листами на Царскосельском вокзале по пути в гости к Гумилеву и Ахматовой.

Эта их поездка — особый сюжет. Гумилев к тому времени отвоевал более года. Он оказался единственным, кроме, пожалуй, Бенедикта Лившица, молодым поэтом, который был на фронте. Блок находился в военно-строительной дружине в пинских болотах, Маяковский работал чертежником на военно-автомобильных курсах. Пастернак после перелома ноги в детстве «выбыл из двух войн». Никто не кормил вшей в окопах. Гумилев же, как только началась война, пошел вольноопределяющимся в действующую армию и весь год провел в боях, кавалерийских рейдах, отступлениях и наступлениях. Проведя морозную ночь в седле, заработал воспаление почек, лечился в Петрограде, его хотели комиссовать, но он настоял на возвращении в действующую армию. Осенью пятнадцатого года он снова в Петрограде, где ждет назначения в гусарский полк, живет вместе с Ахматовой в Царском, в доме матери, занят воссозданием «Цеха поэтов», деятелен, общителен, весь в литературных заботах. Кто только не бывает в их небольшом зеленом особнячке на Малой улице неподалеку от Царскосельской гимназии, где директорствовал умерший несколько лет назад кумир акмеистов Иннокентий Анненский. Северянину этот особнячок почему-то казался барским домом. Он писал впоследствии:

Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовой в Царском,
В большом прохладном тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.
Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.
И долго он, душою конкистадор,
Мне говорил, о чем сказать отрада.
Ахматова стояла у стола,
Томима постоянно печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села.

Для двух визитеров гумилевского дома, шедших 25 декабря 1915 года по заснеженным улицам Царского Села, предстоящая встреча была важна. Есенин волновался в преддверии этого визита, хотя с Гумилевым был знаком, встречая его у Ясинского, но вот Ахматова... Уже вышли «Четки» — сборник, прославивший ее и ежегодно переиздававшийся вплоть до 1923 года. Уже Россия упивалась музыкой ее строф:

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Я пришла тебя сменить, сестра,
 У лесного, у высокого костра.
 Поседели твои волосы. Глаза
 Замутила, затуманила слеза.

И звенела ее молодая слава еще не императрицы, но уже принцессы страны Поэзия. Конечно же, Есенина не могло не волновать соприкосновение с носительницей такой славы, такого органического музыкального дара. И вместе с тем он понимал, что их с Клюевым визит в гумилевский дом означал встречу двух разных поэтических миров. В одном — романтика акмеизма, впитываемая с юных лет европейская культура, изысканное многоязычье, Париж и Рим, имперская традиция, воплощенная в этом городе с его светоносными парками и царскими дворцами, с тенями Карамзина, Пушкина, Анненского, и отсюда чеканность и воздушность формы. В другом — народное, крестьянское начало, оплодотворенное сектантским религиозным поиском, образностью местных речений и надменным сознанием своей корневой правды жизни.

Хозяева были приветливы и любознательны. Гости восторженны и осторожны. Дом завораживал интеллектуальным уютом, разноязыкими книгами, экзотическими раритетами. Хозяин не боялся ни окопной грязи, ни немецких пуль, ни африканской жары. Абиссинские князья дарили его дружбой и кубками из рога носорога. На стенах дома висели охотничьи трофеи — шкуры пантеры и леопарда, пылали красками картины эфиопских художников. Хозяйка была не только поэтической принцессой, но и женой прапорщика, прошедшего по ступеням солдатской карьеры и только что получившего очередного Георгия. «Поэт должен делать свою биографию», — говаривал прапорщик, отправляясь то в африканскую экспедицию, то в парижский университет изучать старофранцузскую поэзию.

Старший из гостей мог в свою очередь рассказать о соловецких монастырях, старообрядческих скитах, «белых голубях». У него был свой миф, привычно творимый в литературных гостиных. Но все это оставалось за кадром. Говорили о другом. Младший гость светился восторгом по поводу свежей стихотворной публикации. Хозяйка не понимала причин этого сияния.

— Как же, высокочтимая Анна Андреевна, — потупив глаза, расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, ворковал Клюев, — мой Сереженька со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Потом Есенин читал стихи, в одной руке держал газету, а другой отбивал такт.

Федоровский городок. Сын полковника Ломана Юрий с остротой памяти десятилетнего ребенка вспоминал уже в конце шестидесятых: «В конце января 1916 года денщик Роман Фролов доложил: „Клюев просит его принять, а с ним еще какой-то молодой“. Клюев был не один. С ним пришел молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубашке и русских цветных сапогах на высоченном каблуке. Я на него глянул, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только сошел с серого волка. Когда гости ушли, я спросил у отца, кто этот молодой парень. „Крестьянский поэт-самородок, рязанец, Сергей Есенин“».

Этот мальчик, положивший столь острый и памятный глаз на Есенина, был крестник императрицы, и вся его жизнь делилась на две части. В первой — счастливое детство в Царском Селе, которое он потом до конца своих дней считал своим истинным отечеством. И во второй — после революции, расстрела отца, распада семьи — обычная советская действительность, в которую он тем не менее

вписался: учился, воевал, вступил в партию и сделал карьеру, став заместителем директора крупного завода. Но все эти долгие годы в нем жило радостное и горькое воспоминание о Царском Селе.

Как вихрилась, растекалась по царскосельскому бытию в тот последний его 1916-й от Рождества Христова год интрига вокруг Распутина с невидимыми и непонятными для постороннего взгляда подробностями, как расплывался этот сюжет, уходящий в извечное для российской истории противостояние славянофилов и западников. Распутин — это был «народ», народушко, как он говаривал, «для народушка надо жить, для народушка». Мистического единения с народом жаждала царская чета в своих поисках опоры в национальном прошлом.

«Осматривал с удовольствием постройку при Феодоровском государевом соборе, — писал в книге посещений собора 12 февраля 1917 года еще ничего не предчувствовавший Николай. — Приветствую добрый почин в деле возрождения художественной красоты русского обихода. Спасибо всем потрудившимся. Бог на помощь вам и всем работникам в русском деле».

Этот собор и окружавшие его дома — иерея, старосты, (которым, кстати, был все тот же Ломан), трапезная, — обнесенные стеной с бойницами, сторожевыми башнями, все в белом камне, словно крепость, вынырнувшая из семнадцатого века, которая должна спасти и охранить династию от тлетворных веяний века двадцатого. Строили городок скорострельно, по эскизам и под влиянием идей Общества возрождения художественной Руси, учрежденном национальной элитой (Васнецов, Нестеров, Рерих...). Начиналось в тринадцатом году, а феврале семнадцатого, за несколько дней до своего отречения от престола, Николай уже осматривал городок и молился в соборе.

Все здесь было во власти национальной романтики — светло, нарядно, костюмно. Все уходило в прошлое — от мурмолки, косоворотки и терлика Константина Аксакова до боярских костюмов Есенина и Клюева. Распутин со своей поддевкой и сапогами стоял в том же ряду.

Сын Ломана вспоминает, как старец приехал к ним на дачу в отсутствие отца, и мальчик предложил ему прогуляться по пляжу. Григорий Ефимович снял сапоги, размотал портянки, повесил их на стул и с видимым удовольствием, шевеля пальцами жилистых ног, прошелся по комнате. Стесняться было некого.

Сохранилась фотография, на которой снялись втроем: Ломан, Распутин и третий персонаж этой интриги — начальник Царскосельского дворцового управления генерал-майор Михаил Сергеевич Путятин. Офицеры стоят, выпятив грудь, в парадной форме при всех орденах, меж ними сидит, сверлит своим знаменитым взором Распутин в черном, монашеского типа одеянии. Тогда было принято единомышленникам, друзьям, собравшись в компанию, фотографироваться. Вот и эти трое снялись, оставив для истории свои лики, знак своей общности.

Конечно, и Ломан, и Путятин как опытные царедворцы, близкие к императорской чете, не могли не быть в сфере распутинского влияния. Но вместе с тем они были фигуры самостоятельные, обладающие монархическим и патриотическим мировидением, что рано или поздно должно было привести к тайному или явному конфликту со старцем, компрометирующим династию своими пьяными выходками и вмешательством в кадровую политику самодержца.

Ломан-сын вспоминает, как летом шестнадцатого года отец говорил матери, что он наконец сказал Распутину все, что он о нем думает. А через несколько дней подрасток услышал и запомнил такое: «Распутин сказал государю, что Ломана горды-

ня обуяла. При жизни его надо в черном теле держать, а после смерти памятник поставить».

Есенин и Клюев начали появляться в царском окружении за полгода перед тем. Концерты, визиты в Марфо-Мариинскую обитель, к вдовствующей императрице уже состоялись. И это уже можно было воспринимать как попытку противопоставить одному народному персонажу другого, также несущего в себе стихийное национальное начало, выраженное в поэзии, но далекого от политических запросов.

И тут опять обратимся к воспоминаниям Ветлугина, по его уверениям, написанных им на основе рассказов самого Есенина в начале двадцатых годов, когда всех участников этих событий, за исключением Путятин, доживавшего свой век в эмиграции, давно уже не было в живых.

Но кто был этот Александр Ветлугин, по родовому своему имени Владимир Рындзюн? Его собственная жизнь могла бы стать сюжетом занимательного авантюрного романа. И в этом романе были бы скитания по фронтам Гражданской войны, сотрудничество в разных газетах Белого движения, а потом вся традиционная эмигрантская география: Константинополь, Париж, Берлин, весьма популярные в эмигрантской среде книги «Авантюристы Гражданской войны» и «Третья Россия» и, наконец, отъезд из Берлина вместе с Айседорой Дункан и Есениным в Штаты, где он стал голливудским сценаристом, продюсером с тем, чтобы в конце концов упокоиться в начале пятидесятых на нью-йоркском кладбище. То была жизнь, наполненная циничным расчетом и игрой воображения, в которой общение с Есениным было лишь мимолетным, но памятным эпизодом.

Так верить ли передаваемым им рассказам поэта о его царскосельском житье-бытье, который, как и положено поэту, также обладал неслабым воображением? Поверим, во всяком случае, возьмем их в наше повествование.

«Выслушав стихи Есенина, — пишет Ветлугин, — старец будто бы сказал:

— У-ух, и хитер же ты, Серега, страсть, как хитер...

Есенин (представляете, как наивно заблестала помутневшая голубизна глаз):

— О чем это ты, Григорий Ефимович, про какую такую хитрость?

— Да уж знаю про какую! Думаешь, коли нараспев вирши свои читаешь, не понимаю я, к чему гнешь... Так и скажи князю — „прост, мол, Григорий, да не родилась еще та мышь, что коту на хвост звонок повесила...“

Есенин опять — весь недоумение...

— Про какого это ты князя, Григорий Ефимович рассказываешь... Я с князьями не знаюсь...»

Каков диалог? Ясно, какой князь. Михаил Сергеевич Путятин, «особа, приближенная к императору», и главный, наряду с Ломаном, автор есенинской интриги, о котором Ветлугин, считавшийся даже его недругами осведомленнейшим журналистом, писал следующее:

«Возвращаясь к князю Путятину: из всех марионеток, плясавших на европейском экране, его беспокоила лишь грузная масса Распутина. Князь понимал, что Распутина можно уничтожить, лишь создав Антираспутина... Лишь выдвинув иную „деревенскую силу“, которая будет „импонировать“ их величествам. И так как самый воздух был пропитан сумасшедшими шпагоглотательными идеями — то такой синтетический „Антираспутин“ был усмотрен в „отроке Сереже“ (как окрестили Есенина Невский и Тверская)».

Служба его началась только в апреле. В феврале шестнадцатого года состоялось высочайшее соизволение на зачисление призывника Есенина в Царскосельский имени ее императорского величества санитарный поезд (вот на каком уровне это

решалось — с высочайшего соизволения, видимо, императрицы), но потом — призывная комиссия, медленное движение документов, так что впервые он поехал с поездом в Крым, куда перевозились раненые, лишь в апреле. Затем поездка по городам Украины, а после возвращения ему дали отпуск для поправки здоровья после операции аппендицита. Здоровье Есенин поправлял у себя в Константинове, а после возвращения в Царское уже был оставлен при госпитале. Тогда-то Ломан начинает готовить своего поэта к выступлению на концерте в честь тезоименитства великой княжны Марии Николаевны. Дело, судя по всему, было важное, тут уж не до поездок с ранеными. Концерт этот состоялся 22 июля, и юный Ломан помнит его во всех подробностях, даром что писались его воспоминания в старости, когда память на далекое прошлое обостряется и видится оно куда острее, чем события недавние.

С какими стереоскопическими подробностями описывает царскосельское житье-бытье этот питерский пенсионер, столько лет варившийся в котлах советской заводской жизни и тайно носивший под рубашкой с галстуком, под униформой советского чиновника золотой крестик, во младенчестве надетый ему императрицей.

Все-то он помнит этот Юрий Дмитриевич Ломан: белоснежную колоннаду Александровского дворца и белых лебедей на пруду, вечнозеленые и серебристые рощи дворцового парка, где весной поет иволга и на лужайках бродят фазаны и дикие козы, а по дороге важно шагает выводимый на прогулку слон, подаренный персидским шахом. Где там война, окопы, смерть?

Конечно же, война ощутима и здесь. С ее началом в Царском Селе организован эвакуационный пункт раненых, созданы лазареты. Переоборудован под лазарет и старейший в стране Дворцовый госпиталь. Здесь ведущим хирургом княжна Вера Игнатьевна Гедройц, первая в России женщина-хирург, выдающийся специалист по военно-полевой хирургии с опытом русско-японской войны и к тому же, что немаловажно, подруга императрицы, которая, пройдя под ее руководством медицинское обучение, работает в госпитале вместе с двумя старшими дочерьми сестрами милосердия. Все трое ухаживают за ранеными, делают перевязки, ассистируют при операциях. Все это, чтобы ни говорили злые языки о царских играх в милосердие, добросовестно, всерьез, с полной отдачей, о чем Вера Игнатьевна, будучи не только профессором хирургии, но и поэтом круга Гумилева, писала десять лет спустя в стихотворении «Госпиталь»:

Квадрат холодный и печальный
Среди раскинутых аллей,
Куда восток и север дальний
Слал с поля битв куски людей,
Где крики, стоны и проклятья
Наркоз спокойный прекращал
И непонятные заклятья
Сестер улыбкой освещал.
Мельканье фонарей неясных,
Борьба любви и духов тьмы,
Где трех сестер, сестер прекрасных
Всегда привыкли видеть мы.
Молчат таинственные своды,
Внутри, как прежде, стон и кровь,
Но выжгли огненные годы —
Любовь.

Пастушок и царевна. Для Юры же Ломана война предстает в виде лазарета в Федоровском городке, которым командует его отец и который носит имена младших царевен — Марии и Анастасии. Хозяйки, как называет их Юра, то и дело прибегают сюда из Александровского дворца, играют с ранеными солдатами в шашки и домино, болтают с сестрами, показывают семейные альбомы с фотографиями и возвращаются во дворец подчас в сопровождении раненых офицеров. Они просты, милы, часто затрапезно одеты: зимой в шерстяных, а летом в длинных, выгоревших на солнце шелковых кофтах, сами ходят за покупками в царскосельский Гостиный двор, словом, ведут себя как обычные пятнадцати-семнадцатилетние девушки.

И в связи с этим вполне правдоподобным представляется рассказ Есенина Надежде Вольпиной, как он на черной лестнице (скорее всего, лазарета) целовался с Настенькой Романовой и читал ей стихи. А потом вспомнили оба, что голодны, и девушка сбегала на кухню, принесла горшочек сметаны, а вторую ложку забыла, ели одной — поочередно. И снова тот же прелестный сюжет: пастушок и царевна.

На концерт мать и все четыре дочери прибыли при параде. Вот как вспоминает об этом Юра. Часов около четырех к лазарету (это было новое, отделанное белым камнем здание, предназначенное для раненых офицеров) подъехал огромный императорский «Делоне Д'Вельвилль» с большими медными фонарями и императорской короной вместо номера. Рядом с шофером сидел выездной лейб-казак в высокой меховой шапке с алой суконой выпушкой. Он открыл дверцу и помог царской семье (сам император был в Ставке в Могилеве) выйти из машины. Императрица не в костюме сестры милосердия, а в платье своего любимого сиреневого цвета. Царевны также в нарядных платьях.

После осмотра лазарета великие княжны остались поболтать с ранеными офицерами, а императрица по приглашению жены Ломана поднялась на маленький балкончик, выходящий на пруд Федоровского собора, где был сервирован чай на две персоны.

На другой день Ольга Васильевна Ломан подробно рассказывала о своем разговоре с Александрой Федоровной, но Юра запомнил в передаче матери только следующие слова императрицы: «Я родилась в день святого Иова многострадального и не только сама обречена на мучения, но я приношу несчастья людям. Чем больше я люблю человека, тем больше приношу ему несчастья».

Здесь наш мемуарист немного ошибся: в день Иова многострадального — 18 мая — родился Николай, а Александра — 7 июня. Эта дата обозначена в православном календаре как день «третьего обретения главы честного и славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна». Конечно, мог Юрий Дмитриевич за долгие годы жизни при советской власти с необходимой в этой жизни атеистической мимикрией забыть православный календарь. Как тут не забыть, когда управляешь заводом, выступаешь на партсобраниях и хранишь в глубокой тайне свою детскую связь с царской четой. Ну, да Бог с ним, с Юрием Дмитриевичем. Его пересказ признания Александры Федоровны тем не менее достаточно точно определяет трагизм ее мироощущения, нервный надлом и предчувствие беды, висящей над ней и ее семьей.

Воспитанная в пуританских традициях английского королевского двора, эта любимая внучка королевы Виктории глубоко прониклась религиозным мистицизмом православия, воспринятого ею при вступлении в брак не формально, а страстно и искренне. Знала ли она историю династии, частью которой стала, знала ли всю омытую кровью череду преступлений и проклятий, висевших над родом со времен первой русской коронованной царицы Марины Мнишек? Это она прокляла род, узнав о том, что ее трехлетнего сына Ивана, которого называли воренком, так как он происходил от Тушинского вора, повесили у Серпуховских ворот в Москве.

Современники утверждали, что петля не затянулась на шее мальчика, и он погиб от холода лишь несколько часов спустя. Считается, что эта казнь была следствием едва ли не первого распоряжения только что избранного Земским собором царя.

Три посла собора — два священника и боярин — прибыли в Ипатьевский монастырь просить этого шестнадцатилетнего отрока на царство, и два посла Государственной думы будут 304 года спустя просить его пятидесятилетнего потомка отречься от этого царства.

Мать Михаила слезно умоляла сына не принимать на себя это тяжелое бремя, но в конце концов согласилась и благословила его иконой Феодоровской Божьей Матери, которая с той поры стала одной из святынь дома Романовых. И тень святого великомученика Феодора Стратилата словно бы висела над домом, отчего и собор, где за несколько дней до отречения молился последний русский царь, был Феодоровским, и отчества почти всех немецких принцесс при принятии ими православия, прежде чем стать русскими императрицами, было Феодоровна. Свекровь гессенской принцессы Аликс звали Мария Федоровна, прабабка ее мужа — жена Николая I, была так же, как и она, Александра Федоровна, да и вюртембергская принцесса, ставшая женой Павла I, именовалась так же — Мария Федоровна.

Но скажите, как мог царственный отрок, благословленный иконой Феодоровской Божьей Матери, отдать приказ о повешении трехлетнего ребенка? Может, и не он это сделал, так как правила государством вместе с ним сначала его мать, а потом вернувшийся из польского плена отец — патриарх Филарет. Инокания Марфа была, судя по всему, дама крутая, властная. И все же — монахиня, молитвенница — и удушение ребенка.

Со стонов замерзавшего в петле у Серпуховских ворот мальчика начиналась династия — криком умиравшего от пули в подвале ипатьевского дома царевича Алексея она кончалась. Ну, а Настеньку Романову, с которой некогда целовался на черной лестнице и ел одной ложкой сметану Есенин, пуля не взяла, отрикошетировав от зашитых в корсете бриллиантов, и ее добивали штыком. А в трехсотлетнем промежутке между двумя этими преступлениями чего только не было: и шарфом душили, и бомбой на куски рвали — и все кровь, кровь, ранняя смерть, словно бы сбывалось проклятие Марины Мнишек, то ли убитой, то ли умершей в заточении в Коломенском кремле, в башне, которую так и зовут — Маринкина.

Концерт. Вернемся, однако, в июльский день шестнадцатого года, когда в Царскосельском лазарете состоялась столь ожидаемая Ломаном и Путятиным встреча поэта с императрицей, не с вдовствующей, не с сестрой — марфо-мариинской затворницей, а с самой Аликс, как называли ее в семье, более двадцати лет делившей с ее возлюбленным Никки все тяготы и ответственность его царского служения и определявшей вместе с ним судьбу монархии.

После чаепития с Ольгой Васильевной Ломан Александра Федоровна вошла в биллиардную залу офицерского лазарета, где перед выздоравливающими офицерами и высокородной публикой разворачивалось концертное действо. Играл знаменитый оркестр балалаечников Андреева, читал свои народные юмористические рассказы известный тогда актер Сладкопевцев. Есенин вышел на сцену, подобно былинному отроку, в голубой рубахе, плисовых шароварах и желтых сапогах. Его стихотворное приветствие имениннице было написано славянской вязью в старинном орнаменте и вставлено в парчовую с золотом роскошную папку. Он читал:

В багровом золоте закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах,

Приветствует мой стих молодых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.

Вот ведь какая тема для историка литературы — поэты о царях. От Державина с его «богоподобная царевна киргиз-кайсацкие орды» до Мандельштама с его сначала «мы живем, под собою не чуя страны», а потом, в 1937-м, когда дуло пистолета холодило висок, — другое, где заданная хвалебность лишала поэтического мастерства:

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери...
.....
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

Нашего отрока в плисовых шароварах вроде бы ничто не вынуждало участвовать в этом костюмированном концертном действе, хотя страх попасть в окопы мог играть определенную роль.

Он преподнес Марии парчовую папку со стихотворением, получив в благодарность золотой перстень с изумрудом, который великая княжна сняла с пальца. И снова историческая ассоциация. За полтора века перед тем молодой Державин, прочитав перед императрицей свою «Фелицу», получил богатый подарок. Какой — неизвестно.

Читал Есенин на том концерте и небольшую поэму «Русь», написанную за два года перед тем и проникнутую классической печалью крестьянских поэтов:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

В 1923 году он писал в своей автобиографии: «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.».

О том, что преподнес Александре Федоровне первый сборник своих стихов «Радуница» с дарственной надписью, Есенин, естественно, не писал. А надпись была такая: «Ея Императорскому Величеству Богохранимой царице-матушке Александре Федоровне от бояшника соломенных суемов славомолитвенного раба, рязанца Сергея Есенина».

Тем не менее из замысла Ломана и Путятиня ничего не получилось. Никакого сближения с царицей, никакого особого покровительства поэта, замещающего образ Распутина — «друга», старца, целителя, советчика, — ничего этого не произошло. В своей ежедневной переписке с находящимся в могилевской Ставке Николаем, наполненной подробными отчетами о времяпрепровождении, встречах, быто-

выми мелочами, настроениями, ни слова о концерте, о Есенине. Как будто бы это скользнуло мимо ее сознания, наполненного предчувствиями предстоящей трагедии.

Были еще придворные концерты все с тем же Сладкопевцевым и Есениным, было присутствие на царских молебнах в Федоровском соборе, куда нижних чинов пускали по особому списку, был второй сборник стихов «Голубень» с посвящением императрице, правда, вовремя снятым после февраля. И все мимо, мимо... Уж и Распутин убит, извлечен из-под неевского льда и похоронен келейно, в присутствии самых близких в Царском Селе — не вспоминает императрица до самых последних своих дней о «бояшнике соломенных суемов».

А по петербургским литературным гостиним катилось: «наш» Есенин, «душка Есенин», «прелестный мальчик» Есенин представлен императрице, читал ей стихи, получил разрешение посвятить ей цикл в своей книге. И уже любители раритетов — букинисты разыскивают корректурные оттиски «Голубени» с роковым «Благоговейно посвящаю...». И издатель журнала «Северные записки» Софья Исаковна Чацкина, куда Есенина ввел ее племянник Леня Канегиссер, та самая Чацкина, которая так гордилась открытым ею народным поэтом, рвет его рукописи и письма, крича: «Новый Распутин! Новый Протопопов!»

Все это не могло не доходить до Есенина и Клюева, ставя их перед выбором — Федоровский городок или питерская литературная среда. Они не могли не понимать, что из проекта Ломана ничего не выходит, и получается, что и при дворе они ничего не приобретут, и в мире «литературной знати» все потеряют. Пора было давать задний ход. И вот уже Клюев в ответ на предложение неугомонного Ломана написать вместе с Есениным сборник стихов, прославляющих монархию, от своего и есенинского имени отвечает отказом. «На желание Ваше издать книгу наших стихов, в которой были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Федоровский собор, лик царя и аромат Храмины государевой, я отвечу... нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления».

Затем следует заключительный эпизод этой придворной интриги. Князь Путятин предлагает Есенину написать оду на именины царя. Тут не совсем понятно: царь родился 18 мая, а речь идет о 6 декабря. Возможно, что Есенин, который рассказывал эту историю Ветлугину, что-то напутал, но в интерпретации Ветлугина рассказ звучал так: «Пришел князь Путятин и говорит: „Сережа... шестое не за горами“. — „Шестое? Это про что?“ — „Шестое — это именины царя“. — „Ну?“ — „Оду надо писать. Ждут во дворце“. — „Оду? Найдите кого-нибудь другого“. Князь так и присел. „Да пойми ты, Сережа, необходимо... Во что бы то ни стало... Во дворце...“ — „Во дворце вашем трупом пахнет. Не стану я од писать...“ Через неделю Есенин был отослан на фронт, в дисциплинарный батальон».

Это, конечно, байка. Не мог Есенин так разговаривать с генерал-майором и дворцовым комендантом даже и за три месяца до падения режима. И в дисциплинарный батальон его никто не отправлял. Видимо, облаченный в какую-то приемлемую форму отказ сочинить очередное апологетическое стихотворение был, ибо 22 февраля 1917 года поэт получил направление в Могилев в распоряжение командира второго батальона собственного его императорского величества сводного пехотного полка, куда он не поехал в связи с начавшимися революционными событиями. Так вот и кончилась его дворцовая служба.

Рассказ старика. «Я встретил его в на Невском в начале марта в компании двух крестьянских поэтов. Шли в расстегнутых пальто, подставив грудь весеннему ветру, веселые, раскованные, вполпьяна и даже, как мне показалось, чуть высоко-

мерные — вот, мол, наше время пришло. И в самом деле, настоящая жизнь его только начиналась, все предшествовавшее было лишь увертюрой, предисловием к действию, которое продолжалось восемь лет и вознесло его на вершину такой славы, которая не могла присниться ни одному поэту.

Мне почему-то вспоминается, как в послевоенные годы меня занесло в районный городок на Ярославщине. Я выступал в местном Доме культуры, а потом и в литературном объединении при этом ДК, где познакомился с двумя молодыми местными поэтами — сельским учителем и сотрудником районной газеты. Они читали мне свои стихи, расспрашивали о столичной литературной жизни, к которой считали меня причастным. Но запомнилось мне другое: в воскресный весенний день я увидел их в березовой роще. Они пили из горла „сучок“, закусывали березовыми почками — нестерпимо горькими, но, видно, отбивающими вкус сивухи, да и другой закуски, судя по всему, не было, — и читали, читали друг другу Есенина, который пьянил их больше, чем водка, весна, солнце, запах распускающейся листвы. Вся страна читала и пела Есенина.

Обстоятельства его смерти? Много слухов ходило и ходит по нынешнюю пору. Говорят, что убили, забили гэпэушники, а потом подвесили. Зачем? Якобы искали поздравительную телеграмму Каменева Михаилу Романову по поводу его однодневного воцарения. И телеграмма эта должна была компрометировать Каменева в тогдашней борьбе за власть во время съезда партии. А оказалась она у Есенина во время его кратковременной работы на узле связи в царской Ставке в Могилеве. Но он и не доехал до Могилева, куда его действительно направили из Царского Села в конце февраля, что давало ему право впоследствии называть себя дезертиром из царской армии, да и какой из него телеграфист в царской Ставке, был санитаром, выступал на концертах как народной поэт... Это да. А тут какой-то авантюрный роман...

Но вообще-то русским поэтам, как и русским царям, не суждены были долгая жизнь и смерть в своей постели. Кого ни возьми — все петля да пуля, бомба да яд. Не говоря о родоначальниках — Пушкине и Лермонтове, уже в послереволюционное время — Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева... Из особ королевской поэтической крови разве что Анна Андреевна и Борис Леонидович доживают свой долгий век».

Вот и я доживаю свой долгий век, вспоминая, как плыл из столетия в столетие корабль русской поэзии, вбирая в себя судьбы и трагедии его обитателей: воинов и террористов, зэков и конформистов, любимцев народа и безвестных страдальцев. И мне, смиренному старику, воспитанному в лоне русской литературы, дано обозревать это плавание, перебирать в слабеющей памяти стихотворные строки, знакомые и любимые с юных лет, и вехи жизни тех, кто написал их, оставив свой след на палубе этого корабля.



Год культуры

Марк АМУСИН

НАБОКОВ и ЛБИ

О Набокове? Сегодня? Почему? Поводов как будто никаких. Репутация писателя незыблема, признание — широкое, читают его так же мало, как и других классиков прошлого века, снискавших когда-то славу бунтарством или консерватизмом, заигрыванием с публикой или эпатажем.

Нельзя сказать, что взгляды и художественная практика Набокова сейчас особенно актуальны, влиятельны. Или наоборот — что принципиальные его оппоненты своими достижениями опровергли Набокова, оставили его в арьергарде. Писать о Набокове интересно потому, что его творчество превратилось в один из самых устойчивых мифов новейшей литературы. А миф в наше время всегда порождает проблемы и ереси, стимулирует мифоборчество.

Признаться, я не отношусь к самым горячим поклонникам прозы Набокова, что станет вполне ясно при чтении этой статьи. Спору нет, он — писатель огромного и яркого таланта. Он истинный повелитель слов, заставляющий их, как целую стаю золотых рыбок, служить и быть у него на посылках. Он — бык на арене литературной корриды, в блистающей стилевой броне, приводящий своей грацией и неуязвимостью в отчаяние трудяг матадоров. Смешно было бы уличать Набокова в тех или иных грехах, пенять ему за то, что он писал по-своему, а не как другие. Хочется, однако, стряхнуть с кумира золотую пыль, которой он сам себя так густо осыпал (а за ним уже попевали верные адепты). А заодно оспорить его эстетическую догматику (да, догматику, пусть и высказанную слогом усмешливым, необязывающим).

Взять, скажем, его знаменитые *Strong Opinions* — задиристые, по внешности спонтанные, а на деле тщательно продуманные выпады по адресу литературных современников и предшественников. Эти поношения, кстати, добавили немало к его славе и репутации капризного, рыкающего гения. Разумеется, рассыпание колких намеков и звонких оплеух, высокомерное третирование соперников — часть стратегии самоутверждения, без которой художнику в нашей рыночной цивилизации

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010). Статьи публиковались в журналах «Время искать», «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

не выжить. И Набоков владел этой техникой в совершенстве. Но присутствовало здесь и нечто от глубокого убеждения, от *credo*.

Один из главных пунктов этого убеждения: художественная литература должна быть абсолютно независимой от реальной, профанной жизни. Она, конечно, использует жизненные факты и обстоятельства как сырье, но является при этом полем вольной игры творческого воображения, пространством, где волшебная палочка автора превращает обыденные предметы, лица и положения в красоту, в произведения искусства — блистательные и самоценные.

Конечно, после парнасцев и Уайльда это не ново, но в культурном контексте ХХ вучало вызывающе, до эпатажа анахронично. В эпоху походов и войн, революций и мобилизаций, воинствующих диктатур и демократий Набоков поднял бунт не только против идеологии и ангажированности — против всяких попыток литературного осмысления реальности.

Естественным следствием такого подхода был принцип отрицания Литературы Больших Идей (ЛБИ), то есть, в понимании Набокова, литературы, склонной рассказывать читателю о сути окружающего его мира, что-то в этом мире объяснять и критиковать, отстаивать некие позиции, ценности. Такая склонность вызывала у писателя отвращение и насмешку. Главное в литературном произведении — структура и стиль, а вовсе не мировоззрение или идеи. Твердо следуя этому принципу и в литературных оценках, и в творческой практике, Набоков не боялся доходить до крайностей.

Начнем с личных симпатий и антипатий. К русской классической традиции он относился с весьма выборочным пиететом: считал Пушкина гением, высоко ценил Гоголя-художника, третировал Достоевского. Стиль Лермонтова Набоков называл «неуклюжим, а местами просто заурядным», противопоставляя ему «роскошный, изысканный слог», очевидно, свой собственный.

Понятно, почему он презрительно зачеркивал всю литературу советского периода, включая опального пастернаковского «Доктора Живаго», — ее совсем нетрудно было чохом обвинить в сервиллизме, не тратя время на выяснение нюансов и оттенков. Правда, Набоков, уже в поздние свои годы, одобрительно отзывался о романах Ильфа и Петрова. А что он думал о сочинениях Тынянова или Булгакова и Платонова, с которыми мог познакомиться в 60-е годы? Думаю, если бы он и дал себе труд их прочесть, то не захотел бы менять ясную, законченную схему, сложившуюся в его сознании.

Понятно, что он терпеть не мог левого экзистенциалиста Сартра и матерого психологического реалиста Фолкнера (называя обоих ничтожными), тем более что те, в отличие от него, стали лауреатами Нобелевской, тогда еще не столь девальвированной, премии. С таким автором, как Брехт, он обитал в непересекающихся пространствах. Хотя... В романе «Камера обскура», о котором речь пойдет дальше, есть эпизодический персонаж-немец, который итожит свой протест против лицемерия и несправедливости буржуазного устройства фразой: «Человек первым делом должен жрать, да!» Нет ли здесь пародийной переключки со строками брехтовского «Марша левого фронта», написанного в том же, 1932 году: «Und weil der Mensch ein Mensch ist // Drum braucht er was zum Essen bitte sehr»?

Стоит, однако, внимательнее прислушаться к инвективам Набокова против Томаса Манна — по нему, как и по Бальзаку с Горьким, он призывал стукнуть молотком (фигурально, разумеется), дабы наглядно продемонстрировать гипсовую фактуру этих идолов. Тут, конечно, можно выделить мотивы личные и сверхличные. Ясно, что в 20-е годы, голодные и прекрасные, когда счастье в лице Веры Евсеевны широко улыбнулось ему, а талант, как юный жеребец, еще взбрыкивал, но мог

уже нестись ровным мощным аллюром — так вот, единственное, чего в ту пору Набокову не хватало, это широкого признания (о вожделии славы так искренне написано в «Даре!»). А Томас Манн именно в то время, в том же Берлине, пребывал на вершине успеха и славы и был увенчан Нобелевской премией за 1929 год. Чем не мотив для ревности и даже ненависти?

К тому же в «Смерти в Венеции» Набоков мог видеть случай опережающего воровства, плагиата: здесь разворачивается тема запретной страсти, мучительной и блаженной. И то, что тему эту Манн решал совсем в иной тональности, чем автор грядущей «Лолиты» — с маской стоического страдания на лице героя, с муками преодоления обетов самодисциплины, а не в безудержной, свободно разливающейся эйфории желания и обладания, — ничуть не ослабляло раздражения младшего.

В теоретическом же плане для Набокова важно было не касаться того, что лежит за горизонтом непосредственных данностей, чувственных или психологических. Весь материал для сотворения красоты — здесь, на поверхности жизни. Писатель решительно разрывает связь между единичным, конкретным — и сущностью, явленной в единичном лишь умозрительно или символически. Для него только первое несомненно и может служить предметом изображения/преображения. Он не терпел многозначности и многозначительных отсылок к «архетипам» и «вечным темам», к общечеловеческому культурному запасу и достоянию.

А Томас Манн приобрел свою славу благодаря искусному сочленению единично-уникального с общезначимым, так, что сквозь сеть реальных образов, ситуаций, отношений у него проступают бестелесные сгустки сверхличного интеллектуального опыта — *Zeitgeist*, культурные формы жизни, социально-психологические поветрия. Именно это происходит в «Будденброках», «Волшебной горе», «Иосифе», «Докторе Фаустусе».

Немецкий писатель представлял себе бытие, и человеческое в частности, как многоуровневую систему, «слои» которой сложно и неявно связаны, соотносятся между собой. Постижение этих связей, рефлексия о них, приращения жизненных смыслов были для него главной целью искусства. Набокову идеалом служила «прекрасная ясность», четкость и изящество шахматно-литературной композиции, осложненной заданным набором правил и ограничений. Ясно, что именно здесь был корень антагонизма.

Взглянем и на тех авторов, которых можно записать в соратники русско-американского писателя — например, на Кафку, Борхеса. Они действительно соратники и союзники Набокова, ибо и для них жизненное правдоподобие, мимезис, как и всякая идеологическая ангажированность, литературное учительство — подозрительны, чужды. В прозе Набокова найдется немало параллелей и перекличек с их творчеством.

«Приглашение на казнь» приглашает к сопоставлениям с «Процессом», с гротескно-кошмарными новеллами Кафки. В фантазмагии Набокова, как и у пражского визионера, реальность плавится и плывет, лопнули ее логические и онтологические скрепы. Все привычные ориентиры, конвенции, установления оборачиваются бредом и пародией.

Но разница при этом существенна. Кафка в своих романах горестно медитирует об Уделе и Законе, о вселенском абсурде, о метафизических потемках и лабиринтах, в которых блуждает, то покорно, то бунтуя или стеноя, душа человеческая. Набоков в «Приглашении на казнь» удручен прежде всего эстетически. Своего героя Цинцинната он делает заложником и жертвой житейской пошлости (о месте «пошлости» в мировидении Набокова мы еще поговорим), грубости и приземленнос-

ти всего строя человеческого существования. Он (Набоков/Цинциннат) несчастен из-за необходимости подчиняться единым для всех законам, жить в одном пространстве с другими, его оскорбляют духовные и физические испарения толпы. Цинцинната убивает не общество, не государство, не палач — а атмосферное давление и гравитация, невозможность отрешиться от назойливо-серого хлама повседневности. Разве что — в другом измерении?

Цинциннат по природе своей — художник, а значит — отчасти волшебник, отчасти ангел, существо, принадлежащее иному жизненному порядку, способное летать, мечтать и видеть убогую действительность со стороны и с высоты. Поэтому его злоключения в тюрьме, его стенания, жалобы, страхи и прорывы к своей подлинной природе — недраматичны, в них сильно ощущаются игра, условность. И это не только в свете все переворачивающего финала, в котором «действительность», угнетавшая и преследовавшая героя, рушится, как халтурная бутафория скверного спектакля. Вся текстовая реальность здесь — призрачная, выморочная, вопиющая о своей пародийной и «балаганной» природе.

Не то с героями Кафки: они обречены или на «полную гибель всерьез» (господин К.), или на бесконечную муку абсурда, преследования недостижимой цели (землемер в «Замке»). Эстетика обоих романов — сновидческая, равно как и среда, в которой существуют и действуют их главные герои. Но это сон, по своей фактуре неотличимый от жизни, неотличимый от смерти. Поэтому угрюмые фантазмагии Кафки мощнее воздействуют на читательское сознание, чем эльфические метаморфозы в «Приглашении на казнь».

Борхес — еще один автор, ценимый Набоковым и побуждающий к сравнению. Их часто привлекали одни и те же темы и тайны: природа гениальности... взаимообратимость сна и яви... интерференция случайности и причинности... Кстати, многие тексты аргентинца похожи на конспекты или комментарии к романам Набокова.

Самое глубинное сходство в том, что и Борхес, и Набоков опровергают непреложность и единственность действительности, данной нам в ощущениях. У обоих часто возникают проколы во времени, эпохи сдвигаются и накладываются одна на другую, иногда причудливо перемешиваясь. Стираются четкие границы между «я», «ты» и «он».

В рассказе Борхеса «Форма сабли» история трусости и низости, излагаемая рассказчиком, как будто относится к некоему Винсенту Муну, но в финале ситуация выворачивается наизнанку, и выясняется, что предатель Мун и есть рассказчик. Автор обосновывает этот скачок универсальными философскими принципами: «К тому, что делает один человек, словно бы причастны все люди... Может быть, и прав Шопенгауэр: я — это другие, любой человек — это все люди».

А в финале романа Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» повествователь, работающий над жизнеописанием своего сводного брата, писателя, заявляет: «Маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть кто-то, не известный ни ему, ни мне».

Сходство действительно несмываемо, но и различия заметны. Борхес — своими парадоксальными гипотезами, сменами перспективы, экстраполяциями — упражняется в интеллектуальной атлетике. Он пишет о времени и вечности, о тождестве и множественности, о цикличности и умопостигаемых мирах. Он актуализирует универсалии: мифы, физические и логические законы, метафизические категории. Он стремится вернуть абстрактным понятиям, затертым от схоластического употребления, их изначальный грандиозный (или просто грозный) смысл.

Набоков по сравнению с ним пуантилист. Образ мира, который он являет читателям в своих книгах, конечно, сильно отличается от повседневного, рутинного. Но взрывов, шокирующих поворотов тут нет: эффекты заключаются в микродвигах реальности, в размытости, подвижности привычных и жестких контуров действительности. Метаморфозы в мире Набокова происходят без ощущения «сопротивления материала». Это не события, не катаклизмы, пусть даже в умопостигаемой реальности (как в «Бессмертном», «Глен, Укбар, Орбис Терциус» Борхеса), а превращения реквизита в руках иллюзиониста-виртуоза.

Пора, однако, от сравнений и перекличек перейти к собственно набоковскому творчеству. Оно, на мой взгляд, очень резко делится на «русский» (другими словами — «берлинский») и «американский» периоды. В этой статье речь пойдет в основном о прозе Набокова 20–30-х годов, написанной по-русски. Она являет, на мой взгляд, более аутентичное лицо писателя. Англоязычные произведения, созданные в 40-е — 60-е годы и составившие его американскую и всемирную славу, конечно, очень оригинальны. Речь даже не о том, что они продемонстрировали уникальную способность автора перейти посреди судьбы на неродной язык и овладеть на нем всеми ресурсами словесной выразительности. Важнее то, что именно в произведениях, написанных по-английски, писатель достиг совершенства в возведении причудливых до миражности литературных построек.

Но в романах этого периода Набоков уже скован своим канонем, сформулированным в курсах лекций перед американскими студентами и взятым на вооружение в качестве беспроектного метода творческого самоутверждения: «Литература — это выдумка. Назвать рассказ правдивым — значит оскорбить и искусство, и правду. Всякий большой писатель — большой обманщик... Мир для писателя — кладовая вымысла...» Очень проникновенно он говорит здесь о том, что качество литературного произведения можно определить по дрожи наслаждения в спинном мозге читателя по ходу чтения.

Набокову оставалось лишь настаивать на своей правоте и подтверждать ее все более экстравагантными опытами и эскападами, все более радикальными «улетами» из пространства конвенциональной литературы. В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» он создает магический, он же порочный, круг нераздельности биографии заглавного героя и сюжетов его произведений, тождества/различия его личности и личности его биографа и сводного брата, повествователя в набоковском романе. Тексты Найта закольцовываются текстом о Найте, вся эта виртуальная конфигурация, парящая в пространстве воображения, искрит совпадениями, пересечениями, намеками и проговорками, создавая впечатление спирали, свинчивающейся в некую точку пространства с иррациональными координатами.

«Под знаком незаконнорожденных» («Bend Sinister») — кошмарный трагифарс, разыгрывающийся в театре теней, в пространстве гротескного и обобщенного тоталитаризма, с пародийными отсылками к реалиям сталинизма и гитлеризма, с орнаментом, порожденным прихотливым воображением Набокова. Там, как и в «Приглашении на казнь», человек — уже не поэт, а философ — борется и страдает в море/мире мрачных мнимостей, а финальная его фабульная гибель может быть прочитана как знак неподлинности этого мира, как прорыв к более высокому уровню бытия.

«Бледное пламя» являет собой рекорд композиционной виртуозности и искусственности. Многостраничный прозаический текст служит чудовищно разросшимся комментарием героя-литературоведа к короткой поэме героя-стихотворца (не исключено, что каждый из героев является порождением воображения его

alter ego). Гениальность, безумие, смерть, жизнь после смерти, обсессивная поглощенность предметом влечения — призраки этих тем витают над текстом, а явным образом в нем присутствуют изумляющая конструктивная изобретательность, сложнейшая игра интертекстуальной светотени да врезки пародийного шпионского сюжета — о преследовании кагэбэшниками благородного монарха-эмигранта.

И так далее — до блаженного плескания в утробных водах памяти и инцестуальной страсти героев «Ады», с россыпями открытых и скрытых цитат, с головокружительными геохронологическими перестановками и подменами, с объединением России и Америки в некоего курьезного кентавра...

Во всем этом — уйма мастерства и капризного артистизма, уже абсолютно не считающегося с возможностями и ожиданиями читающей публики: на ее долю остается восхищаться причудами признанного гения или, поджав хвост, убраться в свою конуру — кость не по зубам.

Тут, конечно, нельзя не помянуть знаменитую «Лолиту», редкостно мастеровитую, чтобы не сказать — вдохновенную вариацию на пушкинское «Поговорим о странностях любви». В этой книге Набоков представил блистательный спектральный анализ эротического пламени, дал замечательные образцы словаря, грамматики, синтаксиса «отклоняющейся» страсти. Но и здесь приходится говорить о некоторой принудительности этого талантливой дискурса. Клишэ сюжета медленно, с усилием пробивается сквозь густое желе гумбертовских вожделий, сквозь его исповедальные шепоты и крики. Для того чтобы сочувственно следить за извивами судьбы героя, нужно заранее настроиться на его волну, отождествиться с ним.

Ну а что же проза русскоязычного периода? За полтора десятилетия жизни и работы в Берлине Набоков тоже не оставался одним и тем же: он менялся, искал, испытывал разные стилевые ключи и парадигмы. Романы, написанные им в это время, можно разделить на собственно «русские»: «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар» — и «европейские»: «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние». «Приглашение на казнь», действие которого происходит «везде и нигде», стоит здесь особняком.

Разделение это, на первый взгляд формальное, на самом деле существенно. Хотя антураж всех романов — Европа между войнами, одни и те же города и курорты, железнодорожные станции и рестораны, одни и те же «мифологии» (в бартовском смысле слова) буржуазной цивилизации, принципиальное различие — в среде, где разворачивается действие романов. В одном случае это средневропейская человеческая популяция, писателю знакомая хорошо, но со стороны. В другом — круг русской эмиграции, к которому сам Набоков кровно принадлежал, хотя и обладал способностью рассматривать его абсолютно объективно, иронично, даже безжалостно.

Особенность, общая для всех трех «европейских» романов раннего Набокова, — это их подчеркнутая «сложносочиненность». Характерно, что все они, в особенности «Король...» и «Камера обскура», фабульно строятся на очень расхожих романых ситуациях и коллизиях. В основе — внезапное любовное влечение, разрушающее размеренную супружескую жизнь, «треугольники», конфузы, переживания, в конечном итоге — попытка разрешить нетерпимое положение с помощью преступления. Иными словами, абсолютная тривиальность канвы. Ее-то Набоков и украшает затейливыми словесными узорами и сюжетными ходами, словно говоря: посмотрите, какие интересные эффекты я могу извлечь из этих тысячекратно обыгранных исходных обстоятельств.

В «Короле...» рассказана бальзаковская история любви между молодым про-

винциалом Францем, приехавшим в Берлин делать скромную карьеру, и женой его дядюшки и работодателя Мартой, старше его лет на десять. Связь эта быстро разрастается — от «романа со скуки» до всепоглощающей страсти, особенно со стороны Марты. Ее развитие сопровождается уймой осложняющих приключений и приемов, то ускоряющих, то тормозящих действие, призванных повысить сюжетное напряжение.

Со временем любовники решают, что они не могут продолжать свои тайные отношения, и самый лучший выход — убийство мужа. Особенно на этом настаивает Марта, в то время как Франц начинает постепенно тяготиться связью. Когда план преступления уже проработан в деталях, находится в шаге от воплощения, наступает неожиданная развязка; Марта, простудившись, умирает от воспаления легких, к глубокому горю ни о чем не подозревавшего мужа и к облегчению Франца.

«Камера обскура» посвящена, в сущности, той же теме: причудливые шутки эроса, переходящие в зловещий гротеск, а потом и в кошмар. Степенный, порядочный, состоятельный искусствовед Кречмар теряет голову, влюбившись в 16-летнюю Магду, девушку-вамп, обаятельную и вульгарную. Жизненный строй, брак, жизнь дочери — все приносится в жертву злой любви. Кречмар становится игрушкой в руках капризной и коварной Цирцеи. Между тем на их общем пути встречается художник Горн, первый любовник Магды, с легкостью отвоевывающий сердце девушки.

Цепочка событий внутри «треугольника» приводит к тому, что Кречмар теряет зрение. Циник Горн негласно поселяется в их доме, бесстыдно обирает Кречмара и получает особое удовольствие, предаваясь любовным утехам с Магдой на глазах (незрячих) слепца. И этот роман завершается летальным финалом: узнавший обо всем Кречмар пытается застрелить Магду, но сам погибает от ее руки.

Можно ли сказать, что эти романы плохи? Ну, нет. В них молодой Набоков уже предстает мастером уверенным и сильным, прекрасно владеющим методом «преображающей изобразительности». Особенно ярко это проявляется в «Короле...». Текст здесь полнится милыми мелочами-олицетворениями, вроде «неказистый наспуленный ресторанчик», «облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые», «тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль». Есть и более развернутые, размашисто-метафорические визуальные планы: «город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе». Или: «Солнце, прокатившись по мягкому исподу замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось».

Рисунок характеров и отношений героев по определению не слишком оригинален, однако автор находит ракурсы, нарушающие банальную типажность адюльтерной схемы. Обманутый муж, Драйер, оказывается самым живым и непредсказуемым из всех «вершин треугольника», фантазером и чудаком, пусть и лишенным должной пронизательности... А страстные любовники показаны людьми изрядно ограниченными, с мещанскими интересами и кругозором. Кроме того, Набоков вводит в повествование забавно-загадочную фигуру старичка-иллюзиониста, каковая изящно намекает на литературную фикциональность, невсамделишность всего происходящего.

В «Камере обскуре» внешних изобразительных эффектов меньше, зато заостряются, получают больший драматизм центральные сюжетные коллизии, рельефнее обозначены психологические характеристики персонажей. Правда, автор может порой впасть в неожиданную прямолинейность: «...ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый

карикатурист». Это о Горне. Повествование здесь динамичнее, с большей энергией устремлено к трагической, хотя слишком уж приуроченной развязке.

Главное в обоих произведениях, конечно, язык — непринужденный, гибкий, способный и к лаконичной лепке визуальных образов, и к преобразению их в подвижные радужные фантомы.

Так можно ли сказать, что эти романы хороши? Ну, нет. Как уже было сказано, фабулы обоих состоят из блочных конструкций бульварной литературы, эксплуатирующих «вечные и неизменные» схемы страстей и влечений. Творческое отношение к «структуре» проявляется здесь только в изобретательной комбинаторике этих элементов, в хитрой фабульной «машинерии». Повествование изобилует множеством барьеров, ловушек (герои-любовники счастливо их избегают), ответвлений, мини-лабиринтов. Всего этого, однако, недостаточно, чтобы сделать повествование по-настоящему живым и вызвать ту самую дрожь художественного наслаждения между лопатками читателя.

Вдобавок изображение взаимоотношений героев изобилует стандартными красотами и условными знаками интенсивности, накаленности чувств. Вот описание одного из первых свиданий Кречмара и Магды в «Камере обскуре»: «...все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше». Или: «Она... принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоня плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром...»

Любовная сцена в «Короле, даме, валете»: «Постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне. „Ты...“ — сказала Марта, лежа навзничь и глядя, как бежит потолок...

— Франц... — сказала Марта, не открывая глаз. — Франц... ведь это был рай...»

Вряд ли можно списать подобные изыски на счет пародирования стиля бульварных романов. Это сам Набоков демонстрирует свой «роскошный, изысканный слог», на данном этапе владения им.

И тут пора поговорить подробнее о том, как Набоков трактует «пошлость». В его мироощущении это очень важная категория, и писатель несколько раз приступает к ее определению, особенно в текстах на английском. Однако до сколь-нибудь внятных дефиниций он так и не доходит. В одном из интервью Набоков, представляя образцы пошлости, приводит длинный список житейских и культурных клише, а заканчивает перечисление словами: «И, конечно, „Смерть в Венеции“».

Показательны и периоды, посвященные литературной пошлости, в книге «Гоголь»: «Литература — один из лучших питомников пошлости... пошлость особенно сильна и зловредна, когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, которые поддельваются, законно или незаконно относят к высочайшим достижениям искусства... Это те книги, о которых так пошло рассказывают в литературных приложениях к газетам, „волнующие, глубокие и прекрасные романы»; это те „возвышенные и впечатляющие“ книги, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости».

Нетрудно заметить, что авторская красноречивая риторика описывает здесь круг: и так ясно, что пошлые книги — это те, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости. Дальше автор упоминает, не называя по имени, некий роман-фальшивку, единственной содержательной характеристикой которого оказываются «тяжеловесные пируэты вокруг высоких идей».

Иными словами, ни конкретных примеров «мнимозначительной литературы», ни критериев отнесения того или иного произведения к сфере пошлости он не дает.

Теперь встает вопрос: почему «Смерть в Венеции», трактующая тему гомосексуального влечения в изощренно психологическом ключе, принадлежит, по ясно вы-

раженному мнению Набокова, к этой сфере, а вызывающе банальные обстоятельства и положения «Короля...» и «Камеры обскуры» не превращают эти романы в пошлые? Верно, в них немало сюжетной изобретательности, острающих ходов и эффектов, однако изящные карточные домики этих романов строятся все же из очень захватанных карт.

Но есть у Набокова берлинской поры и совсем другие произведения — «Подвиг», «Дар». Бросающаяся в глаза особенность этих романов — их прочная автобиографическая основа, пусть и просвеченная творческим вымыслом. Тема и сюжет в обоих случаях — становление личности, очень напоминающей личность автора. И здесь сразу возникает иной уровень подлинности и внутреннего драматизма, иное качество текста.

«Подвиг» по жанру — роман воспитания, не классический, не продолжающий «Исповедь» Руссо или «Детства» — будь то Аксакова, Толстого или Горького. Здесь играет всеми гранями точный, нюансированный психологизм XX века, здесь повествовательная перспектива и хронологическая последовательность не закреплены жестко — они колеблются, мерцают. Набоков, несомненно, наделяет своего героя, Мартына Эдельвейса, многими ощущениями, переживаниями, мыслями от щедрот своего уникального личностного опыта.

Рассказывая о ранних годах Мартына, автор отраднo погружает читателя в атмосферу счастливого детства: умной и деятельной родительской любви, понимания, достатка и комфорта, благожелательной природы. На двух десятках страниц разворачивается идиллия — не безмятежно-глянцевая, а проникнутая волнениями и приключениями души мальчика, потом подростка, постигающего мир через книги, полеты воображения, нечастые столкновения с реальностью.

Юношеский период жизни героя, пришедшийся на эмиграцию, отмечен той же изобильной интенсивностью чувств и восприятий: первая любовь на корабле, уносящем семью из Крыма в Константинополь, дом дядюшки в Швейцарии с его непривычным европейско-буржуазным уставом, годы учебы в Кембридже с поисками пути и спортивными упражнениями, острые до гротеска портреты профессоров и приятелей-студентов, эскизы эмигрантской жизни. И снова — любовь, книги, радости, разочарования, мечты... Взросление богато одаренной натуры показано здесь как будто под микроскопом — и одновременно сквозь окошко калейдоскопа, в веселой игре разноцветных деталей.

Роман, однако, называется «Подвиг», и его упругая неспешность подводит к некоей финальной кульминации, к исподволь культивируемой неожиданности. Стоит она в том, что, закончив университет, набравшись опыта, испытав неудачу в многолетней любви, Мартын решает отправиться на родину, в Россию, нелегально перейдя границу. Совершив этот акт, герой бесследно растворяется в пространстве чуждой совдепии.

Тут-то и возникает зияние, не случайное, а программное, обусловленное идеологическим пуризмом, самоограничением автора. Решение, постепенно вызревающее в душе Мартына (а то, что это именно процесс, а не мгновенное озарение, в романе подчеркивается), никак не мотивировано. Здесь Набоков изменяет принятому ключу точного, консистентного психологического письма. Он на протяжении всего романа ограждает своего героя от «идей»: от размышлений о закономерности или случайности происшедшего в России, о причинах и следствиях революции, о сущности советского режима.

Поэтому вполне уместно недоумение более конвенционального персонажа романа Зиланова: «Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способ-

ным на... на подвиг, если хотите». Правда, можно предположить, что автор относится к этому недоумению юмористически — но это значит, что и заглавие романа имеет оттенок двусмысленности. Нет, Набоков вовсе не издевается над героизмом и подвижничеством активистов Белого движения. Но причины, толкнувшие Мартына на его безрассудный поступок, с демонстративной небрежностью отдаются читателю на домысливание. Интимные и влекущие впечатления российского детства? Неявленная в словах — из некоего душевного целомудрия — ностальгия? Романтическое, книгами сформированное влечение к благородному авантюризму? Стремление испытать себя опасностью?

Все варианты ответа возможны — и недостаточны. Набоков скорее намекает на особую природу своего героя, помещающую его по ту сторону обычных, рациональных представлений и определений. Но это, опять-таки, противоречит очень ясному, детализированному рисунку образа. Получается, что жесткая установка автора на «идейную невинность» Мартына оборачивается не просто открытостью (размытостью?) финала, но и досадным провисанием — психологическим и смысловым.

«Дар» — своего рода продолжение «Подвига», точнее, экстраполяция центрального образа в творческую сферу. Мартын Эдельвейс не нашел для себя достойного занятия в прозаической эмигрантско-европейской реальности. Годунов-Чердынцев — поэт, и этим его жизнь оправдана, облагорожена, вознесена над бедной действительностью.

Большинство критиков и литературоведов сходится в том, что «Дар» — высшее художественное достижение Набокова, по крайней мере, его «русского» периода. Действительно, этот «портрет художника в юности» счастливо сочетает уверенную зрелость мастерства с прекрасно переданным ощущением таланта растущего, «летающего во сне».

Один из секретов успеха в том, что здесь автор и герой пребывают в плодотворном симбиозе — ведь оба они художники. Поэтому особенную, покоряющую убедительность и прелесть обретают здесь частые у Набокова метаморфозы «здесь и сейчас», когда память и воображение поэта подчиняют и преобразуют данности внешнего мира, когда действительность плавится от жара вдохновения и заново формируется, но уже по новым, эстетическим законам.

Книга переполнена демонстрациями «дара»: в дерзких переносах значений и признаков, в сравнениях и метафорах, оборачивающихся семантическими вспышками, в красочных и парадоксальных оптических эффектах. И здесь, в романе, проникнутом ощущением счастья и сознанием правоты художника, весь этот парад образного изобилия и технической виртуозности совершенно лишен нарочитости и щегольства. Превращения, олицетворения природного и предметного мира, сложные контаминации реального и воображаемого — все эти «малые чудеса» в «Даре» неизменно органичны, они в равной мере раскрывают «метод» автора и мироощущение, состояние души героя: «...прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота... еще какие-то самые последние, самые стойкие мелочи, и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания..., прямо из оранжерейного рая прошлого, он пересел в берлинский трамвай».

Или: «Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, — мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку... Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка, и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана... Во мраке сквера, едва задетого веером улично-

го света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола».

При этом текст романа насыщен точными и емкими деталями берлинской эмигрантской жизни, с заботами и нехватками, с поисками квартиры и работы, с неизменными интеллигентскими посиделками и эфемерной литературной активностью. Здесь мелькают узнаваемые силуэты — под масками и вуалями, иногда шаржированные, здесь задорно передразнивается стиль зубров эмигрантской критики и публицистики. Здесь, страшно молвить, почти ощутимо бьется пульс времени, возникает рисунок определенного общественного уклада.

Можно сказать, что «Дар» — наиболее возможное для Набокова приближение если не к ЛБИ, то к литературе «человеческого существования», взятого в широком социокультурном контексте. И одновременно — это лучший роман автора. Случайно ли, что Набоков именно здесь испытал потребность дополнить архитектуру повествования еще одной несущей колонной? Я говорю, конечно, о «тексте в тексте», о встроенном в роман жизнеописании Чернышевского. Безотносительно к тону и характеру этого жизнеописания — к ерническому тону и полемическому характеру — важно понять, что этот «чужеродный», вставной фрагмент был необходим автору. Почему? Наверное, не только ради возвеличивающего Годунова-Чердынцева контраста.

Набоков, очевидно, почувствовал, что без опоры на историю российской мысли, на сшибку личностей и принципов, пусть и полувековой давности, его артистическая постройка будет проседать, шататься. Жесткая критика шестидесятичной «идейности», дискредитация утилитаризма, политического радикализма, «ангажированности» — все это оказалось необходимой частью психологического портрета героя. У Годунова-Чердынцева есть мировоззрение — и это ставит его в особое положение по отношению к другим персонажам Набокова, центральным и второстепенным. Точнее — обогащает образ, делает его крупнее, определеннее. И это при том, что герой очень живо представлен здесь в других ракурсах и проявлениях: в житейских повадках и привычках, в поэтической лихорадке и привязанности к матери, в памяти об отце и любви к Зине, в благородной ревности к коллеге Кончееву...

Сочинение книги о Чернышевском становится в «Даре» свидетельством человеческого и творческого созревания Годунова-Чердынцева. И в этом — невольное признание Набоковым сферы «общих смыслов», существующих за гранью личностного или сугубо духовного, метафизического опыта. Дальнейшая его литературная карьера сложилась, однако, так, что он лишь удалялся от найденного здесь равновесия...

Почему так получилось? Вероятно, в силу прогрессирующего нарциссизма писателя. Слово произнесено — и это простая констатация, а не приговор или диагноз. Набоков, похоже, был слишком увлечен одинокими путешествиями по тропинкам своего «райского сада». Его внутренний мир был столь богат и подвижен, столь активно впитывал и преображал красоту мира, что не испытывал ни в чем нехватки. Стоило ли размениваться на то, чем обычно была занята ЛБИ, — на постижение внележащей действительности, с ее закономерностями, уродствами и борьбой, с глухой и отдаленной болью других?

Именно поэтому немалая часть его творчества (о, не все, не все!), его прозрачно-герметичных текстов видится в перспективе времени сводом блестящих упражнений в образотворчестве и сюжетосложении, коллекцией драгоценных, но маловостребованных артефактов. Думаю, Набоков не счел бы это слишком высокой ценой за длительное удовольствие быть самим собой, быть наедине с самим собой.

Лев БЕРДНИКОВ

ДВА МИРА в ОДНОМ ШАПИРО

Многим памятна ставшая крылатой фраза «два мира, два Шапиро». И восходит она к реальному эпизоду конца 1940-х годов, когда в Москве в здании ТАСС встретились два корреспондента по фамилии Шапиро, один — американский, другой — советский, причем проявили друг к другу открытую враждебность. Оно и понятно, ведь первый олицетворял собой загнивающий капиталистический Запад, второй — страну, уверенно шагающую в светлое коммунистическое завтра. Эти миры, точнее, антимиры разделял тогда «железный занавес», глухой и непроницаемый.

По историческому совпадению наш герой звался Шапиро. Но ему удалось гармонично соединить два мира, которые современникам тоже казались мирами параллельными, несоединимыми. Судите сами: с одной стороны, его называли лейб-фотографом русской литературы; он титуловался фотографом Академии художеств. Император Александр III наградил его большой серебряной медалью «За полезный труд». И в то же время это был яркий еврейский общественный деятель, ревностный сторонник сионистской идеи, даровитый ивритский поэт. Даже имени у нашего Шапиро (1840–1900) было два: в русском обществе его аттестовали Константином Александровичем, соплеменники же обыкновенно называли его Ошер...

Ошер Шапиро родился в Гродно в 1840 году, а именно 19 августа — ровно в тот самый день, который теперь отмечается как Всемирный день фотографии. В том,

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987–1990 годы возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 г. живет в Лос-Анджелесе. Автор книг: «Счастливые Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII — начала XIX века» (СПб., 1997; 2-е изд. 2013); «Щеголи и вертопрахи. Герои русского Галантного века» (М., 2008); «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (М., 2009); «Шуты и острословы. Герои былых времен» (М., 2009); «Евреи государства Российского XV — начало XX вв.» (М., 2011), «Jews in Service to the Tsar» (Montpelier, 2011); «Русский Галантный век в лицах и сюжетах», Т. 1–2 (Montreal, 2013), и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы.

что так сошлись звезды, можно усмотреть нечто символическое и судьбоносное. Но его родители ведать не ведали об истинном предназначении появившегося на свет малыша и готовили ему совсем иное поприще. Отец, Элиягу Шапиро, из рода гродненских раввинов, пробавлялся торговлей, в погоне за гешефтами исколесил всю Восточную Европу, но вольномыслия не терпел, а был, что называется, самым правоверным иудеем. И сына он вознамерился воспитать и образовать в строго ортодоксальном духе. Благо губернский город Гродно с преимущественно иудейским населением открывал для этого все возможности. То был важный центр духовной жизни еврейства и раввинской культуры; здесь работала еврейская типография, одна из первых в России. Как и любой пятилетний еврейский мальчуган, Ошер был определен в хедер, где шесть дней в неделю спозаранку и дотемна постигал премудрости Торы и Талмуда.

Особенно же он поднатерел в древнееврейском языке, на котором, к удивлению местечкового меламеда, стал сочинять складные, красивые вирши. В его стихах поражали особая изобразительность, пластичность, осязательная точность деталей. Рано, очень рано развил он в себе способность мыслить и творить образами. Следующий шаг — он берется за кисть и переносит на полотно то, о чем поет в стихах. Так художественные фантазии Ошера обретают зримое материальное воплощение. Так уже в детские годы Шапиро нашел ключ к пониманию направления своей жизни и творчества.

Его отличали жажда новых знаний, открытость иным языкам и культурам. Не знаем, кто был тем гродненским ментором, что возбудил в нем острый интерес к идеям Хаскалы (их называли «берлинерами»), но видно, что и в юные лета он ратует за приобщение единоверцев к светским наукам и видит в этом основу их жизненного успеха. Он усиленно штудирует просветительскую литературу, и прежде всего боевитый журнал «Ха-Меассеф», программный для нескольких поколений еврейских ассимиляторов.

Главное же внимание он уделяет совершенствованию своего иврита, который усилиями последователей «еврейского Сократа» Мозеса Мендельсона (1729–1786) превратился в образцовый высокохудожественный литературный язык, приближенный к живому наречию. Вместе с тем он усиленно познает и русский язык, и великую литературу Пушкина и Гоголя. Углубляется он и в изучение немецкого языка, ведь многие просветители писали тогда на языке Гейне и Гёте.

А дальше произошел многократно описанный в литературе конфликт просвещенного еврейского юноши с жестоковыйными единоверцами. Прознав о том, что сын читает светскую литературу и изучает «гойские» языки, Элиягу Шапиро вознамерился «повыбить из него всю эту дурь» и женить его, пятнадцатилетнего отрока (чем раньше остепенится, тем лучше!), на не любимой им, но «правильной» девушке из «хорошей еврейской семьи». В результате Ошер оказался в совершенно чуждом, враждебном ему окружении, где чтение любой, кроме Талмуда, книги воспринималось как ересь и святотатство. Он лишился мало-мальского глотка свободы. Атмосфера взаимной нетерпимости с семьей жены все сгущалась. После очередного скандала он бежит в уездный город Белосток, что в восьмидесяти верстах от Гродно, зарабатывает там на жизнь уроками иврита, но затем по настоянию отца все же возвращается в постылый дом.

Травля «правоверными» родственниками и свойственниками ничуть не ослабевает, но Шапиро, по счастью, находит себе отдушину. Он всецело посвящает себя фотографии и именно в этом новомодном деле видит разрешение своих творческих исканий. Дитя прогресса XIX века, фотография (или светопись) стремительно развивалась в России, и даже в заштатном Гродно имелось несколько фотоателье. Дабы

обучиться сей науке, Ошер стал работать подмастерьем у одного местного умельца, высокопарно называвшего себя «фотохудожником». Можно, конечно, усмотреть в такой аттестации самонадеянность и бахвальство, однако, обратившись к периодике того времени, мы обнаружим здесь отзвук жаркой общественной полемики о природе и выразительных возможностях светописи. Хотя некоторые критики видели в ней примитивный натурализм, не имевший эстетической ценности, большинством она воспринималась как начало нового самостоятельного вида изобразительного искусства. Что до Шапиро, то весьма сомнительно, что он задавался вопросом, ремесло это или искусство. Важно было овладеть профессиональными навыками, а художественный взгляд и инстинкт непременно довершат дело.

Человек увлекающийся и пылкий, он ушел в работу с головой, и это давало ему новые душевные силы. Долгое время он терпеливо сносил обиды и оскорбления домохозяев. Но всему есть предел! И он принимает решение: разорвать сей гордый узел и бежать из Гродно уже навсегда.

Новым прибежищем Шапиро становится столица Австро-Венгрии, ослепительная Вена. Причем первое, что он здесь предпринял, — оформил развод с чуждой ему женой. Примечательна была и его встреча с писателем и публицистом Перцем Смоленскином (1842–1885), которого в еврейской интеллектуальной элите называли «кумиром прозревших маскилим». Помимо страстной преданности ивриту, их объединяла и общность характеров и судеб (Смоленскин также порвал с ортодоксальным окружением и бежал сначала из Шклова, а затем из Витебска и зарабатывал на жизнь уроками иврита). Шапиро принял участие в издаваемом в Вене с 1868 года просветительском журнале Смоленскина «Ха-Шахар». И программный посыл этого издания «...оставим вредные предрассудки... будем дорожить нашим языком и нашим национальным достоинством» — был вполне ему близок.

Но главная притягательность Вены для Ошера была в том, что она была колыбелью всяческих фотографических новшеств. Достаточно сказать, что венцем Йозефом Максом Петсвалем (1807–1891) был изобретен объектив, который оказался в двадцать раз сильнее применявшихся ранее, так что техника портретной фотографии существенно упростилась. Интерес к светописи был здесь необычайный; индустрия развивалась столь интенсивно, что усовершенствованные камеры неуклонно дешевели. Издавалось несколько журналов, посвященных истории, теории и практике фотодела. Не исключено, что Ошер посещал заседания Фотографического общества в Вене, проходившие в стенах Императорской академии наук. Здесь обсуждались достижения и самые последние новинки светописи. Вероятно, и его знакомство с тогдашним президентом этого общества доктором Эмилем Хорнингом (1828–1890), профессором химии, стремившимся поставить фототехнику на научную основу, издателем специализированного профессионального журнала. Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвела на него организованная весной 1868 года ежегодная международная фотовыставка. С удивлением и завистью смотрел Ошер на все эти хитрые камеры, оптические приборы, альбомы, жанровые и видовые снимки, портреты-дагерротипы. И не ведал он, что минет время, и передовая Вена увенчает его почетной медалью за особые достижения в фотоискусстве...

Но достижения были далеко впереди, а в конце 1868 года Шапиро направился в Петербург. Он лелеял мечту открыть здесь собственное фотографическое дело. Но вот незадача: как лицо иудейского вероисповедания он не имел права даже на временное пребывание в российской столице. Он жил на нелегальном положении, бродяжничал, не гнушался самой черной работой: чистил снег, убирал улицы. Надломился, ослабел, заболел тифом и наверняка отправился бы к праотцам, если бы

не она, эта самоотверженная русская женщина-швея, ходившая за ним, как за малым дитем. Незатейливая и простодушная, но такая чуткая и преданная, это она своей любовью сберегла его жизнь и его мечту. Оправившись наконец от тяжелого недуга, он, казалось, почувствовал к ней такую нежную благодарность, каковую не испытывал никогда ни к одной женщине. И Ошер вспоминал свой первый брак, навязанный авторитарным отцом. Тогда он был отчаянно молод, полон надежд и грез, но в глазах жены всегда был скучным чужаком. Та не оценила и не приняла его в силу и бодрости, а эта русская была рядом с ним в неизбывном горе и поверила в его звезду. Нет, теперь он полюбил и женится непременно по велению сердца, и только на ней, своей спасительнице!

Однако по законам Российской империи брак с православной был возможен только в случае крещения иудея. И как ни уговаривал себя Шапиро, что это простая формальность, принесенная в жертву любви, он не мог не понимать, что такой его шаг будет воспринят отцом да и всеми соплеменниками как предательство своего народа, веры и собственной семьи. Того, кто принял крещение, называли «мешумад», то есть «уничтоженный». От такого человека отрекались все; существовал даже специальный обряд, когда ближайшие родственники справляли по нему траур (надрывали края одежды и сидели на полу без обуви). Выкреста предавал проклятию (херему) раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного сына. Но все это как будто осталось там, в прошлой жизни, связь с которой давно оборвалась. А сейчас, после долгих душевных борений, Шапиро все же решился осенить себя крестным знаменем. После церковного обряда он был наречен Константином Александровичем. И получил к тому же право беспрепятственно проживать в Петербурге и — во исполнение заветной мечты! — разрешение открыть здесь фотоателье.

Казалось, все устроилось удивительно счастливо, но наш христианин-неофит глубоко страдал из-за отступничества от веры отцов. Впрочем, ренегатство его было лишь внешним, показным. Люди из ближнего круга Шапиро свидетельствовали: в душе он продолжал оставаться иудеем, вел еврейский образ жизни и строго соблюдал все религиозные обряды. Пройдет время, и на новом витке жизненной спирали он еще вернется в еврейский мир и заявит об этом открыто и громко. А пока жена, хотя и помогала зажигать субботние свечи, стала звать его ласково по-русски Костенькой. Да и для окружающих он стал неизменно Константином Александровичем, и имя это как будто к нему приросло.

Прежде чем завести собственное дело, Шапиро начал работать в содружестве со старейшим фотографом Вильгельмом Шенфельдом (1810–1887). Их фотоателье называлось «Шенфельд и Шапиро». «Дагерротипист из Парижа», как себя называл Шенфельд, обосновался в России еще в 1840-е годы и имел за плечами богатый опыт портретной фотографии. Но и Шапиро к тому времени был уже вполне сложившимся мастером, а потому сомнительно, что он объединился с мэтром в целях профессиональной учебы. Их тандем скоро распался (скорее здесь сыграли роль материальные проблемы). Не прошло и полугода, и 16 ноября 1869 года Константин Александрович дает объявление в газете «Санкт-Петербургские ведомости»: «Фотограф Шапиро, желая расстаться с своим компаньоном, предлагает гг. фотографам свои услуги». И хотя фирма «Шенфельд и Шапиро» еще фигурировала на петербургской Мануфактурной выставке 1870 года, однако ее почетным дипломом Константин Александрович был награжден лично, и это было первое признание его заслуг.

Фотоателье Шапиро открылось в бойком месте Северной столицы — по адресу, как значилось на фирменном бланке, «Невский проспект, № 30, у Казанского мос-

та, где купеческое собрание» — и получило название «Светопись и живопись». От клиентов не было отбоя, но Шапиро пекся не столько о сорящих деньгами нуворисах. Он испытывал огромный пиетет перед деятелями культуры и науки и был горд тем, что в поле его зрения оказались русские писатели, живые классики. Он приглашает в свою студию Ивана Тургенева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Якова Полонского, делает их большие портреты («копии с натуры»), используя при этом самую передовую фотографическую технику. А к Федору Достоевскому приезжает лично, и, по свидетельству вдовы писателя Анны Григорьевны, «портрет его вышел довольно удачно, ... и г. Шапиро счел нужным предложить... мужу, кроме малюющих портретов, две дюжины кабинетных его портретов», на что тот тут же получил согласие. Столь высокая оценка работы Шапиро дорогого стоит, ибо Достоевский говорил (словами своего героя) об обязательных для мастера светописи правилах: прочитать «главную мысль лица», запечатлеть «духовное сходство» с оригиналом, только тогда выйдет «настоящий портрет, а не механический оттиск». Примечательно, что в российском телесериале «Достоевский. Жизнь, полная страстей» (2010) имеется сцена, где писатель охотно позирует перед фотокамерой.

Не знаем, как пришла к Шапиро эта идея, названная современниками «прекрасной», но 22 мая 1879 года в газете «Голос» (№ 81) появляется объявление о его намерении создать «Портретную галерею» выдающихся деятелей современной России. Такой культурно-патриотический проект был, вероятно, подсказан ему петербургским литографом Александром Мюнстером (1824–1908), издавшем в 1860-е годы «Двести превосходных портретов русских деятелей, с биографическими очерками». «Мы русские, — писал тогда немец Мюнстер, — и ни один русский деятель не должен быть нами забыт». Так и издание еврея Шапиро вышло в свет на волне подъема русского национального самосознания и интереса ко всему русскому.

Первый выпуск «Портретной галереи русских литераторов, ученых и артистов, изданных фотографом Шапиро» увидел свет в 1880 году. Каждый портрет был окружен художественно исполненной рамкой в старинном русском стиле. Оригиналом ей послужил орнамент с грамоты времен царя Алексея Михайловича. К портрету был приложен лист с краткой биографией писателя на русском и французском языках и его факсимиле. Сведения носили фактический характер, за одним лишь исключением: в биографию высоко почитаемого им Достоевского издатель, не в пример прочим, вставил восторженный отзыв о писателе Виссариона Белинского. Журнал «Российская библиография» (1880. № 53 (1)) отмечал: «Это во всех отношениях превосходное издание..., бесспорно одно из лучших изданий последнего времени, и надо только желать, чтобы издатель не замедлял выход в продажу своих следующих выпусков». А «Отечественные записки» (1880. Т. 249) говорили о «впечатляющем успехе предприятия г. Шапиро», о том, что это своего рода «светильник русской литературы», возбудивший любовь благодарных россиян.

Не прошло и двух месяцев, как восемьсот экземпляров альбома разошлись, и вышел второй его выпуск с портретами Дмитрия Григоровича, Александра Островского, Александра Писемского, Якова Полонского, Льва Толстого, и — снова ошеломительный успех! Более того, Шапиро предпринял дешевое, так называемое «народное издание» под названием «Русский Пантеон» и подготовил для него около ста сорока портретов известных деятелей науки, литературы и искусства. Отбор имен был крайне взыскательным и строгим. Его прошли: Петр Боборыкин; Сергей Боткин; Александр Бутлеров; Петр Вейнберг; Григорий Данилевский; Константин Кавелин; Анатолий Кони; Николай Костомаров; Николай Лесков; Аполлон Майков; Дмитрий Менделеев; Николай Михайловский; Василий Немирович-Дан-

ченко; Николай Пирогов; Антон и Николай Рубинштейны; Сергей Соловьев; Константин Станюкович; Александр Серов; Иван Сеченов; Даниил Хвольсон и другие столь же замечательные люди России. Попасть на страницы «Русского Пантеона» почиталось большой честью. Примечательно, что в московской газете «Голос» (1882. № 166) появилась шутивная заметка о некоем г. Канаеве, «авторе начинающем и не подающем никаких надежд»: «Я уверен, по крайней мере, — иронизировал газетный критик, — что ваш петербургский фотограф г. Шапиро не запишет имени г. Канаева в список тех знаменитостей, портреты которых он рассчитывает поместить в своем „Пантеоне“».

Не обошлось, конечно, и без зоилов. Объявились и такие, кто отрицал самую идею издания портретов знаменитостей. Газета «Дело» (1880. № 9), посетовав на дурные вкусы публики, «воспитанной в школе сонников и всякой иллюстрированной дребедени», разразилась гневной тирадой: «Мы никак не можем понять, почему нас должна интересовать физиономия писателя, ничего не объясняющая и ничего не дополняющая к его внутреннему мировоззрению». Отметив, что судить об «искусстве г. Шапиро» он не вправе, рецензент указывает, однако, на допущенную фотографом явную лакировку действительности: «Старческие, апатичные и несколько помятые жизнью физиономии наших литературных знаменитостей выступают перед публикой у г. Шапиро такими свеженькими, мягкими, примазанными, точно они никогда не знали каторжного труда рабочего кабинета русского литератора и явились из великосветской гостиной или из интимного женского будуара. Милки — да и только!» Впрочем, и некоторые товарищи по цеху говорили, что портреты безмерно приукрашены. Редактор журнала «Фотограф» Вячеслав Срезневский подверг критике произведения «Русского Пантеона», увидев в них зло ретуши: «Кожа лица со всеми нежными оттенками, морщинами, обезображена и обращена в грубую баранью кожу в роде шагреновой. Можно ли иметь так мало вкуса и так подчиниться неразумию конопатчика-ретушера?» Константин Александрович пытался было оправдываться, говорил о трудных условиях съемки, о том, что «некоторые из выставленных лиц обладают наружностью, чрезвычайно неблагоприятною для фотографии, что невыгодно отражается на работе». С письмом в поддержку фотографа выступил тогда драматург Александр Островский, где подтвердил свое сходство с портретным изображением, помещенным в альбоме. Большую моральную поддержку оказал Шапиро и Иван Тургенев.

Так или иначе, Шапиро в 1880-е годы становится культовым фотографом. Его «Светопись и живопись» прочно вошла в моду, дело росло стремительно (за десять лет годовой товарооборот увеличился почти в девять раз!) и обрело официальное признание. Великий князь Владимир Александрович удостоил Константина Александровича почетным титулом «фотограф Императорской Академии художеств». На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве «за богатое собрание фотографических портретов русских общественных деятелей» он был увенчан бронзовой медалью. А в 1883 году император Александр III отметил его издание дешевого «Русского Пантеона» высочайшей наградой «За полезный труд»: большой серебряной медалью.

А альбом Шапиро «Иллюстрации к „Запискам сумасшедшего“ Н. В. Гоголя» (1883) высоко оценили даже самые искушенные профессионалы, отметив его как «важную художественную новость», «драгоценный почин г. Шапиро». «Для надлежащего воссоздания образов, созданных писателем, — отмечал Шапиро в предисловии, — от художника требуется, кроме высокого дарования, еще глубочайшее проникновение в дух писателя... Мне казалось, что если бы фотографически передать гениального актера в наиболее характерные моменты роли... то полу-

чили бы приближающиеся к совершенству иллюстрации [художественного произведения]».

Откроем альбом. В нем тридцать фотографий известного артиста московских театров Василия Андреева-Бурлака (1843–1888), исполнявшего роль Поприщина. Выразительно переданы поза и мимика этого талантливой лицедея. Последовательность моментальных кадров дает иллюзию запечатленного театрального действия. Это позволяло увековечить наиболее выразительные эпизоды спектакля. Такая серия из мгновенных снимков рождает эффект «движущейся фотографии» — предвестницы хроникальной киносъемки.

Критик Владимир Стасов восторженно писал: «Идея иллюстраций Шапирова нова и оригинальна... [Здесь] фотография вступает в союз с настоящим художником... Нечто такое, что найдет себе непременно подражателей не только в России, но и в самой Европе». И Николай Михайловский отметил, что «фотографии г. Шапирова превосходны». Об альбоме как о значимом культурном явлении писали и в Европе. На фотографической выставке в Вене в 1884 году Константин Александрович получил большую золотую медаль. Он предполагал создать подобные альбомы, посвященные «Горю от ума» и «Ревизору», однако замыслы эти, к сожалению, не осуществились.

Владимир Михневич, автор книги «Наши знакомые: Фельетонный словарь современников» (1884), посвятил ему специальную статью: «Шапиро, известный петербургский фотограф, сколько искусный, столько и предприимчивый, — совершил нечто более сверхъестественное, чем библейский Ной. Ной собрал с помощью Божьей в своем ковчеге всех чистых и нечистых тварей, то удивительно, но г. Шапиро, собрав воедино в своей портретной „галерее“ всех российских писателей, столь разрозненных всяческою враждою, дал пример несравненно удивительнейший. Вообще, г. Шапиро по праву может титуловаться лейб-фотографом русской литературы и русского искусства. Увековечивает он не только деятелей этих профессий, но и их творения, как это показал его замечательный опыт изображения гоголевского Поприщина в исполнении Андреева-Бурлака».

Но мало кто из русского общества, в средоточии которого разворачивалась деятельность этого преуспевающего фотографа, подозревал о переполнявшем его глубоким национальном чувстве. Немногие знали, что он всегда был в душе иудеем, соблюдал все необходимые обряды, собирал и собрал наконец знатную библиотеку еврейских книг. Говорили же маскилим — последователи Мозеса Мендельсона: «Будь евреем в шатре своем и человеком, выходя из него». Может статься, приверженность Шапирова религии Моисея так никогда и не вышла бы за пределы этого его шатра, но... ядовитый смерч антисемитизма вдруг налетел и порушил все разом, словно утлый карточный домик. Агрессивная юдофобия, набравшая силу на излете царствования Александра Освободителя, стала той чертой, за которой оставаться безучастным созерцателем было уже никак невозможно.

Здесь, в Петербурге, Шапиро сближается с выдающимися еврейскими интеллектуалами: поэтом и публицистом Иехудой Лейбом Гордоном (1830–1892), последователем Переца Смоленскина, прозванным «Еврейским Некрасовым»; фельетонистом и тонким стилистом, издателем Авраамом Шаломом Фридбергом (1838–1902); редактором первой ежедневной газеты на иврите «Ха-Иом» Иехудой Лейбом Кантором (1849–1915) и др. Духовные поиски приводят его к потребности быть со своим народом, там, где, перефразируя Анну Ахматову, его «народ, к несчастью, был». Происходит перерождение ассимилированного петербургского интеллигента в национального еврейского деятеля.

Свой художественный дар он аккумулирует теперь в поэтическое слово и обра-

щается к соплеменникам на великом языке Торы. Незрелые ученические вирши остались в детстве, а теперь затверженный с молодых ногтей иврит обретает под его пером особую выразительность и блеск.

В первом опубликованном стихотворении «К певцам моего народа» («Эл мешоререй бат-амми», 1879) он еще верен прежним просветительским идеалам: скорбит о том, что евреи, «подобно льду», заоченели в своем невежестве. Задачу поэта он видит в том, чтобы «железным стихом» разбудить «спящий сном непробудным народ», а панацею от изоляции и преследований видит в приобщении единоверцев к мировой культуре.

Однако погромы, ознаменовавшие первые годы правления «фельдфебеля на троне» Александра III, похоже, начисто избавили его от ассимиляторских иллюзий. В еврейской печати он теперь страстно выступает за национальную и религиозную идентичность евреев. Кроме того, он не только словом, но и материально поддерживает многие еврейские культурные проекты, журналы и газеты на иврите; не отказывает и в помощи бедным иудеям-студентам. Но в счастливое будущее еврейства в России верит слабо и включается в злободневную тогда полемику о необходимости эмиграции иудеев из империи. И настаивает на предпочтительности эмиграции именно на землю предков. Более того, он присоединяется к движению Ховевей Цион и жертвует немалые суммы на организацию сельскохозяйственных колоний в Палестине.

И в стихах он поет о бедах гонимого народа. Лирику Шапиро отличает величественная образность и характерная напряженность стиля. Он призывает к мщению за национальную катастрофу, прося у Всевышнего «огня из ада, смолы и серы из Содомы и Гоморры, чтобы испепелить весь мир»; скорбит о «величайшем божьем проклятии» еврейского народа — о его бессмертии. Подчас вдохновителем его Музы становится великий образ материнской любви — праматерь Рахиль, молчаливая и прекрасная. Гимн еврейской женщине звучит во многих стихах поэта, в том числе в текстах «Ивритский поэт» («Ха-мешорер ха-иври, 1898), «Сила души еврейской женщины» («Коах лев ишша иврия», 1899) и др.

Духом романтизма проникнута одна из лучших его поэм «Видения моего народа» («Хезионот бат-амми», 1884), где, пожалуй, впервые в поэзии на иврите (!) сюжеты Аггады сочетаются с его лирическими воспоминаниями о детстве в родном Гродно. Происходит очевидная метаморфоза: то, от чего Шапиро в дни юности отвернулся с негодованием и проклятием, становится дорогим, милым сердцу поэта. Воспоминания детства, простой патриархальный уклад жизни, народные верования и обряды обретают высокий эстетический накал. И в стихотворении «Благословение субботних свечей» («Биркат нерот», 1886) воспеваются древний еврейский обряд.

Не обходит он вниманием и острые события современной эпохи. Глубоко оригинальна поэма «Содом» («Сдом», 1899), посвященная пресловутому антисемитскому «делу Дрейфуса». Это своего рода бурлеск, где высокие библейские образы используются для характеристики неприглядной современной жизни, что и порождает комический эффект. Примечательно, что после смерти Шапиро большая часть его произведений была собрана и издана отдельной книгой «Избранные стихи» («Ширим ниврухим». Варшава, 1911)...

Казалось бы, две ипостаси Константина Шапиро, русская и еврейская, — это какие-то параллельные миры, существующие сами по себе и никак не пересекающиеся. Казалось бы, он должен был испытывать душевный разлад. Нет, ничуть! И обособленность эта мнимая! Шапиро понимал: подавляющее число российских евреев к концу XIX века говорили на русском языке и жадно читали русскую литера-

туру. И он взял за правило знакомить соплеменников с последними литературными новинками, тем более что был лично знаком со многими русскими писателями. Представляет интерес эссе «Тургенев и его рассказ „Жид“ («Тургенев ве-сиппуро «Ха-иегуди», 1883), где он защищает классика от обвинений в предвзятом отношении к евреям. Напомним, Тургенев снимался в ателье Шапиро, и его портрет был ретуширован. Не оставил ли он попытку приукрасить облик писателя и на сей раз?

Предприимчивый фотограф, Константин Александрович продолжал украшать витрину своего ателье портретами известных и знаменитых людей. У него неоднократно снимался Антон Чехов. Брат писателя Александр, увидев выставленный портрет Антона Павловича, раздраженно писал ему: «Шапиро выставил твой портрет. Публика любуется и находит гениальные черты и в глазах, и в носу, и в складках губ, и проч. Прислушался раз к восторгам барынь, взвизгивавших у витрины, возмутился, плюнул и ушел... Не всегда приятно быть и популярным человеком». Сам же Чехов оценивал «шапировские карточки» с присущим ему юмором. Об одной из них сказал, что он здесь «зализан и похож на святого»; о другой — что «вышел каким-то иеромонахом, а между тем [он] большой грешник и [ест] в пост скоромное». А в письме к А. М. Евреиновой от 8 февраля 1889 года сострил: «Нельзя ли посвататься по телеграфу? Меня невеста может видеть в фотографии Шапиро».

В 1891 году мастерскую фотографа удостоил своим посещением сам великий князь Константин Александрович: «...с него были сняты 6 кабинетных и 3 больших парадных портрета, из коих два немного менее натуральной величины». Фотографировал Шапиро и других персон августейшей фамилии. Вскоре к его прочим титулам добавляется — «фотограф их императорских высочеств Константина Александровича и Марии Павловны». На весенней 1891 года фотографической выставке в Петербурге он получил серебряную медаль «за искусное выполнение портретов и типов». Получил он признание и в Европе: Парижская академия изобретателей избрала его своим членом-корреспондентом.

Однажды в фотоателье Шапиро случился пожар, погибло много его работ и огромное количество негативов. Это страшное событие отражено в письмах современников. Известный адвокат Анатолий Кони сообщил Антону Чехову из Петербурга 24 ноября 1900 года: «Как нарочно — у меня осталась лишь одна карточка, негатив которой погиб при пожаре в фотографии Шапиро». Эта трагедия глубоко потрясла нашего фотографа.

В том же 1900 году Константина Александровича не стало. Он, по счастью, успел заблаговременно распорядиться своим наследием. Фотографическое дело перешло к его сыну Владимиру. Фирма сохранила имя своего основателя и называлась «Шапиро, Конст.». С 1907–1918 годов ее владельцем был племянник Константина Шапиро Павел Семенович Жуков (1870–1942).

По завещанию Шапиро несколько десятков тысяч рублей отошли Одесскому комитету общества Ховевей Цион, а его богатая библиотека была передана филантропу Иосифу Хазановичу для последующей пересылки в Иерусалим (она и ныне хранится в Еврейской национальной и университетской библиотеке)...

Константин Шапиро, гармонично соединивший в себе два разнородных мира, положил жизнь на то, чтобы внести в каждый из них своеобразный вклад. И своего добился: фотографические портреты великих сынов Отечества обеспечили ему почетное место в русской культуре; и его еврейская Муза нашла широкий отзвук среди соплеменников. Так благодаря усилиям одного Шапиро два мира — русский и еврейский — сделались ярче, богаче, заиграли новыми красками.

П И Л И Г Р И М

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

СВ. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ и русские символисты

Конец XIX — начало XX века отмечены повышенным интересом к св. Франциску со стороны русских философов, писателей, богословов, поэтов, историков. Даже у такого спорного религиозного философа и поэта-символиста, каким был Д. С. Мережковский (1866–1941), можно найти строчки, написанные о св. Франциске в православном, почти «житийном» стиле. «Первое столкновение на пути следования за Христом произошло у Франциска с родным отцом, который перед судом епископа требовал возвращения денег, которые Франциск отдал на ремонт храма. Франциск снимает с себя одежды и говорит, что с этого времени у него есть только один Отец — Небесный, — пишет Д. С. Мережковский. — Так же поступил любимый русским народом угодник Алексей, Божий человек, тайно бежавший из родного дома. Так и доньне поступают все русские подвижники, пожелавшие исполнить заповедь Христа: „Кто не покинет и дома и полей и детей во имя Мое, тот не достоин Меня“»¹.

К духовному наследию св. Франциска обращался и другой выдающийся русский поэт — Александр Александрович Блок (1880–1921). Одна из его рецензий, посвященная книге К. Д. Бальмонта, называется «Молитва Франциска Ассизского». «Непременная память обо всех тварях чиста и трогательна, как молитва Франциска Ассизского»², — отмечал А. А. Блок в своей рецензии.

Любовь к св. Франциску в семье Блока была традиционной. Екатерина Андреевна Бекетова (в замужестве Краснова, 1855–1892), тетушка Александра Блока, была известной в свое время переводчицей и поэтессой. В 1878 году она перевела на русский язык «Гимн св. Франциска Ассизского». Вот как звучат начальные строки этого произведения:

Господь, Творец благой, Всевышний, Всемогущий!
Тебе хвала и честь и слава вся присущи:

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт-Петербургской Духовной академии.

¹ Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Т. IX. М., 1914. С. 57.

² Блок А. А. Рецензия на книгу К. Д. Бальмонта «Фейные сказки» (М., 1905) // Собрание сочинений. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 619.

С Тобой, Господь, благословенья все!
Тебя единого нам должно прославлять;
Но нет достойного хвалу Тебе воздать³.

Екатерина Андреевна скончалась в 1892 году; ее посмертное издание «Стихотворений» (СПб., 1895) увидело свет лишь три года спустя, а еще через год отец поэтессы, Андрей Николаевич Бекетов, увековечил ее память, опубликовав перевод «Гимна» св. Франциска:

Хвала Тебе, Господь, во всем Твоем созданыи!
О, Господи! Велик Ты в солнце золотом,
Что озаряет день приветливым лучом;
Оно, прекрасное, в торжественном сияньи
Тебя являет нам во образе своем⁴.

Дед Александра Блока по материнской линии — А. Н. Бекетов (1825–1902) — в 1876–1882 годах был ректором Санкт-Петербургского университета. Знаменитый ботаник, доктор естественных наук, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета и президент императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Андрей Николаевич пережил свою дочь почти на десять лет. В 1896 году он издал свою очередную монографию, озаглавленную «География растений» (СПб., 1896). На титульном листе автор поместил посвящение: «Памяти моей дочери Екатерины». А на следующей странице, предварявшей предисловие, приводится «Гимн св. Франциска Ассизского» в переводе Екатерины Бекетовой:

Хвала Тебе, Господь, в луне и в звездах ясных:
Ты в небе создал их, и светлых и прекрасных.
Хвала Тебе, Господь, и в свежем дуновеньи
В туманные часы и в ясные мгновенья,
Которыми даришь Ты все свои творенья...⁵

В своей литературной деятельности К. Д. Бальмонт неоднократно соприкасался с творчеством св. Франциска. В 1895 году в переводе Бальмонта была издана монография немецкого ученого Адольфа Гаспари (1849–1892), озаглавленная «История итальянской литературы» (т. 1–2). На страницах этого сочинения А. Гаспари анализирует содержание самого известного произведения св. Франциска — «Песни к солнцу», отмечая, что «это хвала Господу в форме прославления Его творений»⁶. «Песня названа «Canto del Sole», потому что солнце прекраснее всех других созданий и более, чем какое-либо иное, может быть сравнено с самим Всевышним»⁷, — продолжает А. Гаспари, излагая далее историю написания этого гимна.

Примечательно, что сам Бальмонт, вдохновленный «Гимном солнцу» св. Франциска, написал небольшую поэму под таким же названием. Вот начальные строки бальмонтовского «Гимна солнцу»:

Жизни податель,
Светлый создатель,

³ Бекетов А. Н. География растений. СПб., 1896. С. II (предисловие).

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Гаспари А. История итальянской литературы. Т. 1, СПб., 1895. С. 121.

⁷ Там же.

Солнце, тебя я пою!
Пусть хоть несчастной
Сделай, но страстной,
Жаркой и властной
Душу мою!⁸

Влияние св. Франциска на Бальмонта вполне очевидно. Обращаясь к солнцу, он упоминает о «бедняке из Ассизи», вдохновившего поэта на такие строки:

Люблю в тебе, что ты, согрев Франциска,
Воспевшего тебя, как я пою,
Ласкаешь тем же светом василиска,
Лелеешь нежных птичек и змею⁹.

Вчитываясь в поэму Бальмонта, можно отыскать в ее тексте и пантеистические, и языческие мотивы. Но, завершая свое произведение, поэт подводит итог своим размышлениям в христианском духе:

Жизни податель,
Бог и Создатель,
Страшный сжигающий — Свет!
Рад я — на пире
Звуком быть в лире, —
Лучшего в мире
Счастья нет!¹⁰

Блок тесно общался и с Бальмонтом, и с Владимиром Соловьевым. По словам Модеста Гофмана, «порывания, стремления осязать Мировую Душу — у Соловьева и у Блока почти совпадают. Владимир Соловьев начал свою творческую деятельность с ожидания воплощения на земле теократии, богочеловечества»¹¹.

Одно из стихотворений Блока — по мотивам Апокалипсиса, написано под влиянием идей Соловьева. Оно в то же время явно перекликается с бальмонтовскими строками. Но, в отличие от Бальмонта, Блок без какого-либо «огнепоклонничества» воспевае Христа — «Солнце Завета»:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

.....

Непостижимого света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои¹².

⁸ Бальмонт К. Д. Избранное. М., 1990. С. 189.

⁹ Там же. С. 194.

¹⁰ Там же. С. 196.

¹¹ Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 301.

¹² Блок А. А. Собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1960. С. 170.

Это стихотворение было написано 22 февраля 1902 года. А в следующем, 1903 году увидел свет сборник Бальмонта «Будем как солнце. Книга символов» (М., 1903). Книга открывается стихотворениями: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» и «Будем как солнце!».

«Солнечная» тема стала весьма популярной среди символистов с легкой руки Н. М. Минского. Он был одним из первых в России, кто откликнулся на пробуждавшееся в интеллигентских кругах религиозное сознание. Он один из первых высказал мысль, что «в противоположность многим, называющим наше время веком отрицания и безбожия, я, наоборот, чувствую, что мы живем накануне величайшего духовного празднества, на котором присутствовать дано только избранным поколениям. Люди и книги наших дней окружены атмосферой чего-то утонченно-религиозного»¹³. Будучи предшественником символистов, он дал им «программную установку»:

Я — солнце, вечернее солнце,
К земле преклоненное,
Я — всеоправдание, всеосвящение,
Я — света и тени согласие,
Над бездной скрепленное,
Я — жертва небес, и я — жертва прощения¹⁴.

В житии св. Франциска говорится о его молитве перед Распятием в течение сорока дней. Стремясь уподобиться Спасителю не только внутренне, но и внешним образом, подвижник из Ассизи обрел стигматы (*græg.* стигма — клеймо) — раны, подобные тем, которые остались на теле распятого Христа. Об этом упоминает Д. С. Мережковский: «Улыбка Франциска Ассизского, поющего гимн Солнцу после крестных мук Альвирского видения, напоминает улыбку Софокла, поющего гимн богу вина и веселия — богу Дионису, после кровавых ужасов Эдиповой трагедии. И здесь и там — младенческая ясность, тишина последней мудрости»¹⁵.

Приведенные строки настолько «выламываются» из ряда традиционных высказываний русских мыслителей, что заслуживают отдельного комментария. В начале 1900-х годов Д. С. Мережковский был одним из видных представителей «богоискательства»; по его мнению, история человечества имеет три этапа: языческий, христианский и послехристианский — богочеловечество (как синтез античности и христианства)¹⁶. Один из авторов сборника «Русская религиозная мысль XX века» (Питсбург, 1975) так комментирует концепцию Мережковского о так называемом «Третьем завете»: «Нового в учении (Мережковского) о Третьем завете довольно мало. После хилиастов и до Мережковского об этом говорили в XII веке калабрийский монах Иоахим де Фиоре, а затем францисканцы-спиритуалисты, о чем сам Мережковский вспоминает позже в своей книге „Франциск Ассизский“»¹⁷.

Развивая свою мысль о некоем синкретизме в позиции Д. С. Мережковского, автор приведенного отрывка — Сергей Зеньковский — продолжает: «Как трудолю-

¹³ Цит. по: Попов Анатолий. Очерк о Минском. В книге: Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 228.

¹⁴ Там же. С. 223.

¹⁵ Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Т. IX, М., 1914. С. 42.

¹⁶ Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 394.

¹⁷ Зеньковский С. Статья «Д. С. Мережковский». В сборнике: Русская религиозно-философская мысль XX века. Питсбург, 1974. С. 286.

бывая пчела, Мережковский собрал в своем учении и мысли калабрийца де Фиоре, и надежды русских книжников XV века, и чаяния старообрядцев, и теории Ницше, учителя атеизма и проповедника Антихриста. Все эти теории и школы мировоззрений причудливо переплетаются в книгах Мережковского, часто создавая полную сумятицу и на страницах его произведений и в головах читателей»¹⁸.

По поводу особой позиции Д. С. Мережковского как религиозного мыслителя удачно высказался прот. Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия». По словам отца Георгия, «Ницше или Гёте для Мережковского ближе, чем хотя бы даже Данте или Франциск Ассизский. „Исторического христианства» Мережковский просто не знал, и все его схемы ужасно призрачны»¹⁹.

Об отношении Мережковского к «традиционному» христианству, и в частности к православию, свидетельствует дневниковая запись А. А. Блока, сделанная 23 декабря 1911 года. «Я пробыл у Мережковских от 4 до 8... Мережковский сегодня: вся „Индия» — нирвана (дохристианское) — ужас, небытие. Не было Имени. „Не донимайте меня» Сергием Радонежским, Серафимом Саровским — „я знаю, чем это пахнет»»²⁰.

Для символистов было характерно обращение к небу; их стихотворения пронизаны сопричастностью к Космосу. Метафоричность, присущая их творчеству, нередко приводила поэтов к пантеизму, и Блок чувствовал ту трудноуловимую грань, которую было опасно переступить. Так, свою «Философскую поэму» он предваряет эпитафией из Нового Завета: «Ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою» (Еванг. от Матфея, XVI, 18). И только после слов Спасителя следуют строки самого поэта:

Здесь на земле одиноцельны
И дух и плоть путем одним.
Бегут, в стремленьи нераздельны,
И Бог — одно начало им.

Он сотворил одно общенье,
И к нам донесся звездный слух,
Что в вечном жизненном теченьи
И с духом плоть, и с плотью дух²¹.

Казалось бы, цитаты из Евангелия вполне достаточно для того, чтобы быть «правильно понятым». Но Блок желает засвидетельствовать свою воцерковленность, и в качестве второго эпитафия к своей поэме он приводит слова из католической мессы: «Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam». (Войду в алтарь Бога. К Богу, Который веселит юность мою) (*лат.*)²².

А теперь снова вернемся к «Гимну солнцу» св. Франциска. В одном из своих эссе Д. С. Мережковский пересказывает диалог старца Зосимы и Алеши Карамазова. «А видишь ли Солнце наше, видишь ли Его? — спрашивает старец Зосима. «Боюсь... не смею глядеть», — прошептал Алеша»²³. В этих строках Ф. М. Достоевский употребляет

¹⁸ Там же. С. 286.

¹⁹ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Изд.4-е. Париж, 1988. С. 457.

²⁰ Блок А. А. Собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 105, 106.

²¹ Указ. соч. Т. 1. М.; Л., 1960. С. 461–462. 9 декабря 1900 г.

²² Там же. С. 461.

²³ Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Т. IX. М., 1912. С. 245 (Статья «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия»).

ет метафору, хорошо знакомую каждому православному христианину, — она взята из тропаря праздника Рождества Христова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащи звездою учахуся Тебе кланяться, **Солнцу правды**, и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!»

Однако далее русский поэт-символист, верный своей концепции нерасчлененного «интегрального единства» противоположных начал, их дифференциации и «совершенной интеграции»²⁴, пишет: «Это „Солнце“ и есть тот Свет, та ослепляющая искра, молния, которая соединила оба „конца“, оба полюса мира:

Концы концов коснутся,
Проснутся „да“ и „нет“,
И „да“ и „нет“ сольются,
И смерть их будет Свет»²⁵.

А теперь приведем строки из поэтического наследия супруги Мережковского — З. Н. Гиппиус. В стихотворении «Электричество» есть такие строки:

Концы концов коснутся —
Другие «да» и «нет»,
И «да» и «нет» проснутся,
Сплетенные сольются,
И смерть их будет Свет²⁶.

Так в тесном семейном поэтическом кругу физика плавно перетекала в метафизику...

В первое десятилетие XX века к литературному течению русских символистов присоединился Максимилиан Волошин — старый друг Бальмонта. Волошин находился под влиянием своего старшего собрата по поэтическому цеху. И вполне закономерно, что в одном из стихотворений, написанных им в те годы, поэт обращается к солнцу:

Святое око дня, тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,
Пронизан зрением, как белый бриллиант
В багровой тьме рождавшейся вселенной.

Волошин еще далек от того, чтобы завершить это стихотворение в христианском духе и воздать хвалу «Солнцу правды». Однако он интуитивно нащупывает этот путь:

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
Лучи призывные кидая издалека.
Но я в своей душе возжгу иное око
И землю поведу к сияющей мечте!²⁷

²⁴ Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 394.

²⁵ Мережковский Д. С. Указ. соч. С. 245.

²⁶ Цит. по: Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 190.

²⁷ Волошин Максимилиан. Стихотворения. Л., 1982. С. 129.

Конец XIX — начало XX века — это мода на теософию и антропософию, повышенный интерес к именам Е. П. Блаватской, Р. Штейнера. Не избежали этого влияния и некоторые русские символисты. Так, в декабре 1905 года в Берлине происходит личное знакомство Волошина с Рудольфом Штейнером. В 1914 году Волошин полгода провел на строительстве антропософского центра в Дорнахе (Швейцария)²⁸. А первая личная встреча Андрея Белого с Р. Штейнером состоялась в Кёльне 7 мая 1912 года. В 1914–1916 годах А. Белый также находился в Дорнахе, где под руководством Штейнера участвовал в строительстве антропософского центра «Гетанума»²⁹. И без учета этих обстоятельств анализ поэтического наследия Волошина, Белого и других русских символистов был бы неполным.

Тема «стигматов» также присутствует в творчестве «раннего» Волошина. Одно из стихотворений, написанное поэтом в 1907 году, так и озаглавлено: «Стигматы». Вот одно из его четверостиший:

Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал резной, узорный храм.
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!³⁰

Здесь речь идет о крестных ранах Христа Спасителя; имя св. Франциска поэт не упоминает. К личности этого святого Волошин обратится позднее, в 1919 году, после того, как «распята» будет вся Россия. И поэт как бы предчувствует это, сопереживая трагической судьбе своей родины:

Вся душа — как своды и порталы,
И, как синий ладан, в ней испуг.
Знаю вас, священные кораллы,
На ладонях распростертых рук!³¹

Одним из самых известных произведений, повествующих о св. Франциске, являются «Цветочки» («Фиоретти»). В 1904 году в религиозно-философском журнале «Новый путь» (печатный орган символистов), был опубликован русский текст «Цветочков», выполненный переводчиком, который указал лишь свои инициалы — «О. С.»³² Под ними скрылась Ольга Михайловна Соловьева — художница и переводчица, двоюродная сестра матери Александра Блока. В предисловии к «Цветочкам» переводчица пишет: «Вся жизнь и деятельность Франциска была вдохновенной, гениальной по своей искренности, простоте и последовательности попыткой осуществления идеи Царствия Божия на земле — и она принадлежит не одним западным христианам: она значительна и для нас — слишком ранних или слишком поздних мечтателей о возрождении религиозной жизни на нашей родине»³³.

Впоследствии восторженное отношение российских православных кругов к «Цветочкам» св. Франциска выразил в своем стихотворении Михаил Кузмин:

²⁸ Купченко Владимир. Парижские адреса Максимилиана Волошина // Русская мысль. № 4192. 9–15 октября 1997. С. 11.

²⁹ Белый Андрей. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 563. Примеч. 73.

³⁰ Там же. С. 112.

³¹ Там же.

³² Цветочки Франциска Ассизского (Фиоретти). Легенды. Перев. с итал. О. С. // Новый путь. 1904. № 4. С. 145–173 (гл. 1–XII); № 5. С. 116–145 (гл. XIII–XXVV); № 6. С. 35–64 (гл. XXVI–XL); № 7. С. 68–87 (гл. XLI–XLVIII).

³³ Там же. 1904. № 4. С. 144 (предисловие).

Месяц молочный спустился так низко,
 Будто рукой его можно достать.
 Цветики милые братца Франциска,
 Где же вам иначе расцветать?
 Умбрия, мать задумчивых далей,
 Ангелы лучшей страны не видали...³⁴

Как видим, известный русский поэт Михаил Алексеевич Кузмин (1875–1936) не избежал влияния св. Франциска. Современный исследователь Г. Г. Шмаков был первым, кто заговорил о влиянии францисканской литературы на поэтику М. А. Кузмина. По словам Г. Г. Шмакова, «сравнительный анализ образности францисканских гимнов и устойчивой метафористики раннего Кузмина» показывает, что «поэтическая францисканская дикция... была в достаточной степени усвоена поэтом»³⁵.

И это тот самый Кузмин, который начинал с полуязыческого поклонения солнцу:

Солнце, солнце,
 Божественный Ра-Гелиос,
 Тобою веселятся
 Сердца царей и героев,
 Тебе ржут священные кони,
 Тебе поют гимны в Гелиополе;
 Когда ты светишь,
 Ящерицы выползают на камни
 И мальчики идут со смехом
 Купаться к Нилу³⁶.

Образ «бедняка из Ассизи» вдохновлял и Максимилиана Волошина; под впечатлением «Гимна солнцу» поэт в 1919 году написал в Коктебеле стихотворение «Святой Франциск». Вот начальные строки этого произведения:

Ходит по полям босой монашек,
 Созывает птиц, рукою машет,
 И тростит ногами, точно пляшет,
 И к плечу полено прижимает
 Палкой, как на скрипочке играет,
 Говорит, поет и причитает:
 «Брат мой солнце, старшее из тварей,
 Ты восходишь в славе и пожаре,
 Ликом схоже с обликом Христовым,
 Одеваешь землю пламенным покровом»³⁷.

³⁴ Кузмин М. Нездешние вечера. Пб., 1921. С. 108. Стихотворение «Ассизи».

³⁵ Шмаков Г. Г. Блок и Кузмин. (Новые материалы) // Блоковский сборник 2 (Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока). Тарту, 1972. С. 345.

³⁶ Кузмин М. А. Александрийские песни. Цит. по: Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 394.

³⁷ Волошин М. Святой Франциск // Вестник РХД. № 107. 1973, Париж; Нью-Йорк. С. 150.

В том же 1919 году Волошин начал слагать поэму «Святой Серафим», посвященную почитаемому в России св. Серафиму Саровскому (1760–1833. Канонизирован в начале XX века по настоянию императрицы Александры Феодоровны). Одна из глав поэмы носит «францисканское» название «Тварь»; в ней прославляются творения Божии, населяющие землю³⁸. Перелагая житие Серафима Саровского, Волошин пользовался книгой Чичагова «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» (СПб., 1903). По замыслу Волошина, «Тварь», как и стихотворение «Святой Франциск», должно было выразить главную идею поэта: опрощение человека, его сближение и единение с миром Творца, свидетельство «культуры св. Франциска»³⁹.

Еще один «францисканский» эпизод в жизни Максимилиана Волошина пришелся на 1926 год. Именно в этом году на даче поэта в Коктебеле было совершено богослужение по случаю 700-й годовщины со дня кончины св. Франциска Ассизского (1226–1926). Заупокойную литургию (мессу) совершил католический священник Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942) — сын младшего брата Владимира Соловьева, Михаила. По окончании историко-филологического факультета Московского университета С. М. Соловьев посвятил себя литературной и педагогической деятельности. К этому периоду относится его сближение с поэтами А. Блоком и А. Белым⁴⁰. А. А. Блоку С. М. Соловьев приходился троюродным братом.

В 1914 году С. М. Соловьев опубликовал свою поэму «Италия» (М., 1914); седьмая глава была посвящена Ассизи и св. Франциску, прославившему этот город.

Колокола вдали жужжат, как пчелы,
Со всех сторон верхи Умбрийских гор
Сияют, как небесные престолы.

На них спускался ангелов собор,
К Бернарду здесь сошла Святая Дева,
А там Христос объятия простер

Франциску с окровавленного древа
И навсегда прожег его ступни.
Я на горе. Направо и налево,

Пустынные, в оливковой тени
Лежат долины Умбрии священной;
Такие же, как в золотые дни.

Когда Франциск, Христов бедняк смиренный,
Здесь проходил с толпой учеников
И зрел Христа, коленапреклоненный.

Здесь воздух полн молитвами веков,
И кажутся волнами фимиама
Серебряные стаи облаков⁴¹.

³⁸ Волошин Максимилиан. Стихотворения. Л., 1982. С. 325–327.

³⁹ Там же. С. 445, примеч.

⁴⁰ Антоний (Венгер), иером. Материалы к биографии Сергея Михайловича Соловьева // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 1, 3.

⁴¹ Соловьев Сергей. Италия. Поэма. М., 1914. С. 35–36.

Перу С. М. Соловьева принадлежит еще одна книга — «Возвращение в отчий дом» (М., 1915). На ее страницах читателя снова встречает «бедняк из Ассизи»:

И перед нами рай невозвратимых дней,
 Когда все расцвело под проповедь Франциска,
 И небеса к земле опять казались близко.
 И Бога славили Умбрийские холмы.
 Везде прошел Франциск. Не убоясь чалмы,
 С крестом явился он пред грозным Саладином.
 В Ареццо он пришел, и перед ним единым
 В смятеньи улетел свирепый полк бесов⁴².

...М. С. и О. М. Соловьевы были похоронены в Москве на Новодевичьем кладбище. Александр Блок, Сергей Соловьев, Андрей Белый приходили на их могилы. После революции надгробия были уничтожены, так что найти места их захоронения сейчас практически невозможно без помощи редких знатоков. Затеряна и могила Сергея Соловьева на кладбище в Казани...⁴³

В 1908 году на родине св. Франциска побывал Павел Павлович Муратов (1881–1950) — историк, искусствовед, один из представителей русского Серебряного века. В Италию Муратов впервые попал в 1908 году и, находясь там в течение нескольких месяцев, собрал обширные материалы по истории церковного искусства. Широкую известность П. П. Муратов приобрел после выхода в свет его книги «Образы Италии» (М., 1911, 1912)⁴⁴. В своей книге П. П. Муратов уделил много внимания описанию Ассизи и его святынь⁴⁵.

Путешествуя по Италии, Муратов посещал древние обители, принадлежащие различным монашеским орденам. Особый интерес представляют заметки Муратова, посвященные Субиако — колыбели бенедиктинского ордена. Эту обитель св. Франциск посетил в 1223 году, и здесь Муратов видел фресковое «изображение святого Франциска Ассизского, без нимба, с живым лицом, имеющим черты портретного сходства»⁴⁶. Осмотрев пещеру (Сакро Спеко), где часто молился преп. Бенедикт (ок. 480–543), русский паломник сообщает читателям о том, что ему довелось увидеть после этого.

«Спустившись из нижней части храма на террасу, пристроенную к горе с большим трудом и искусством, монах выводит посетителей Сакро Спеко в сад роз, — роз святого Франциска, — пишет Муратов. — По преданию, некогда на этом месте росли тернии, в которых, сняв одежды, катался святой Бенедикт, желая наказать свое тело за греховные желания. Прикосновение святого Франциска превратило эти тернии в розы. Никакие исторические исследования не выражают вернее, чем эта легенда, всей сущности религии святого Франциска и ее отношения к средневековому христианству»⁴⁷.

⁴² Соловьев Сергей. Возвращение в отчий дом. 4-я книга стихов (1913–1915). М., 1915. С. 58–59.

⁴³ Лесневский С. Дитя Арбата // Литературная газета. № 43, 25–31 октября 2000. С. 9.

⁴⁴ В 1924 г. «Образы Италии» были изданы в Берлине (т. 1–3), а в 1994 г. издательство «Республика» (Москва) перепечатало берлинское издание в виде объемистого иллюстрированного однотомника.

⁴⁵ Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 374–380.

⁴⁶ Там же. С. 303.

⁴⁷ Там же.

Вячеслав Иванов посвятил древней обители стихотворение — «Розы в Субиако».

Не ветерком колеблемые трости,
Не мужа в мягких складках риз богатых
Вы шли увидеть. Скит на белых скатах —
Обитель горняя. Премудрость прости.

Как остов — ребра скал, а камни — кости;
И в черепах, под бровью рощ косматых,
Пещер глазницы, а в теснинах сжатых
Беснуется поток в ползучей злости.

Рос дикий терен под апсидой низкой,
Где ночь и день из бездн кромешных аспид,
В утес вгрызаясь, вопиет угрозы.

Но бросился в колючки гость Ассизский,
Чтоб ветхий в нем Адам был внове распят.
С тех пор алеют садом эти розы⁴⁸.

«Гость Ассизский» — это св. Франциск, который, стремясь побороть плотские искушения, продирался сквозь терновник с его острыми шипами. Русский поэт воспекает подвиг смирения св. Франциска:

Коль, вестник мира, ты войдешь в покои,
Где прежние твои пируют други,
И нищего прогонят в шею слуги
И нанесут убогому побои:

Возвеселись и не ропщи, что знои
Должны палить, и стужей веять вьюги;
Благослови на воинах кольчуги,
На пардах — пятна и на соснах — хвои.

Мятежных сил не пожелай иными:
Иль Ковача ты мнишь умерить горны?
Всем разный путь и подвиг, свой и близкий.

Иль бросился в колючки брат Ассизский,
Чтоб укротить пронзительные терны?
Но стали терны — розами родными⁴⁹.

Вячеслав Иванов воспел этот «Розарий» в своем стихотворении «Монастырь в Субиако»:

Вхожу. Со стен святые смотрят тени;
Ведут во мглу подземную ступени;

⁴⁸ Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 2. Брюссель, 1974. С. 497.

⁴⁹ Там же. С. 497–498.

Вот жертвенник: над ним пещерный свод.
 Вот вертоград: нависли скал угрозы;
 Их будит гром незримых дольных вод;
 А вокруг горят мистические розы⁵⁰.

Вячеслав Иванов определял символизм как «утверждение экстенсивной энергии слова», которая «не боится пересечений с гетерономными искусствау сферами, например, с системами религий»⁵¹. Эта позиция была близка Блоку, и неудивительно, что «Монастырь в Субиако» оказался созвучен блоковским строкам:

Мы, забыты в стране одичалой,
 Жили бедные, чуждые слез.
 Трепетали, молились на скалы,
 Не видали сгорающих роз.

Побежали святые дороги,
 Словно небо вернулось к земле.
 И на нашей земле одичалой
 Мы постигли сгорание роз.
 Злые думы и гордые скалы —
 Все растаяло в пламени слез⁵².

Блок написал это стихотворение в 1902 году, а на родину св. Франциска он направился лишь в 1909 году — вскоре после первого путешествия П. П. Муратова в Италию. Несколько лет спустя он написал о своем отношении к «Образам Италии» — в письме к Павлу Сергеевичу Сухотину, секретарю журнала «София». «Передайте, пожалуйста, Павлу Павловичу Муратову мой поклон и мое искреннее уважение, — писал А. А. Блок. — По Италии я ездил в 1909 году, скоро после него, и местами находил его следы в виде надписей в книгах при музеях и церквах. С тех пор как-то часто я вспоминал его, не будучи знакомым, и время выхода его книг, особенно „Образов Италии“ для меня памятно»⁵³.

К сожалению, сам А. А. Блок не оставил своих записок о паломничестве в Ассизи. Вот несколько строк из его неоконченной книги «Итальянских впечатлений»: «Мы налюбовались Перуджией — „столицей“ Умбрии, родины св. Франциска; и сама она — родина Перуджино и Рафаэля. Вот три светлейших имени»⁵⁴.

Одно из стихотворений Блока — «Перуджия» — навеяно посещением Умбрии. Оно было написано в июне 1909 года, во время пребывания поэта на родине св. Франциска.

День полувеселый, полустрадный,
 Голубая даль от Умбрских гор.
 Вдруг — минутный ливень, ветер прохладный,
 За окном открытым — громкий хор.

.....

⁵⁰ Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. 1, Брюссель, 1971. С. 621.

⁵¹ Иванов Вячеслав. Мысли о символизме // Труды и дни. 1912. № 1. С. 9.

⁵² Блок А. А. Собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1960. С. 201. 1 июля 1902 г.

⁵³ Блок А. А. Собрание сочинений. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 437.

⁵⁴ Указ. соч. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 391. Запись относится к 10 октября 1909 г.

На корзине — белая записка:
«Questa sera... монастырь Франциска...»⁵⁵

Позднее, в одном из своих произведений, написанном в форме дневника, Блок ввел понятие «культуры Франциска Ассизского», как высшей, в противовес ее обыденному пониманию. «Что же, — пишет Блок, — разве люди, обладающие достоинствами, счастливы и благополучны? — Едва ли. Скорее их высокомерное чувство брезгливости проистекает от недостаточно высокой культуры, которая теряется перед лицом темноты, невежества, неубранности, путаницы. Едва ли в этих людях возмущается та культура, высоты которой достигли Франциск Ассизский и Юлиан Милостивый — именно они — оба знавшие в юности и любовь и роскошь, и страсти, и все утехы „шумного света“»⁵⁶.

Далее Блок поясняет своим читателям, в чем он видит отличие высшей культуры (Франциска Ассизского) от той, которую, с легкой руки А. И. Солженицына, называют ныне «образованщина». «Мы достигли пока ступени культуры умного ученого, — пишет Блок. — Это — культура в шорах: по прямой линии своей специальности видно очень далеко; а по сторонам — ничего»⁵⁷.

Блок писал эти строки в годы Гражданской войны, шедшей в России. Он словно предчувствовал угрозу бездуховности, которая надвигалась на страну. «У нас есть богатства высокой мысли и красоты; не грешно иногда зайти в бедную храмину с ободранными стенами и посмотреть, какую отсюда представляется жизнь, — продолжает поэт. — Если мы — только „тонкие и умные люди“, культурные ученые, художники, политики, — нам незачем, разумеется, идти туда. Но если в нас есть еще культура Франциска Ассизского и Юлиана Милостивого, которые знали нечто кроме полноты земных великолепий, то мы не побоимся взглянуть в лицо такой жизни»⁵⁸.

Под конец жизни Александр Блок особенно остро ощущал трагедию «Руси уходящей», не выдержавшей натиска красных «скифов» и их вождя «с раскосыми глазами». В сборнике «Памяти А. А. Блока», вышедшем вскоре после его смерти, один из авторов описывал тогдашнее мироощущение поэта: «Столетия текут не напрасно. Опыт жизни и крови и дел тяжелым грузом несет на себе современная душа. В этом опыте она одряхла, усложнилась, потеряла первоначальную цельность, раскололась, пошла трещинами. Чистый, точнее — отвлеченный идеалистический мистицизм ей уже не под силу. Франциски Ассизские, Мейстеры Эккарты, Шлейермахеры, в наше время могут быть или иконами или музейными экспонатами. По слову поэта, особенно остро чувшего всю мучительную дисгармонию современного духа —

Мы в небе скоро устаем,
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем»⁵⁹.

Поначалу, когда «Красное колесо» еще только набирало свои обороты, Блоку виделось, что впереди двенадцати красноармейцев идет Иисус Христос. Но Блок

⁵⁵ Указ. соч. Т. 3. М.: Л., 1960. С. 105. Questa sera — Нынче вечером (*итал.*)

⁵⁶ Указ. соч. Т. 6. М.: Л., 1962. Проза 1918–1921 гг. С. 29.

⁵⁷ Там же. С. 30.

⁵⁸ Там же. С. 29–30.

⁵⁹ Медведев П. Н. Творческий путь А. А. Блока // Сб. Памяти А. А. Блока. Пб., 1922. С. 24.

ошибся — скорее всего, это был сатана, и за свою ошибку поэт расплатился жизнью. А общество, приняв сатану за Христа, вместо рая построило ГУЛАГ.

Однако опасность «культуре Франциска Ассизского» грозила не только со стороны «братишек», которых так неосторожно воспел Блок («революционный держите шаг!»). Движение антропософов — последователей Рудольфа Штейнера (1861–1925) — еще в начале XX века пыталось сделать «своим» св. Франциска. К чести русских поэтов, они противодействовали этому в литературной сфере. Так, в рецензии на стихотворение Эмиля Верхарна «Монастырь»⁶⁰ Блок возмущается неточностями перевода Эллиса, который перевел стихотворение «вяло, бледно».

Эллис — псевдоним Льва Львовича Кобылинского (1879–1947), известного своими резкими полемическими статьями в символистских журналах. В описываемое время он был последователем Штейнера, но впоследствии перешел в католичество⁶¹. Перевод Эллиса был опубликован с предисловием поэта-символиста Андрея Белого (Бугаева) (1880–1934), который также был приверженцем антропософии. Отметив неточности и ошибки перевода, который А. Белый к тому же снабдил эпитетом «художественный», А. А. Блок дает точный перевод строк, посвященных католическому святому: «Дитя, Франциск Ассизский был подобен тебе, но имя его украшает и наполняет благоуханием весь храм»⁶².

Что касается самого Андрея Белого, то в его отношении к теме «Св. Франциск — А. А. Блок» чувствуется антропософская направленность с присущей ей «заумью». «Отступая от тайны Порога, по-новому вновь выступают в обставшую жизнь: Александр Добролюбов, Толстой. Августин и Франциск (выступал также Фауст) переработать свой порог, — пишет Андрей Белый. — Отступает и Блок; тут порог, ему видимый, отображается внешне: порогом реакции (и Франциск и Толстой перед проблемой социальной стояли: она — коллективная карма); он видит — глубокие корни проблемы; и — упирается: в здания революций... Неопишущее Виденье, видимое одному, станет явью для всех лишь тогда, когда снимутся три порога реакции: политической, социальной, духовной; весь мир материальный — реакция Духа; он — остановка развития у Духов»⁶³.

Литературную деятельность Эллиса (Кобылинского) критиковал в своих статьях другой выдающийся русский поэт — Николай Степанович Гумилев (1886–1921). В третьем номере «Аполлона» за 1909 год была опубликована рецензия Гумилева на ряд стихотворений Эллиса, напечатанных в третьем номере «Весов». Выявив антропософскую ориентацию поэзии Эллиса, Гумилев пишет: «Его мысли направлены в область мистической и оккультной философии, безводной пустыни, где так редки цветущие оазисы. Но, не сознавая этого, он с наивностью гиперборейского символиста пишет о стигматах, терниях, язвах огня»⁶⁴.

В свое время со своим толкованием стигматизации св. Франциска выступил Д. С. Мережковский, после чего он был подвергнут сокрушительной критике со стороны православных богословов и философов. Подобная попытка была предпринята и Эллисом, но Н. С. Гумилев решительно оградил св. Франциска от эллисовских интерпретаций. «Слова, благоуханные в применении к святому Себастьяну, Франциску Ассизскому, Бенедикту, но в применении к г. Эллису они несколько странны, — пишет Гумилев, — И стигматы, и тернии — здесь отвлеченные, и сим-

⁶⁰ Напечатано в серии «Универсальная библиотека», № 60, с предисловием Андрея Белого.

⁶¹ Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1974. С. 125 (примечание 44).

⁶² Блок А. А. Собрание сочинений. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 644.

⁶³ Белый А. О Блоке. М., 1997. С. 268.

⁶⁴ Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 92.

волизм превращается в аллегоризм, то есть идет не от реального к потустороннему, а наоборот»⁶⁵.

Что же касается других символистов, писавших о стигматах св. Франциска, то их отношение к этому феномену отличается объективностью. Вот что говорит об этом Вячеслав Иванов: «Внутренне близок русскому умилению образ св. Франциска Ассизского; однако восточная святость не знает подвига стигм. В мистике православной Христос не напечатлевается на человеке, не входит в него, не распинается в нем»⁶⁶. Однако образ «Христос — Солнце» сближает западную и восточную традиции; «человек вовлекается в Его свет и „во Христа облекается“, по образу Жены, облеченной в Солнце», — продолжает Вячеслав Иванов.

В своей 4-й книге стихов (1913–1915), озаглавленной «Возвращение в отчий дом», Сергей Соловьев также посвятил несколько строк стигматам св. Франциска:

Воспоминания мучительных часов,
Когда страдал Господь, ко древу пригвожденный,
Не умирали в нем. Душою умиленной
Он язвы Господа перед собою зрел.
И ангел пламенный снопом лучистых стрел
Пронзил его стопы и бледные ладони.
И кровью алою и полной благовоний
Сочилась блеклая, истерзанная плоть,
До дня, когда его к себе призвал Господь⁶⁷.

Снова и снова в своих стихах Сергей Соловьев возвращается к подвигам св. Франциска. В поэме «Италия» он сопоставляет миссионерские труды «беднячка из Ассизи» с другим подвижником, почитаемым в Римско-католической церкви, — св. Антонием Падуанским (1195–1231). Будучи членом францисканского ордена, св. Антоний подвизался в Падуе (1230–1231), и на его проповеди собиралось до тридцати тысяч человек. В своей проповеди Евангелия Антоний Падуанский отличался от Франциска Ассизского. У последнего — простая, бесхитростная речь, жизнерадостное настроение ликующего в Боге сердца, трогательная любовь ко всему Божию миру. У Антония Падуанского — суровое обличение пороков клира и мирян, напоминание о суде Божием и призыв ко всеобщему покаянию. Однако оба они были причислены к лику святых папой Григорием IX, и оба считаются покровителями Италии.

Италия! Скажи, каким искусам
Не подвергался твой священный прах,
Терзаемый огнем, мечом и трусом?
Но охраняет родину монах,
Тот юноша, с Младенцем Иисусом
И лилией цветущею в руках.
И брат его, слагавший солнцу строфы,
Окровавленный язвами Голгофы⁶⁸.

⁶⁵ Там же. С. 92.

⁶⁶ Иванов Вячеслав. Лик и личины России. В сборнике его статей «Родное и вселенское». М., 1994. С. 325.

⁶⁷ Соловьев Сергей. Возвращение в отчий дом. 4-я книга стихов (1913–1915). М., 1915. С. 58–59.

⁶⁸ Соловьев Сергей. Италия. Поэма. М., 1914. С. 6.

Если для А. Белого и М. Волошина предвоенные годы — это эпоха увлечения антропософией, то Борис Пастернак (1890–1960), в отличие от них, шел тропой, проторенной А. Блоком на пути к св. Франциску («культура св. Франциска»). Годы 1910–1912-е, прожитые под наиболее сильным влиянием христианского образа мысли, были для Пастернака временем преодоления юношеского трагизма. Главной силой, помогшей Пастернаку справиться с этими настроениями, стало искусство, его поэтическое призвание. В первых опытах мы находим следы этой мучительной борьбы; особое внимание привлекают христианские мотивы в набросках сохранившихся стихов, преклонение перед терпящими насмешки нищими духом. Выходя на свет из темной пустоты отчаяния, Пастернак учился радоваться всему на свете⁶⁹.

Летом 1917 года он написал книгу, озаглавленную в стиле гимнов св. Франциска: «Сестра моя жизнь»⁷⁰. (Название книги перекликается с последними словами св. Франциска, обращенными к смерти: «Добро пожаловать, сестра моя!») Она стала выражением благодарной радости существования; эта книга целиком посвящена счастью любви, счастью жизни, чуду каждого дня. По свидетельству сына поэта, Евгения Пастернака, «отец говорил мне, что всегда хотел писать так, как писал „Сестру мою жизнь“»⁷¹.

Кроме близости к мировосприятию св. Франциска, в название книги вкладывался определенный религиозный смысл, осознать который помогает письмо Пастернака родителям от 21 августа 1914 года, где он высказывал свои мысли о необходимости доверия к жизни и веру в отсутствие зла в Божием промысле: «Есть что-то в роде веры или это даже вера сама, — которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью... я боюсь этих слов. Может быть, я не прямо выражаюсь, может быть, это стыд наш, так называемых интеллигентных людей. Но собственно не о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно глубокомысленном и постоянном сверстнике нашем, с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами с собою на прогулке, или размышляем, или чувствуем себя одинокими на людях. И в конце концов о Боге»⁷². Так что книга «Сестра моя жизнь», в понимании Пастернака, — это гимн Отчей любви к жизни и природе.

В библиотеке Пастернака, среди прочих книг, было «Последование во Святую и Светлую седмицу», где синим и красным карандашами он аккуратно подчеркивал в песнопениях Пасхальной утрени слова, содержащие радостную весть Воскресения: «Се бо прииде радость всему миру», «Праздников праздник и торжество из торжеств», «Ликуй ныне и веселися Сионе», «Да внидет радуясь в радость Господа своего» — и отдельные выражения, вроде «скакаше играя» или «играюще поем». Это не следы ознакомления с текстом, но исследование форм выражения божественной радости на языке богослужения⁷³.

Пастернак очень любил как поэт и хорошо знал церковную службу и восхищался красотой ее языка. В «Людах и положениях» он останавливает свое внимание на рассыпанных по стихам Блока «клочках церковно-бытовой реальности», словах из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, «знакомым наизусть и сто раз слышанным на службах». Он отмечает, что Блоку эти тексты «были

⁶⁹ Пастернак Евгений. Верность Христу // Русская мысль. № 4253, 14–20 января 1999. С. 17.

⁷⁰ Пастернак Борис. Сестра моя жизнь. Берлин; Пб.: М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1923.

⁷¹ Пастернак Евг. Указ. соч. С. 17.

⁷² Там же.

⁷³ Там же.

дороги в их буквальности, как отрывки живого быта». В архиве Пастернака сохранились выписки из молитв на разные церковные праздники, которые он сделал, по-видимому, в пору работы над романом «Доктор Живаго»⁷⁴.

В предреволюционные годы литературные пути Пастернака и Белого постепенно стали расходиться. И одной из причин этого была «ушибленность» Бугаева (Белого) антропософией. В начале 1920-х годов отношения между поэтами были, мягко говоря, прохладными, но впоследствии, после возвращения А. Белого в Россию, Пастернак «по-францискански» примирился с ним и был к нему очень близок. А когда Андрей Белый умер (1934), около него были несколько студентов Вольфины, жена и Пастернак. Он был даже председателем комиссии по устройству похорон А. Белого⁷⁵.

Пастернак был щедро наделен францисканским чувством радости и благодарения. Классическая форма его обращения к зимней природе выражена в словах:

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

Апофеоз этого чувства дан в стихотворении «В больнице», где чувство благодарности Богу и миру рождается у больного в ту минуту, которая представляется ему последней, когда он понимает, «что из переделки едва ли он выйдет живой»:

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена...
«О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной...
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать».

«В минуту, которая казалась последней в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлеть его. Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи. И я ликовал и плакал от счастья».

В свою прощальную молитву Пастернак вкладывает основное настроение своей лирики, которая у него всегда хвала Богу, славословие видимого и чувство причастности к творчеству, то есть ученичество у Творца и соучастие в творчестве мироздания⁷⁶.

⁷⁴ Там же. С. 17. Разбор и атрибуцию богослужебных текстов, цитируемых в романе «Доктор Живаго», можно найти в работе югославского исследователя А. Тарасьева («Златоуст». 1992. № 1).

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же.

...30 мая 2000 года Патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился с приветственным посланием к участникам проходившей в Переделкине под Москвой памятной встречи, посвященной сорокалетию со дня кончины Бориса Пастернака. В начале своего приветствия предстоятель РПЦ засвидетельствовал, что Церковь «высоко ценит вклад» Бориса Пастернака в сокровищницу русской культуры — «вклад, в котором так ярко проявились лучшие свойства души Бориса Леонидовича, укорененные в присущем ему христианском мироощущении». По мнению Патриарха, «творческий путь Пастернака отразил его все возраставшую обращенность к духовным основам бытия человека и мира. От первоначальной многосложности своих ранних творений поэт с годами пришел к удивительной простоте и целостности, которые стали итогом его внутреннего, духовного преображения». Патриарх Алексей II относит к «вершинам творчества» Пастернака «его стихи последних лет, передающие чуткое восприятие красоты сотворенного Богом мира, в котором поэт прозревал «как будто внутренность собора», куда доносятся отголоски хора вышних сил, где вечно длится Божественная служба».

В послании также говорилось: «В эпоху засилья государственного атеизма и попыток насильственно расторгнуть связь отечественной культурной традиции с ее религиозными корнями, Борис Леонидович с мужеством отстаивал христианское, православное видение свободы и достоинства человеческой личности. Отстаивал вопреки гнету извне и вопреки человеческой хрупкости, уязвимости, которые, конечно же, находил в себе самом. Оттого-то цикл его евангельских стихов из романа „Доктор Живаго“, распространявшихся в рукописных списках, для многих стал свидетельством о Христе и откровением о неумирающей свободе, о Свете истинном, Который неподвластен тьме, о Духе, Который „дышит, где хочет“ (Ин. 1: 5–9; 3:8)».

В заключение в приветствии подчеркивается, что трудный жребий поэта был осознан Борисом Пастернаком «как бесценный подарок Бога». «Строчки, воплотившие его поэтический талант, живут в сердцах множества людей как неотъемлемая часть нашего культурного наследия», — отметил Патриарх Алексей II⁷⁷.

...Зимой 1912/1913 года в Италии побывал выдающийся религиозный философ Н. А. Бердяев. Вместе со своей женой — Л. Ю. Трушевой, на обратном пути в Россию, Бердяев посетил Ассизи. Вот что он сам пишет об этом: «У меня всегда было особенное почитание святого Франциска, которого я считаю величайшим явлением в истории христианства, и я непременно хотел посетить Ассизи... Для нас, православных, специально служили мессу у гроба святого Франциска»⁷⁸.

В своих сочинениях Н. А. Бердяев неоднократно сопоставлял преп. Серафима Саровского со святыми Римско-католической Церкви. Одним из них был Жан Мари Батист Вианне (Вианней) (1786–1859), сельский священник из Арса, канонизированный в 1925 году⁷⁹. То, что русский философ говорит о Жане Вианне, можно было бы вполне отнести и к св. Франциску. «Если сравнить одного из величайших русских святых, св. Серафима Саровского, и одного из последних католических святых, Cure d'Arns (Vianey), то поражает, что у Серафима все устремлено исключительно к воскресению, к преображению всей твари в Духе Святом, то есть к грядущему».

⁷⁷ БЛАГОВЕСТ-ИНФО. Патриарх Алексей II о Борисе Пастернаке. Цит. по: Русская мысль. № 4321. 8–14 июня 2000. С. 21.

⁷⁸ Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 212.

⁷⁹ Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. С. 367. Примеч. 87.

щему, — пишет Бердяев. — У Cure d'Ars все устремлено исключительно к кресту, то есть к прошедшему»⁸⁰.

Интересное сравнение можно найти в трудах Вячеслава Иванова. Рассуждая о том влиянии, какое оказало христианство на развитие литературы Запада и Востока, он пишет: «Я уверен, что не мог бы восстать Дант, если бы не подвизался бы ранее св. Франциск Ассизский; предполагаю, что не возник бы и Достоевский, если бы не было незадолго на Руси великого святого»⁸¹.

Вячеслав Иванов не уточняет, какого «великого святого» он имел в виду, однако его читатели без труда могли догадаться, что речь шла о преп. Серафиме. Но для большей точности приведем строки Н. О. Лосского (1870–1965), посвященные Вячеславу Иванову: «Творчество Данте он ставит в связь со св. Франциском Ассизским, в русском творчестве XIX века он находит влияние духа св. Серафима Саровского»⁸².

Известный русский философ и богослов как бы подводит итог сказанному. Отметив, что грешникам трудно обрести спасение и жизнь вечную, Н. О. Лосский пишет: «Возможно, что бывают и счастливые исключения, как св. Франциск или Сергей Радонежский, Серафим Саровский, которые сразу после смерти удостоиваются стать членами Царства Божия»⁸³.

⁸⁰ Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. В его книге «О назначении человека». М., 1993. С. 350.

⁸¹ Иванов Вячеслав. Лик и личины России. В его книге «Родное и вселенское». М., 1994. С. 334.

⁸² Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 211.

⁸³ Сборник «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 6. М., 1992. С. 320.

ДОМ ЗИНГЕРА

Нина Федорова. Уйти по воде: Роман. СПб.: Издательская группа «Лен-издат», «Команда А», 2013. — 288 с.

«Православная христианка должна любить православную жизнь. Но Катя православную жизнь не любила, хотя никогда не признавалась в этом даже самой себе. Она не любила ужасно — службы, молитвы, исповедоваться отцу Митрофану, бороться со страстями и вообще идти тернистым путем. Страстей Катя по большому счету обнаружила в себе две — к чтению и сладкому». На рубеже 80–90-х годов века XX, когда прежняя привычная жизнь рухнула вместе с безбожным СССР, родители Кати, главной — и, по сути, единственной — героини романа, бросились искать спасения в Боге, иначе, считали они, в начинающемся безумии было просто не выжить. Они отвергли все прежнее — светское и греховное, покаяться и начали новую жизнь, с постами, службами, без телевизора, без празднования Нового года. Отринули всех неправославных знакомых, усердно посещали церковь, во всем слушались духовника. Девочку забрали из кружка хореографии, отобрали игрушки, светские книжки, вместо них — обязательное чтение житий на ночь, молитвы. На письменном столе — назидательная картинка: блестящий, свернувшийся в кольцо змей, по всему туловищу которого были равномерно расположены рамочки с восьмью смертными грехами. Последовали бесконечные запреты: православная девочка не должна носить брюки и джинсы, у нее должны быть длинные волосы, обязательно заплетенные в косу, никаких украшений. Катю постоянно одолевала

боязнь жуткой Геенны, и чтобы избежать ее, она мечтала о мученичестве: «главное — не надо было долгих молитв и постов, борьбы с грехами — помучился немного, и венец, то есть пропуск в Царствие Небесное, уже точно есть». Бедная детская головушка. Девочка боялась обличений отца Митрофана, огорчения родителей, вечных мук, Божьего гнева. Потом была православная школа, запреты на общение с «мирскими», проповеди против «соблазна» влюбиться и начать «гулять». Не влюбляться до двадцати лет, особенно в неправославных мальчиков, в «неверов», не пить, не курить. (Была ли в жизни Кати обязательная общеобразовательная школа? Неясно. Зато был «грешный» интерес к мальчикам в узких джинсах и куртках-«косухах», что пели во дворе под гитару — а вдруг это металлисты, а может, даже сатанисты? И так хотелось, вопреки всем запретам — любви и поцелуев.) Потом был филфак МГУ, трудное вхождение в «светскую» жизнь, нарушение запретов, отказ от посещения церкви, от обязательных молитв, от общения с духовником, постоянное состояние «полупадения»: вот появились сигареты, вот попробовала пиво, вино, вот познакомилась через Интернет с «невером». (Знакомство переросло в реальный роман с последующим замужеством.) Становление человека, переход от детства к подростковому возрасту, выход во взрослую жизнь — как правило, пора мучительная. Раздвоение, разлад с самим собой, естественный для подросткового, юного возраста, усугубляется для Кати выяснением отношений с Церковью, с Богом, с попытками совместить внушенные с детства «правильные», но ненавистные правила «православной» жизни со светской, обыденной, столь притягательной жизнью. Как сочетать православную жизнь и любимого Костика-«невера», как послушаться духовника? На протяжении всего романа в ее сознании постоянно идет внутренняя борьба, Катя изживает заложенные в детстве комплексы, занимается самокопанием, самоистязанием, регулярно погружается в депрессию. «Она всегда жила, глядя внутрь, и никогда — по сторонам, только под ноги, опустив голову от осознания своей грешности и недостойности». Вот так, углубившись во внутренние переживания, и идет Катя по жизни — и по роману. Удивительно бледно прописаны все другие персонажи романа: родители, рано отпавший от Церкви брат, образцово-показательный Костик, даже подруги, вступившие из «строго православия» на «путь греха», то есть в обычную мирскую жизнь (так частный случай становится типовым явлением). Недоброжелательно, с неизживаемой обидой вспоминает и думает Катя о своих духовных пастырях. Это они внушили ей, что желание радости и счастья — грех, любовь к себе — страшный порок, который нужно искоренять — молитвами, постами, постоянной мыслью о том, что ты недостойный, мерзейший грешник. Не повезло девочке, ни один из встретившихся ей батюшек не сказал ей: «Не рассказывай мне о своем меню, ешь майонез, но не ешь себя и ближнего своего». Вот и получилось, что вся система того православия, в котором Катя жила, действительно оказалась «противоестественной и страшной» для маленького ребенка. И подросшая Катя произносит страстные внутренние монологи против батюшек (еще и замешанных в каких-то расправах между собой из-за спонсоров) и Церкви, в то же время коря себя за то, что впадает в «прелесть», в ересь, что ищет Бога вне Церкви. Мирская жизнь Кати сложилась вполне благополучно: счастливое замужество, интересная работа, и даже родители отошли от прежних «строгостей» и стали и справлять Новый год, и «кушать скоромное». Но остается впечатление, что внутренний разлад в душе и взрослой Кати не преодолен, с одной стороны — обида за отнятое у нее детство, с другой — жгучее переживание ухода от веры, от Церкви, попытки найти самооправдание этому. Диагноз случившегося с Катей лежит на поверхности. Это и экзальтированность неопитов, устремившихся в церковь в смутное время 80–90-х, и неготовность Церкви

и церковных служителей работать с рьяными «новообращенными», и может быть, даже сдерживать их страсти, оградить детей от религиозного фанатизма самих родителей. В чем Катя права, так это в своем наблюдении, что прежняя строгость православной жизни постепенно уходит. (А была ли она, или только в восприятии маленькой девочки, поставленной, в первую очередь родителями, в жесткие рамки формального православия?) И действительно, стали больше говорить и о Церкви, и о неофитстве, и о православном воспитании детей, которых не стоит принуждать ходить в храм и молиться. Потому что веру нельзя воспитать насильем.

Владимир Алейников. Нрав и права. СПб.: Алетейя, 2014. — 310 с. — (Современная книга. Проза, поэзия, публицистика).

Владимир Алейников (р. 1946) — один из основных героев отечественного андеграунда, один из основателей и лидеров неофициальной литературной группы «СМОГ» (1964–1965). Уже с начала 60-х годов его стихи были широко представлены в самиздате. При советской власти на родине не издавался, только за рубежом. Неудивительно: 14 апреля 1965 года демонстрация смогистов прошла к Союзу писателей с целью вручения петиции, и хотя Владимир Алейников в демонстрации не участвовал, его выгнали из МГУ и из комсомола. В России первые книги стихов вышли в 1987 году. Пришло и признание: премии, переводы на различные языки, персональные выставки живописных работ. Ныне Владимир Алейников — автор многих книг стихов и прозы, воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Героями этой книги стали друзья, современники, соратники, собеседники, богема советских времен. «Словно другая планета — в нашей, отечественной, ни с чем не сравнимой реальности». Легендарные личности 60-х и 70-х годов. Непохожие друг на друга, но все-таки соединенные общей судьбой, нонконформисты, упорно противостоящие существующему режиму, общепринятому официозу в русском искусстве. Художники и поэты авангардные, левые, полуподвальные. Иногда успешные, признанные за рубежом, но не у себя дома, чаще бедствующие. Как бедствовал и сам Владимир Алейников, что с 1971-го по 1978 год бездомничал, скитался по стране. Как бедствовали его друзья, познавшие «прелести» советской психушки: Владимир Яковлев, Игорь Ворошилов, Леонид Губанов. Знакомства и дружбы связывали В. Алейникова практически со всеми основными представителями отечественного андеграунда. И на страницах книги предстают колоритные, полные жизни фигуры его друзей и знакомых: внешность, характеры, манера поведения, общения, образ жизни. И сложные судьбы, и любовно, щедрым словом изображенные творения друзей. «Всякому городу нрав и права; всяка имеет свой ум голова» — из слов первого самобытного философа Российской империи, Григория Сковороды, родилось название книги. Писатели и поэты Сергей Довлатов и Венчик Ерофеев, Леонид Губанов и Константин Кузьминский, Генрих Сапгир и Андрей Битов, Александр Галич и Эдуард Лимонов. Художники Владимир Яковлев, Анатолий Зверев, Игорь Ворошилов, композитор Соня Губайдулина, семья Кропивницких, акварелист эпохи Серебряного века Артур Фонвизин... Несть им числа, уже ушедшим и ныне живущим. Люди тогдашней богемы: «непохожие на обычных советских людей, расходившиеся с действительностью, испытывавшие все, что положено им испытать из несладкого, а порой откровенно губельного, на износ, на излом, на прочность, на авось, на собственной шкуре». И все вместе они составляют эпоху, мир полифоничный, многослойный, многоликий, объемный. Они расплескивали энергию безоглядно и широко, не щадили себя, были самими собой. Они говорили о высоких материях, читали друг другу стихи, оценивали творческие находки. Осуществляли взаимообмен энергиями, благотворными, жизне-

любивыми, таинственными. И часто — в форме, принятой в родном отечестве, при канувшей советской власти принятой в богемной среде как естественная форма существования. В эпос превращалась выпивка: «единственный в своем роде, неповторимый, грандиозный, — и по масштабам, и по мощной полифонии судеб, жизней, историй». На этом фоне были встречи и расставания, происходили истории забавнейшие и трагикомические, порождающие долгоживущие, памятные байки, каких немало в книге. И была постоянная проблема: где достать денег, как похмелиться при ограниченных возможностях. Проблемы не было только в том, чтобы собрать компанию. «...Что было, то было, вся богема выпить любила, даже очень, — все пили тогда. Пусть казалось это защитой от невзгод, от советской яви. Я оправдывать это не вправе. Пили все. Защита — в ином: только в творчестве. В тяге к свету. Не мешает вам помнить это». Проза поэта — это особая, ритмическая проза, складывающаяся в стихи, часто не разделенные на строфы. А часто — и стихи, свои и чужие, выровнены в сплошную строку. А все вместе образует единый, красочный, богатый словом, насыщенный содержанием текст. Текст о времени и о тех, кто жил в нем. «Не случайно мы родились в нашей грустной державе. Здесь каждый — вырос. И сбился — весь. Навсегда. Столь велик был жар пронизавшего всех горенья, что потомкам остался — в дар. Не случайно сие даренье». «Время — в том, что мы создали сами. // Назовут это впредь — чудесами. // Имя времени — слово наше. // Речь, с ее животворным светом».

Дмитрий Ивашинцов. Неизбежное. СПб.: НП «Русская культура», 2014. — 367 с.; ил.

Стихи, теоретические статьи о поэзии, эссе, фрагменты дневниковых записей... Нарушенная хронология — смешение стихотворений разных лет, разных творческих периодов, а таких периодов было немало: в сборник вошли произведения, созданные почти за полвека, с начала 60-х годов века XX до наших дней. Необычное строение сборника — следствие особого подхода Дмитрия Ивашинцова к искусству, к поэзии, к познанию мира и самопознанию. Этим подходом продиктовано и включение в книгу богатого иллюстративного материала: графика Малевича, коллажи, работы Аллы Ивашинцовой, фотографии из семейного архива, факсимиле писем, ноты песен и романсов на стихи Д. Ивашинцова. О синтезе искусств Д. Ивашинцов размышлял еще в начале своего поэтического пути: «Жизнь искусства только в единении всех сфер его в один трепещущий организм. ... Наш отклик на внешний мир редко бывает одноцветен. Трудно даже понять, что преобладает — грусть или радость, безумная страсть или отрешенность... В современной однолинейной поэзии все расположено одно за другим. Последовательно. Человек превращен в схему. Музыка уже решила эти вопросы. Потому-то слушая ее, можно испытывать такие мучительно правдивые состояния, разрывающие тебя... Этого же можно попробовать достигнуть в поэзии с помощью слововязи». Тогда же начались эксперименты над формой и фонетикой стиха, эксперименты по приближению стихотворной практики к музыкальному высказыванию, способному, минуя смысл, передать эмоцию непосредственно и без искажений. Такие понятия, как слововязь — плетение образов, ритмоярд, ассоциативная вязь, рифмовая связь обретали практическое наполнение в стихах. Отсюда, наверное, ломаное строение строк и необычность образов, чувство слова. «Сидит сгорбленный человек. // Серая спина. // На ладони его — весна!» «Берег из омета выплыл и лег // На... бок». В 70-е слововязь перестала удовлетворять поэта, пришло желание развивать принцип спонтанности, метод спонтанного письма. «Мне хочется говорить внутренним голосом, не заглушенным ничем. ...Чтобы отыскать начало, нужно перепробовать

много вариантов. В этом и есть основная метода спонтанного письма». Отсюда, наверное, такое пристрастие поэта к созданию циклов стихотворений: «Триада», «Варианты любви», «Инварианты любви», «Варианты искусства», «Триада петербургская», «Неевклидова геометрия», «Разговор с Ницше»... Уже из названия циклов видно, что искания Д. Ивашинцова выходили далеко за пределы поиска форм, он работал и работает с богатейшими культурными пластами. От формальных, казалось бы, «технологических поисков» поэт устремляется в область интеллектуально-духовного поля. Это хорошо прослеживается и в цикле, посвященном «Памяти Казимира Малевича». С одной стороны конкретные поэтические опыты под впечатлением супрематизма. С другой — размышления о магическом, восходящем к ощущениям еще не родившегося и только что явившегося на белый свет ребенка, воздействию ритма и простейших геометрических фигур на человеческую психику. Глубокие культурные пласты прослеживаются и в интермедии «Театр марионеток», в неожиданной, трагической переключке персонажей Серебряного века с днем текущим. Сам Д. Ивашинцов позиционирует себя как поэта, который был в основном занят поиском ответов на внутренние, так называемые вечные вопросы: человек и Вселенная, человек и общество, человек и его душа, добро и зло, многослойное и многомерное чувство одиночества, рождение и смерть. «Сплетаются // сквозь исповедь зеркал // отдельные мелодии вселенной, // и взгляд не оторвать от жизни тленной...» И как, «не ведая скорби, принять бесконечную временность мира»? Ощущать себя «чертой в чертеже мироздания», и знать, что «неслышный полет мироздания // Понять и измерить не нам». Глубочайший онтологический конфликт — невозможность переступить рамки своего Я, нашел свое отражение в поэме «Орфей и Эвридика» (1981), пронзительном по красоте и звучанию диалоге Орфея и Эвридики. Древний миф — стержневой для творчества Д. Ивашинцова и имеет множество прочтений, в том числе и такое, предложенное самим поэтом: «Сила и трагедия творческой личности состоят в том, что художник вынужден выводить на поверхность и облекать в приемлемую другими форму конфликты и откровения своего подсознания. Барьеры, существующие сегодня внутри каждого из нас, не позволяют преодолеть комплекс Орфея. Барьеры, существующие между нами и колоссальными информационными ресурсами сети, не позволяют синтезировать НОВОЕ. Ограничения физической природы человека не позволяют ему жить космическими страстями. Выводя любимую из Аида, не следует оглядываться назад. Только так можно преодолеть НЕИЗБЕЖНОЕ. Тем более что Эвридика — это наша Душа». «Пусть. // Я недаром вернулась оттуда, где только // тени. Возьми свою лиру. // Пой, мой любимый, и мрака не будет. // Пой мой любимый». У Д. Ивашинцова, поэта, сосредоточенного на проблемах онтологических, стихов, рожденных непосредственным откликом на социальные конфликты, нет. Но бытие как объективная, окружающая реальность свое отражение нашла. И, пожалуй, сильнее всего в годы так называемого «застоя». Вот и в поэме «Орфей и Эвридика» есть и «оковы безвременья», на душе Орфея, и — «знаю, — осудят потомки безмолвье нашего века пустого». Кому как не поэту особо остро было чувствовать лживость переживаемой эпохи, «отраву фальши», «слепых лжецов, дурманящих страну»? «Нам, лишенным дедовских преданий, // силой вручено чужое знамя, // и чужою стала нам земля. // Но сквозь хмель тоски и лицемерья, // в прошлое и будущее веря, // отыщу я той темницы двери, // где Россия спрятана моя» (1981). Тогда, в безбожные времена, в стихах появляется Бог, ибо «мир без Бога — обугленный миф мироздания», Русь, что «стоит, зачарована далью, // как древняя церковь без креста». «Полегла в полях // душистая трава. // Вместо седел черный камень в головах. // Вместо седел // черный камень в головах, // воют

бабы в белокаменных церквах. // Ищет ветер, // нищий ветер // след любви... // Кто же Русь святую не любил?!» Дмитрий Ивашинцов, крупный ученый-гидротехник — и большой поэт. Его лирика — любовная, философская, природе посвященная, бытию человека, авангардистская и классическая, выросшая на хорошо изученной почве поэзии Золотого и Серебряного веков, — явление масштабное, самобытное. Это — Поэзия. «В этом гомоне старых мелодий, // В этом шорохе старых стихов, // что-то сердце впервые находит, // то, что впредь потерять не готов».

Михаил Карпов. Замкнутый круг «китайского чуда». Рыночные преобразования и проблема реформируемости партийного государства ленинского типа в Китайской Народной Республике. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. — 292 с.

Михаил Карпов, не один год исследовавший явление «китайского чуда», отмечает интересную закономерность: системные преобразования в Китайской Народной Республике продолжают уже более трех десятилетий, но лавинообразный рост объемов самой разнообразной информации о «новом» Китае не привел — по крайней мере, пока — к формированию целостной и непротиворечивой картины того, как и в каком направлении движется современный Китай. Эта картина отсутствует и у апологетов «китайского пути», и у скептиков. И у нас, и у западных исследователей пазл современного Китая отнюдь не сложился. А основания говорить о «чуде» есть: рекордные темпы роста ВВП и рыночная модернизация идут в Китае при сохранении и даже укреплении коммунистического однопартийного государства. Большинство социалистических стран Европы, включая и Советский Союз, на протяжении десятилетий экспериментировали с рыночными реформами. И потерпели неудачу: институциональный и социально-экономический крах всех без исключения европейских государств ленинского типа — факт неоспоримый, хотя, отмечает М. Карпов, еще не подвергшийся системному экономическому и политическому анализу. На фоне крушения социалистической идеи в Европе, реформы в Китае предстают как «история успеха». И это при том, что КНР на уровне официальной идеологии продолжает придерживаться концепции и ценностей социалистического строительства. Руководящая коммунистическая партия КНР, построенная по известному из истории КПСС территориально-производственному признаку, не просто контролирует, но непосредственно подчиняет себе и интегрирует все ключевые экономические и общественные организации. Степень этого подчинения и интеграции в современной КНР, несмотря ни на какие рыночные реформы, не только не ниже, но кое в чем даже выше, чем некогда в СССР и в других европейских странах «победившего социализма». Фундаментальный переход к рыночному регулированию социально-экономической жизни произошел при сохранении и — более того — при поддержке институтов партийного государства ленинского типа. И произошел не революционным, а эволюционным путем, то есть без драматической ломки политических институтов и идеологии, без острого социального кризиса и глубокого экономического спада. Рыночная трансформация и параллельная модернизация привели не к упадку и дезинтеграции, а к укреплению и консолидации институтов партийного государства и совокупной государственной мощи. И если рынок и социализм действительно системно совместимы, то «китайский путь» реформ приобретает поистине всемирно-историческое значение. М. Карпов, основываясь на результатах собственных полевых исследований, проведенных им в Китае на протяжении последних пяти лет и на большом числе китайских источников, впервые вводимых в научный оборот, подвергает подробному разбору особенности «китайского чуда». Он пытается ответить на ряд вопросов. Произошло ли «китайское чудо» в системном смысле?

Удалось ли китайской компартии действительно решить тот комплекс фундаментальных и тесно взаимосвязанных социально-экономических и идейно-политических проблем, которые не поддались решению в бывшем СССР и в соцстранах Европы? А рынок ли перед нами вообще? Можно ли рассматривать сложившуюся в Китае модель социально-экономического и политического устройства как устойчивую, обладающую лучшими, чем в бывших европейских странах, адаптивными возможностями? И что ждет Китай в будущем? М. Карпов размышляет о типологии систем ленинского типа и проблематике «пределов реформ» в институтах и практике реального социализма через призму набросков советологии и современного каэнрэвдения. Для отечественной китаистики постановка проблемы в таком ключе новаторская. Он исследует структурные особенности и динамику рыночной реформы ценообразования в КНР и социально-экономические, политические и институциональные последствия реформы. И отмечает первенство и важность реформы цен по отношению к другим реформам. Предлагаемый им взгляд на уникальную реформу цен в КНР также является во многом новым для отечественной китаистики. М. Карпов дает характеристику тем фундаментальным институтам и практикам партийного государства ленинского типа в современной КНР, которые, по его мнению, скрепляют в единое целое общественно-экономическое пространство рыночного социализма с китайской спецификой. И, обращая пристальное внимание на те структурные и динамические факторы, которые при определенных обстоятельствах могут привести КНР в будущем к системному кризису, предпринимает попытку моделирования таких кризисов. Изучая экономическую, политическую, социальную специфику современного Китая, исследователь приходит к выводу, что системного «чуда» в КНР за годы реформ все-таки не произошло. Это означает, что, несмотря на то, что смонтированный за годы реформ в КНР «рыночный паллиатив» сталинизму и маоизму предстает весьма жизнеспособной и стойкой конструкцией, кризис китайского партийного государства ленинского типа по-прежнему генетически запрограммирован. Несовместимость рыночного и правового макроэкономического регулирования с монополией социалистического партийного государства на власть и национальные финансы никуда не исчезла. Впрочем, отмечает М. Карпов, этот диагноз нынешнему состоянию китайского рыночного социализма по определению носит промежуточный характер. Возможно, «системному чуду» в КНР еще предстоит произойти. Свой — существенный и сущностный — вклад в формирование целостной картины того, как и в каком направлении движется современный Китай, М. Карпов сделал.

Андрей Богданов. Княгиня Ольга. Святая воительница. М.: Вече, 2014. — 256 с. — (Человек-загадка).

Великая княгиня Ольга (около 890–969) жестоко отомстила древлянам за гибель своего мужа, князя Игоря. Правила государством в годы малолетства своего сына Святослава и позднее, во время его походов, в 968 году руководила защитой Киева от печенегов. Посетила Константинополь, приняла христианство. Канонизирована русской церковью. Кажется, об Ольге известно все, или почти все. Но историк Андрей Богданов утверждает, что сведения о княгине Ольге, так же как и о первых Рюриковичах, откровенно противоречивы, и стремится разобраться в разительных противоречиях, лежащих в основе нашей государственной легенды. Например, если верить «Повести временных лет», то княгиня родила своего единственного сына Святослава через сорок лет после выхода замуж за Игоря, когда ей исполнилось не менее пятидесяти трех лет, а мужу — и все шестьдесят шесть. Выходит, даже с годами ее жизни не все ясно: Игорь погиб в 945 году, их сыну было

около пяти лет, самой ей (по здравому смыслу) было лет семнадцать-двадцать, и вышла замуж она, вероятно, в 941 году, в принятом тогда возрасте тринадцати-пятнадцати лет. Несуразиц в сказаниях о первых русских князьях немало: почему о подвигах Вещего Олега не знали ни сами греки, которые тщательно фиксировали даже незначительные набеги на их землю, ни один иностранец? А ведь, по легенде, Олег повесил щит на воротах Царьграда в знак победы русского оружия, такое трудно не заметить. Да, сокрушительные походы росов на Царьград были, но не в те годы и не тех героев, что принято считать у нас. О Вещем Олеге и Рюрике в конце X века не говорили ничего! Родословная легенда Рюриковичей вместе с мифом о призвании варягов-руси появилась в Начальном своде спустя сто лет, в конце XI века, и была ярко изукрашена в «Повести временных лет» в начале XII. И породила жгучую историческую полемику среди историков, не утихающую и по сей день. Но ведь зачем-то была древнему летописцу нужна легенда о варягах-руси? А. Богданов полагает, что легенда служила для остроактуального в XI веке утверждения идеи, что только и исключительно потомки Рюрика могут быть князьями русскими. И укрепляя родословную легенду Рюриковичей, составитель «Повести» решительно «удревлял» события, задавшись целью заполнить период истории Руси при неизвестных нам правителях деятельностью династии Рюриковичей. Отсюда и «маловажные» нестыковки по датам, по событиям. Что ж, летописание всегда отражало бурление страстей — идеологических и конкретно-политических. Летописцы своей легендой о Рюриковичах и варягах-руси старались замаскировать наличие в нашей истории множества других князей. О существовании неведомых нам князей, не входящих в генеалогическое древо Рюриковичей, приходится узнавать не из русских источников, а по приведенным в «Повести временных лет» договорам Руси с греками, по восточным и западным источникам. А у летописцев постепенно выстраивался стройный ряд: Рюрик, Олег, Игорь как прямой родоначальник династии русских князей в Киеве. В итоге мы имеем легендарные рассказы о первых русских правителях, не только не соответствующие сведениям соседей, но и почти во всем противоречащие друг другу. «Повесть временных лет», что явно служила династии Рюриковичей, вплоть до того, что лишь в исключительных случаях упоминала их соперников во власти из других родов, была принята как основополагающий источник великими историками XIX века, начиная с Н. Карамзина и С. Соловьева. Предпочтение «Повести» отдается и сегодня: больше дат и лучше обосновывает древность русской истории, подробнее и красноречивее, сохранилась во множестве списков и лежит в основе всех классических трудов по русской истории, — историкам так удобно. А. Богданов не считает, что удобство интересов — критерий истины. Он подробно разбирает, когда, кем и как писались летописи, что не так с нашими официальными датами. Он обращается к Древнейшему русскому сказанию, созданному при внуке Ольги князе Владимире, к Начальному своду, к Новгородской летописи. Он знакомит читателя со сложной наукой сопоставления древнейших текстов, методом, разработанным в конце XIX века выдающимся филологом А. А. Шахматовым. А. Богданов в поисках истины использует византийские хроники и жития, скандинавские саги, европейские документы, археологические находки. И отмечает один важный факт, что долго маскировался жалкой гибелью ленивого, жадного и незадачливого князя Игоря: со статьи о гибели князя Игоря в 945 году начинается поразительное единство текстов летописей, максимально достоверный для тех времен рассказ о реальных событиях русской истории. Оно продолжилось подробным и точным описанием деятельности княгини Ольги, рассказом о подвигах ее сына Святослава и завершилось известием об утверждении ее внука Владимира на великокняжеском престо-

ле. Предыдущие события были для летописцев туманным предметом гаданий и вычислений. Последующие события представлены более туманно и легендарно, чем рассказ о временах княгини Ольги. И все-таки главной героиней этой книги остается Ольга, строительница русского государства. Оставшаяся без мужа и дружины, с маленьким сыном, располагая ничтожными средствами, она подавила восстание древлян. Выйди она замуж за Мала, как предлагали древляне, она лишила бы права на княжение своего сына Святослава, был и другой кандидат в князья — воевода Свенельд. Она установила в стране единые законы, ввела ставки налогов и повинностей, отменяющие произвол дружинного грабежа. Она устраивала пути сообщения — речные переправы, мосты и помосты на топких местах, строила села, места и пункты, где чиновники давали суд и собирали твердо установленные дани. Административно-правовая деятельность княгини охватывала все подвластные ей земли Руси. Память о ее единой Руси вошла во все русские летописи. Ее как историческую, а не легендарную личность прекрасно видят иностранные современники. Император Константин VII Багрянородный в книге «О церемониях византийского двора» лично описывает ее беспрецедентный прием в своем дворце в Константинополе (Ольга не простиралась, как было принято, ниц, ее приняли в узком семейном кругу), а хронист первого германского Оттона I знает ее как королеву. Христиане на Руси были и до Ольги, но она стала первой из русских правительей, что приняла христианство. Язычество и христианство в Древней Руси — отдельная тема книги. Язычником оставался сын Ольги, Святослав, сын-барс, что ходил в походы на хазар и их союзников, в Закавказье, в Болгарию — вдоль главных торговых путей того времени. Во время его походов Ольга продолжала править государством. Историческая несправедливость, считает А. Богданов, буквально выбившая великую женщину из научной истории, продолжалась до последних десятилетий. Только сейчас отсутствие политической цензуры и государственного заказа в исторической науке позволило объединить все, что сделали коллеги-летописеведы за последние сто лет, в связный рассказ о том, кто и как построил Русское государство в середине X века. А. Богданов рисует многомерную картину русской древности: поляне, древляне, кривичи, ильменские словены, мордва, мурома... Их исторические взаимосвязи, отношения с соседними государствами и народами. Политика и экономическая география: великие пути, не только из варяг в греки, но, что очень важно, международные сухопутные торговые пути от Волги до империи франков, от франков на Русь и далее. Сухопутному восточному пути посвящено отдельное приложение, так же как Северной Руси, Рюрику и варягам.

Питер Хэммонд. Ричард III и битва при Босворте. Пер. с англ. М. В. Степанова. СПб.: М.: ЕВРАЗИЯ, ИД Клио, 2014. — 288 с., ил.

Благодаря Уильяму Шекспиру английский король Ричард III стал символом своего времени, символом кровопролитного противостояния между двумя ветвями правящей династии Англии — Йорками и Ланкастерами, известного под названием войны Алой и Белой розы. Властолюбивый горбун, убийца царственных племянников, узурпатор... Но можно быть уверенным: его портрет выглядел бы по-другому, если бы в решающей битве при Босворте в 1485 году победил бы не Генрих Тюдор, претендент на английский престол от Ланкастеров, а Ричард III из рода Йорков, последний представитель мужской линии Плантагенетов, более трех столетий управлявшей Англией. Узурпатор? Но были все основания сомневаться в законности брака старшего брата Ричарда — Эдуарда IV, а значит, и в законности права на трон и его малолетнего сына — Эдуарда V, племянника Ричарда. Убийца цар-

ственных племянников? Но допуская возможность брака с Ричардом, его племянница, вероятно, не верила, что Ричард убил ее братьев. Не считал его злодеем и король Португалии, готовый выдать свою сестру за Ричарда. Питер Хэммонд воссоздает историю восхождения Ричарда Йорка на трон, рассказывает о недолгом правлении Ричарда III, а за этот короткий двухлетний период было многое: государственные измены, заговоры, восстания, мятежи, предательства, смуты, постоянная угроза вторжения Генриха Тюдора с континента. Подробно Хэммонд исследует события, приведшие к битве при Босворте, саму битву: численность и состав враждебных армий, экипировку и вооружение, войсковую организацию, развертывание сил на местности. (Средневековая армия на современный взгляд предстает как потрепанная и дезорганизованная толпа.) Особое внимание уделяется загадкам гибели Ричарда III. В основном Хэммонд пользовался современными рассматриваемым событиям источниками, принимая во внимание и те хроники XVI века, когда их сведения могли быть правдивыми или имели подтверждения какими-нибудь более ранними источниками. Среди основных источников — «История Англии» Полидора Вергилия, священника, прибывшего в Англию в 1502 году и заставшего очевидцев битвы; «Кроулендская хроника» 1486 года, предполагаемый ее автор — очевидец событий. Свои воспоминания, письма, записки об эпохе Ричарда III и его конце оставили англичане, испанцы, французы, бургунды (а именно в Бургундии и Франции пребывал Генрих Тюдор). Сохранились три пространные баллады, созданные по свежим следам событий: «Роза Англии», «Баллада о Босвортском поле», «Песнь о леди Бесси». А еще — дошло множество слухов и толков, в которых тоже пришлось разбираться П. Хэммонду. Битва при Босворте относительно неплохо документирована для эпохи средневековья. Но неиссякаемы споры исследователей по разным вопросам, по деталям, идут дискуссии, множатся догадки, версии. Неясностей много: спутаны даты событий, неизвестно, где именно состоялась битва, неизвестна дата смерти сына Ричарда III и где он погребен, неизвестно, кто нанес Ричарду смертельный удар в битве при Босворте. И даже вопрос о его захоронении долгое время оставался открытым: то ли его останки были выброшены в реку Суар, то ли могила уцелела — но где? (Уже после выхода книги — а она была издана на английском языке в 2010 году — в ходе археологических раскопок в Лестере осенью 2012 года был обнаружен скелет мужчины, и генетическая экспертиза признала находку останками Ричарда III.) П. Хэммонд пишет очень взвешенно. Делая логические предположения, выдвигая свои версии, он постоянно употребляет слова вероятно, маловероятно, сомнительно, правдоподобно и неправдоподобно, возможно, несомненно, в действительности. К своему герою П. Хэммонд относится с явной симпатией: его Ричард предстает в героическом ореоле: способный и амбициозный правитель, опытный воин, человек с нравственными принципами. В битве при Босворте король оказался окружен, но отказался сдаваться. Когда все его рыцари пали, Ричард отбивался в одиночку, в ответ на угрозы бежать он гневно сказал, что-либо одержит победу, либо умрет в этот день как король. И был убит. Ни он, ни его современники не знали, что битва при Босворте ознаменовала если не конец войны роз, то последние судороги тридцатилетней борьбы. В приложениях к книге помещены документы той эпохи, легенды, подробное описание источников, генеалогические таблицы.

*Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой*

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)

Contents

Prose and Poetry

- Gleb Gorbovsky.** Poems • 3
Mikhail Petrov. From the Backwoods (Kozlov and Stepanov. About Himself. Stepanov. Country Son. At Stepanov's Again. Vasiliev, Tveryak and Others. To Kozlov in Kuvshinovo). *Stories* • 9
Valery Skoblo. Poems • 27
Sergey Digol. Without the Right Key. *Story of the Series «Panteleimon Trilogy»* • 31
Vladislav Pen'kov. Poems • 56
Svetlana Volkova. Potemkin Bell. *Story* • 61
Galina Talanova. Poems • 71
Andrey Egrashov. They Called Me Dyuhon... *Story* • 74
Inna Mel'nitskaya. Forgive me, Italy! *Diptych* • 99

From the Archive

- Extracts from Alexander Konstantinovich Gladkov's Diary: 1962. *Publication, comments by Mikhail Mikheev* • 114

Publicistic Writing

- Yury Polyakov.** The Prose Writer's Dramas • 130
Konstantin Frumkin. The Identity of the Ruler • 147

Criticism and Essays

- Vladislav Bachinin.** «The Possessed»-2014. *The Theology of Catastrophes* • 155
Alexander Klimov-Yuzhin. The Fellow Traveller • 169
Michael Roumer-Zarayev. The Ark of Poetry • 179

Petersburg Bookman

- The Culture Year.** Mark Amusin. Nabokov and STI. **Truth of Art and Truth of History.** Lev Berdnikov. Two Worlds in One Shapiro. **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). St. Francis of Assisi and the Russian Symbolists. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 207–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал «Нева». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9

Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

*Проект «Новые мысли и вечные ценности» реализован
на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307), а также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал «Нева», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал «Нева»

Подписано в печать 25.09.2014. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 20.95
Издательство «Журнал «Нева»

Отпечатано по технологии CtP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б